
К. Н. БАТЮШКОВ
Избранные сочинения

К.Н. БАТЮШКОВ



Избранные сочинения



Москва
Издательство «Правда»
1986

84 Р 1
Б 28

Составление
А. Л. Зорина и А. М. Пескова

Вступительная статья
А. Л. Зорина

Комментарии
А. Л. Зорина и О. А. Проскурина

Иллюстрации и оформление
В. Б. Иовика

Б $\frac{4702010100-1112}{080(02)-86}$ 1112—86

© Издательство «Правда», 1986. Составление. Вступительная статья. Комментарии. Иллюстрации.

НЕСЧАСТНЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ

Репутация поэзии Батюшкова сформирована двумя обстоятельствами. Прежде всего это оборванность его творческого пути. «Уважим в нем несчастия и несозревшие надежды»,— написал в 1825 году Пушкин о еще живом, тридцативосьмилетнем поэте, пораженном неизлечимым душевным недугом. Да и сам Батюшков ощущал свою недосказанность. «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди теперь узнай, что в нем было»[1],— признался он в ранний период своей болезни, когда его связи с окружающим миром еще не были разорваны до конца.

Однако естественное стремление угадать, что же все-таки было в сосуде, побуждает читателей и историков литературы строить различные предположения. И здесь вступает в силу второй фактор — глубокое воздействие, которое оказала поэзия Батюшкова на лицейскую лирику Пушкина. Так рождается схема: Батюшков — это своего рода несостоявшийся Пушкин, поэт, чья историческая роль состояла в подготовке явления «солнца русской поэзии». «Художественная деятельность Батюшкова представляет собой счастливые начатки того, что получило полное осуществление в деятельности гениального Пушкина»[2],— сформулировал в свое время эту точку зрения филолог, отдавший изучению Батюшкова немалые силы.

Нет сомнения, что это очень высокая оценка, и все же она по существу сводит на нет и собственные поэтические достижения Батюшкова и ту потерю, которая понесла в нем русская поэзия. В самом деле, встав на такую позицию, необходимо воздать должное его заслугам и пожалеть о его судьбе, но нет

[1] Вяземский П. А. Старая записная книжка.— В кн.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12 томах, т. 8. Пб., 1883, с. 481.

[2] Майков Л. Н. К. Н. Батюшков. Пб., 1896, с. 240.

никакого смысла сокрушаться о ненаписанных стихах, с лихвой возмещенных отечественным читателям пушкинским гением.

Между тем, как и всякий большой поэт, Батюшков обладал неповторимым голосом. «Ни у кого — этих звуков изгибы и никогда — этот говор валов»,— написал о нем О. Мандельштам, тонко чувствовавший своеобразие батюшковской лирики. Действительно, слово, сказанное Батюшковым, могло принадлежать только ему, а то, что он не успел договорить, так навсегда и осталось несказанным.

* * *

Константин Николаевич Батюшков родился 29 мая (нового стиля) 1787 года в Вологде. Его детство было окрашено трагическими обстоятельствами, наложившими отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Вскоре после рождения Константина, первого сына и пятого ребенка в семье, его мать психически заболела и умерла, когда будущему поэту было восемь лет. Воспитание детей легло на плечи отца, человека просвещенного, но тяжелого и неуравновешенного, с юности уязвленного незаслуженной опалой, постигшей его из-за родственника, замышлявшего заговор против Екатерины II.

Свое образование, довольно широкое, но вполне поверхностное, как и подобало дворянину тех лет, Батюшков получил в закрытых пансионах Жакино и Триполи в Петербурге. Бессистемность собственных познаний, которую ему, несмотря на исключительно интенсивное чтение, так и не удалось до конца преодолеть, тяготила поэта, и в одном из позднейших писем он жаловался, разумеется, несколько драматизируя ситуацию, на «закоренелое невежество». Впрочем, самые важные уроки проходили не в пансионах, а в доме его двоюродного дяди М. Н. Муравьева, возглавлявшего в ту пору департамент министерства просвещения, куда и определился служить начинающий поэт по окончании учебы.

Близость к семье Муравьевых составила одну из немногочисленных светлых страниц в жизни Батюшкова. Сам Михаил Никитич, незаурядный писатель и мыслитель, один из создателей русского сентиментализма, полюбил талантливого племянника и, умирая, поручил заботу о нем своей жене Екатерине Федоровне, поистине заменившей Батюшкову родную мать. Их детей, будущих декабристов Никиту и Александра, Константин Николаевич неизменно называл и считал братьями.

Естественно, служба у такого начальника не могла быть обременительной. «Какое мне дадут место для меня способное, после того, которое я, баловень, занимал у незабвенного для меня Михаила Никитича»[1],— написал впоследствии Батюшков

[1] Батюшков К. Н. Сочинения. Пб., 1887, т. III, с. 67. (Дальнейшие ссылки на это издание в тексте статьи.)

Н. И. Гнедичу в ответ на предложение проситься в службу. Однако даже такая канцелярская работа была ему в тягость. В начале 1807 года он записывается в ополчение и, послав своему отцу трогательные и запоздалые извинения в неблагоразумном поступке, отправляется с действующей армией в поход в Пруссию.

Во время битвы под Гейльсбергом, одном из первых своих сражений с французами, Батюшков был тяжело ранен. «Его вынесли полумертвого из груды убитых и раненых товарищей»[1] и увезли в Ригу, где, выздоравливая в доме местного купца Мюгеля, он влюбился в дочь своего хозяина и намеревался на ней жениться, но второй брак его отца лишил поэта надежды получить средства, необходимые для устройства собственной семейной жизни. Эти события, серьезно ухудшившие материальное положение Батюшкова и вынудившие его с сестрами перебраться в полуразоренное имение их покойной матери, совпали с горестной вестью о кончине М. Н. Муравьева, и в следующем году, кое-как залечив физические и душевные раны, поэт вновь уходит в составе гвардейского егерского полка в поход в Швецию и Финляндию.

Стихотворения Батюшкова начали появляться в печати с 1805 года, но слава приходит к нему в 1809—1811 годах, когда, выйдя в отставку и живя попеременно то в Москве, то в деревне, он создает и публикует, главным образом в журнале «Вестник Европы», лучшие образцы своей легкой поэзии: «Источник», «Ложный страх», «Привидение» и др. Широкую и отчасти скандальную известность в литературных кругах приносит ему «Видение на берегах Леты»— расходившаяся в списках сатира, направленная прежде всего против писателей архаистической ориентации, группировавшихся вокруг А. С. Шишкова. В эти же годы происходит сближение Батюшкова с кругом московских литераторов-карамзинистов: В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Л. Пушкиным, которые до конца жизни остались близкими друзьями поэта. К Жуковскому и Вяземскому обращено знаменитое послание Батюшкова «Мои пенаты», законченное в начале 1812 года.

Отечественную войну Батюшков встречает одним из ведущих русских поэтов и сотрудником императорской Публичной библиотеки в Петербурге, куда он поступил несколькими месяцами ранее по протекции директора библиотеки А. Н. Оленина, просвещенного вельможи и мецената, собравшего вокруг себя кружок писателей и художников, увлекавшихся античным искусством. С первых дней войны Батюшков рвался в армию, но болезнь, а потом необходимость проводить Е. Ф. Муравьеву с детьми из Москвы в Нижний Новгород задержали его и только в 1813 году он присоединяется к войскам и совершает с ними в качестве адъютанта сначала генерала Бахметева, а потом генерала Раевского весь путь до Парижа.

[1] Майков Л. Н. К. Н. Батюшков, с. 49.

Военные бури глубоко поразили Батюшкова. «Я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя,— писал он Гнедичу из Нижнего Новгорода ⟨...⟩ — Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и ее окрестностях вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством» (т. III, с. 209). На эти общественные потрясения, вызвавшие глубокий перелом в мироощущении Батюшкова, вскоре наложилась личная драма.

По-видимому, еще до войны Батюшков полюбил воспитанницу Олениных Анну Федоровну Фурман. Вернувшись в 1814 году через Лондон и Стокгольм в Петербург, он рассчитывал добиться перевода в гвардию, дававшего право на повышение на два чина, выйти в отставку, вернуться на службу в библиотеку и жениться. Через Е. Ф. Муравьеву он заручился согласием на этот брак Олениных, искренне желавших видеть свою любимицу замужем за близким человеком. Дала свое согласие и Анна Федоровна, но очень скоро Батюшков убедился, что это решение было продиктовано не взаимным чувством, но волей опекунов. «Не иметь отвращения и любить — большая разница. Кто любит, тот горд»,— объяснял он годом позже Е. Ф. Муравьевой причины разрыва. В начале 1815 года Батюшков заболел тяжелым нервным расстройством, продолжавшимся несколько месяцев.

Не удался и перевод в гвардию. Тщетно прождав его около полутора лет, сначала в деревне, а потом в маленьком городке Каменец-Подольском при штабе Бахметева Батюшков вышел в отставку, так ничего и не добившись. Последним несчастием этих лет стала смерть в 1817 году отца поэта, вконец разорившегося в последние годы жизни и оставившего на попечение своего наследника заложенное за долги имение и двух маленьких детей от второго брака.

Впрочем, как это нередко бывает, годы жизненных неудач стали для Батюшкова временем творческого подъема. Он пишет лучшие свои элегии: «Таврида», «Пробуждение», «К другу», по существу, наново создает на русской почве жанр исторической элегии — «Гезиод и Омир — соперники», «Переход через Рейн», «Умирающий Тасс». Тогда же написана и большая часть батюшковской прозы. Итог двенадцатилетней работы Батюшкова в литературе подвели вышедшие в октябре 1817 года двухтомные «Опыты в стихах и прозе», встреченные в критике восторженными похвалами, испугавшими мнительного поэта своей чрезмерностью.

Выполненные в том же 1817 году переводы «Из греческой антологии» должны были быть напечатаны в планировавшемся, но так и не состоявшемся журнале общества «Арзамас», образованного почитателями Карамзина в противовес «Беседе»— объединению литературных староверов. За свои былые заслуги

в борьбе с шишковистами Батюшков получил в обществе почетное прозвище Ахилл, но он был уже далек от полемических настроений и переделал имя древнегреческого героя в жалобное восклицание «Ах, хил!». Да и его участие в деятельности общества было довольно незначительным. Вернувшись в Петербург в конце лета 1817 года, он уже весной следующего уехал восстанавливать здоровье в Одессу, где его настигло письмо арзамасца А. И. Тургенева, которому удалось выхлопотать для Батюшкова место при дипломатической миссии в Неаполе.

Служба в Италии составляла мечту всей жизни Батюшкова, и на протяжении многих лет он говорил друзьям об этом как о самом сокровенном своем желании. Еще отправляясь в Одессу, он уверял Тургенева, что в слове «Италия» для него заключены «независимость, здоровье, стихи и проза» (т. III, с. 503). Однако известие о назначении не обрадовало поэта. «Я знаю Италию, не побывав в ней,— писал он тому же Тургеневу незадолго до отъезда за границу.— Там не найду счастия: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях мне драгоценных» (т. III, с. 531). Предчувствия Батюшкова оправдались. Одиночество, тоска по России, сложности дипломатической службы, болезненные отношения с начальством, тяжелые впечатления неаполитанской революции вконец расстроили его физическое и душевное здоровье, и в 1821 году, получив бессрочный отпуск, он едет на воды в Германию.

В том же году в журнале «Сын отечества» появилась довольно беспомощная элегия начинающего литератора и восторженного почитателя Батюшкова П. А. Плетнева под заглавием «Б...ов из Рима». Желая дать понять читателям, что в его журнале участвует знаменитый поэт, один из издателей журнала А. Ф. Воейков поместил стихотворение без подписи. Крайняя бестактность этого поступка ни у кого не вызывала сомнений, но ярость и отчаяние Батюшкова, усмотревшего в действиях Воейкова и Плетнева намерение погубить его и поклявшегося навсегда оставить литературу, были совершенно непропорциональны случившемуся и поразили друзей поэта, не угадавших первых признаков надвигавшегося безумия. Однако уже в следующем году катастрофа стала очевидной.

Вернувшись в Россию, Батюшков отправляется в Крым, затем, уже совершенно больной, приезжает в Петербург, откуда его забирают в психиатрическую лечебницу в немецком городе Зонненштейн, через четыре года за полной неизлечимостью перевозят в Москву и в конце концов в 1833 году помещают в Вологде в доме его племянника Г. А. Гревенса, где он просуществовал еще двадцать два года. За это время сменилось несколько писательских поколений, умерли Гнедич, Жуковский, погиб Пушкин, чей восход Батюшков успел радостно приветствовать, вошли в литературу и оставили ее Лермонтов и Гоголь, успели заявить о себе Тютчев, Фет, Некрасов, Достоевский,

Тургенев, Гончаров. Ничего этого Батюшков не знал. Он жил в своем особом мире, куда не было доступа внешним впечатлениям. 19 июня (нового стиля) 1855 года он тихо скончался от тифа.

* * *

«Я ему обязан всем» (т. III, с. 305),— написал Батюшков о Муравьеве и едва ли преувеличивал. Действительно, невозможно понять личность и поэзию Батюшкова, не представляя себе хотя бы в общих чертах духовный облик его наставника.

Основу взглядов Муравьева составляло убеждение, что моральные качества человека впрямую зависят от развитости его эмоциональной сферы, от его душевной восприимчивости к внешним впечатлениям. Эти свойства личности — их объединяли в те годы в понятии «чувствительность» — и должно было воспитывать искусство, творцы которого представлялись людьми, наделенными чувствительностью особенно тонкой и дающими в своих произведениях ее высокие образцы. Существенно, однако, что эти общесентименталистские представления дополнялись у Муравьева достаточно смелой по тем временам идеей, что искусство воздействует на человеческую душу не только нравственной проповедью или изображением трогательных сцен, но прежде всего своей красотой.

«Все то, что способствует к доставлению вкусу более тонкости и разборчивости, все то, что приводит в совершенство чувствования красоты в искусствах и письменах, отводит нас в то же время от грубых излишеств страстей, от неистовых воспалений гнева, жестокости, корыстолюбия и прочих подлых наслаждений»[1] — эти слова Муравьева Батюшков привел в статье о своем учителе. Нет сомнения, что они были близки и ему самому. «Во зле нет остроумия. Наносить вред и писать приятно — дело невозможное» (т. III, с. 567),— говорится в одном из его последних писем.

Безукоризненность отделки каждого стихотворения составляла постоянную заботу Батюшкова. Как-то он признался Жуковскому, что «желал бы заслужить 〈...〉 вырвать из рук Фортуны не великую славу 〈...〉, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны» (т. III, с. 448). Легкая поэзия была мила ему тем, что всецело сосредоточивала внимание читателя на «совершенстве, чистоте выражения, стройности в слоге, гибкости и плавности», не отвлекая его изображением могучих страстей и волнующих событий. «Красивость в слоге здесь нужна необходимо,— добавлял Батюшков,— и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и осо-

[1] Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. Л., 1978, с. 11—12.

бенно постоянному напряжению внимания к одному предмету, ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее всей жизни и всех усилий душевных».

Заметим, что эти высказывания сделаны не в ранний, «эпикурейский» период творчества Батюшкова, а в годы, когда охваченный религиозными настроениями поэт был полон монументальных замыслов и советовал юному Пушкину приняться за эпопею. Но достоинство большого труда измерялось для него тем же, что и достоинство малого,— красотой, возвышающей душу.

«Милый друг,— обращался он к Жуковскому,— если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин: он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений, тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру. Ты имеешь талант редкий, избери же землю, достойную его, и приготовь для будущего новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастие любимцам прекрасного» (т. III, с. 356—357). В письме, откуда взяты эти слова, много говорится об издании сочинений Муравьева, и очевидно, что Батюшков находился под обаянием его идей, но, по-видимому, незаметно для самого поэта, муравьевский моралистический утилитаризм вытесняется у него совсем иными настроениями.

«Во всем согласен с тобой насчет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы»,— сказано в том же письме. Да и сам Муравьев назван здесь «прекраснейшей душой, которая когда-либо посещала эту грязь, называемую землей», чьи творения издаются «для людей, истинно образованных, не для черни читателей» (т. III, с. 356, 358). «Не понравиться тебе и еще трем или четырем человекам в России больно, и лучше бросить перо в огонь»,— делился Батюшков своими настроениями с Вяземским накануне выхода в свет «Опытов».

Тайное братство поэтов всех времен — тема, неизменно волновавшая Батюшкова. В «Мечте», самом раннем из его дошедших до нас стихотворений, склонность предаваться полетам фантазии, уводящим от реальности земного существования, описана как отличительное свойство поэтической души, которая роднит между собой Оссиана, Сафо, Горация и безвестного автора элегии. Интересно, что «Мечта» — единственное юношеское произведение Батюшкова, включенное им, пусть в значительно переработанном виде, в «Опыты». Это был один из тех редчайших случаев, когда концепция оказалась для него важней художественного несовершенства, сразу бросившегося в глаза Пушкину, назвавшему элегию «самым слабым из всех стихотворений Батюшкова».

Почти через десять лет после создания первой редакции «Мечты» в «Моих пенатах» Батюшков посвятит без малого сотню строк перечислению любимых поэтов, чтение которых занимает его в сельском уединении. В принципе такой перечень — общее место продолженной в послании традиции, мотив, встречающийся у французских поэтов, на которых ориентировался Батюшков, и подхваченный Пушкиным в «Городке». Но характерная особенность «Моих пенатов» в том, что речь здесь идет не о мирных досугах мудреца, уединившегося в своей библиотеке, но о незримом собеседовании мертвых и живых творцов, вступивших в единый хор. И венчается этот фрагмент почти экстатическим восклицанием:

Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги пиерид
И в радости взываю:
О музы! я пиит!

А стихотворение «Элизий» Батюшков завершает четверостишием:

Там под тенью миртов зыбкой
Нам любовь сплетет венцы
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

Улыбка певцов прошлого, радостно встречающих пришельца,— это высшая точка райского блаженства. Иначе и быть не может, ибо поэзия для Батюшкова — «лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на земли,— мечту прелестную для душ возвышенных».

Творчество «наставников-пиитов» служило для Батюшкова и традиционным источником вдохновения. Место, которое занимают в его небольшом наследии переводы и переложения из греческой антологии, Тибулла, Петрарки, Тассо, Касти, Парни, Мильвуа и других авторов, исключительно велико даже для начала XIX века, когда понятия о литературном авторстве были куда менее определенными, чем теперь. «И сюжет, и все — мое» (т. III, с. 419),— писал Батюшков Гнедичу об «Умирающем Тассе», явно обращая его внимание на необычный случай. Переводческая деятельность привлекала его возможностью вступить с прославленным автором в своего рода состязание в красоте слога и изощренности поэтического мастерства. «Посылаю тебе, мой друг, маленькую пьеску, которую взял у Парни, то есть завоевал 〈...〉 Кажется, переводом не испортил» (т. III, с. 78),— извещал он Гнедича. Кроме того, и это особенно важно, переводы помогали ему говорить о себе.

«О характере певца судить не можно по словам, которые он поет, но можно, по крайней мере, догадаться о нем по выражению голоса и изменениям напева 〈...〉 Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем»[1],— заметил Вяземский. Как бы ответом на эти, разумеется, неизвестные Батюшкову, слова может служить его стихотворение из письма В. Л. Пушкину:

Тот вечно молод, кто поет
Любовь, вино, Эрота
И розы сладострастья жнет
В веселых цветниках Буфлера и Марота.

Упомянув Маро и Буфлера, корифеев французского легкого стихотворства, Батюшков ясно указал на литературное происхождение собственного поэтического «сладострастия». Оно как бы принадлежало тому миру красоты, гармонии и полноты существования, который он вслед за предшественниками пытался воссоздать в своих стихах. Недаром проницательный Вяземский в шутку называл своего друга «Парни Николаевичем» и, имея в виду героиню любовной лирики того же Парни, «певцом чужих Элеонор».

Столь же литературной была и знаменитая батюшковская праздность. Поэт, изобразивший себя в стихах беспечным ленивцем, на деле работал над словом столь упорно и мучительно, что это порой заставляло его сомневаться в подлинности собственного таланта: «Я слишком много переправляю. Это мой порок или добродетель? Говорят, что дарование изобретает, ум поправляет: если это правда, то у меня более ума, нежели дарования, следственно, и писать не надобно» (т. III, с. 358). Тем не менее, именно Батюшков, литературнейший из русских поэтов, по существу, первым создал в своих стихах, и в том числе переводах, образ лирического героя, на долгие годы сросшийся в сознании многих читателей с личностью автора. В этом кажущемся парадоксе стоит разобраться.

Впрочем, прежде надо заметить, что поэтическая автобиография в русской поэзии уже была — на редкость вещественно и зримо рассказал о себе в поздней лирике Державин. Обратившись к стилистике так называемой анакреонтической поэзии, он густо насытил ее намеками на обстоятельства собственной жизни, населил стихи своими родственниками и знакомыми, друзьями и недругами. Благодаря своей колоссальной славе Державин мог рассчитывать, что читатели будут в состоянии расшифровать хотя бы некоторые из этих намеков, другие же поэт растолковывал сам — в оглавлении своего сборника «Анакреонтические песни», а также в специальных «Объяснениях» на свои стихи, которые он предполагал издать вместе с собранием сочинений.

[1] Остафьевский архив князей Вяземских, т. 1, Пб., 1899, с. 382.

Резкий контраст условно-античного и конкретно-бытового планов позволил Державину добиться сильнейшего художественного эффекта, но в плане литературной эволюции этот уникальный опыт был по существу бесперспективен. Современники мало его оценили и еще меньше использовали.

Путь Батюшкова был принципиально иным. Он раскрывает свой поэтический мир в традиционных образах не с помощью намеков и аллегорий, но прямо и непосредственно, сводя воедино два плана, противопоставленных у Державина. Для того чтобы такой синтез мог стать органичным, необходимо было отказаться от биографической определенности, и Батюшков последовательно избегает всего индивидуального, частного, эмпирического, удерживая лишь те детали своей судьбы, которые без остатка умещались в созданный им идеальный образ Поэта. Естественно, такие детали были сравнительно немногочисленны, но они позволяли читателям угадывать в традиционных мотивах реальные обстоятельства жизни автора, придавали условным литературным формулам личное звучание.

Устойчивый образ Батюшкова-эпикурейца был сформирован в читательском сознании главным образом «Моими пенатами». Впоследствии, перечитывая «Опыты в стихах и прозе», Пушкин занес на поля, с одной стороны, восторженную оценку стихотворения: «Слог так и трепещет, так и льется, гармония очаровательна», а с другой — критический отзыв о художественных принципах своего предшественника: «Главный порок в сем прелестном послании — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями подмосковной деревни».

Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны,
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?

Давно замечено, что христианский погребальный обряд наложился здесь на языческий, но такое «смешение», неприемлемое для Пушкина, руководствовавшегося более поздними эстетическими критериями, не только не смущало Батюшкова, но и входило в его намерения. Любые реалии, упомянутые в стихотворении, утрачивают свою конкретность, втягиваясь в непрерывный поэтический хоровод, движущийся вокруг «счастливцев молодых», радостно встречающих раннюю смерть. И сами «счастлив-

цы», как бы оставаясь автором послания — Батюшковым и его адресатами — Жуковским и Вяземским, в то же время претворяются в своего рода античных мудрецов, влюбленных в красоту, умеющих ценить мирные наслаждения бытия и насмешливо отвергающих мирскую суету.

«Того же Вяземского называешь ты Аристипповым внуком. Но почему Аристиппов внук? Не знаю. Вряд ли узнает и Вяземский. Вряд ли узнает и кто-нибудь»[1],— недоумевал сам Вяземский по поводу данной ему в послании характеристики. Но Батюшков, согласившийся со многими замечаниями своего друга, на этот раз оставил строку без изменений, а в ответном письме попытался объяснить, почему он представил русского аристократа потомком греческого гедониста: «Твои замечания справедливы. Но почему не назвать тебя внуком Аристиппа, внуком Анакреона или черта, если хочешь? Это то есть не значит, что ты внук, то есть взаправду, и что твой батюшка назывался Аристиппычем или Анакреонычем, но это значит, что ты то есть имеешь качества, как будто нечто свойственное, то есть любезность, охоту напиться не вовремя и пр., пр., пр. Ну понял ли, понял ли Анакреонович» (т. III, с. 167—168).

«Мои пенаты» подвели итог довоенному творчеству Батюшкова. В новый период своей литературной деятельности он избегает столь явного смешения реалий, стремясь до конца погрузиться в мир греческой античности («Гезиод и Омир — соперники», «Из Греческой антологии», «Подражания древним») или скандинавского средневековья («На развалинах замка в Швеции», «Песнь Гаральда Смелого»). Но характерный для его художественного мышления механизм претворения жизненно-эмпирического материала в поэтическое слово по существу не претерпевает сколько-нибудь серьезных изменений.

С юностью и поэзией наслаждений Батюшков прощался в послании «К Дашкову»:

Мой друг! Я видел море зла,
И неба мстительного кары,
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.

Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных.

Страшные впечатления путешествия по разоренной стране воплощены здесь в устойчивых, чтобы не сказать, клишированных формулах: «мстительное небо», «неистовые враги», «издранные рубища» и пр., которые в то же время не выглядят штампами. Традиционные словосочетания придают личному опыту художест-

[1] РО ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 1 об.

венную весомость, в свою очередь, набирая от него оживляющую их динамику и экспрессию.

Любопытный материал для понимания поэтических принципов Батюшкова дает его шуточное письмо Вяземскому от февраля 1816 года. Описывая свою работу над переводом «Песни Гаральда Смелого», поэт рассказывает, что древний герой неожиданно предстал его воображению длинноволосым дикарем, рвущим мясо руками и пьющим вино из черепа убитого врага. Текст перевода, где Гаральд остался могучим и благородным вождем, по существу, не сохранил следов этого открытия, но уловленная Батюшковым сквозь французское переложение архаическая свирепость источника, быть может, помогла ему передать ту энергию стиха, которая не далась ни Н. А. Львову, ни И. Ф. Богдановичу, ни Н. М. Карамзину — превосходным поэтам, до него переводившим «Песню».

А море вздымалось, я помню, горами,
Ночь черная в полдень повисла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом.

Стоит отметить, что поэтически претворенной в «Песне Гаральда Смелого» оказалась не только древнескандинавская история, но и судьба самого Батюшкова. По-видимому, незадолго до создания перевода «Песни» он завершил «Элегию» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас»), посвященную его неразделенной любви к Анне Фурман. Воспоминание о милой вдохновляло героя элегии на поле боя и в дальних странствиях, но по возвращении на родину ему было суждено изведать горькое разочарование. При публикации «Элегии» Батюшков снял ее заключительную часть, в значительной степени приглушив биографическое содержание стихотворения. Переводом «Песни Гаральда Смелого», представляющей собой жалобу бесстрашного воина на равнодушие возлюбленной, поэт как бы восполнял эту потерю:

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне ⟨...⟩
А дева русская Гаральда презирает.

Было бы неточно объяснять нежелание Батюшкова печатать финальный фрагмент «Элегии» исключительно решением не касаться болезненной темы. Незавершенным наброском осталось в его бумагах стихотворение «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года», содержащее поражающие своей зримой конкретностью картины ужасов войны. Вместо него Батюш-

ков написал элегию «Переход через Рейн», где наступление русских войск показано на фоне тысячелетней германской истории, вершившейся на рейнских берегах.

О собственном сиротстве, скитальчестве, бедности Батюшков расскажет устами Гомера и Тассо, героев его элегий «Гезиод и Омир — соперники» и «Умирающий Тасс», первая из которых была к тому же переводной. Позднее в Италии развалины античного города подскажут ему способ выразить владевшее им чувство невозродимости утраченного («Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы»). Ни солнце, ни тепло, ни любовь не в состоянии вернуть к жизни разрушенную красоту. Еще позднее, уже на пороге распада, Батюшков скажет о том же страшней и резче в потрясающем стихотворении из цикла «Подражания древним» — «Когда в страдании девица отойдет». Воплотить личное чувство такой гибельной остроты, не претворив его виртуозной стилизацией, было для него художественно невозможным до конца жизни. Конечно, само возникновение пусть на периферии творчества Батюшкова таких стихов, как «Переход через Неман» или «Элегия» в ее полном виде, свидетельствовало о подспудном брожении его творческой манеры, возможно, предвещавшем в будущем качественные сдвиги. Но этим процессам так и не суждено было воплотиться.

«Живи, как пишешь, и пиши как живешь ⟨...⟩ Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»— это правило Батюшков считал первым в «науке ⟨...⟩ жизни стихотворца». В послании «К друзьям», открывавшем поэтическую часть «Опытов», он утверждал, что в книге можно найти «весь журнал», то есть дневник его жизни:

Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова свой челнок фортуне поверял.

Было бы тем не менее более чем опрометчиво видеть здесь признание в автобиографичности или исповедальности собственного творчества. Хорошо известно, как реагировал Батюшков на попытку Плетнева истолковать его стихи подобным образом: «Скажи, бога ради, зачем не пишет он биографии Державина. Он перевел Анакреона, следственно он — прелюбодей, он славил вино — следственно — пьяница, он хвалил борцов и кулачные бои, ergo — буян; он написал оду «Бог», ergo — безбожник. Такой способ очень легок»,— писал взбешенный поэт Гнедичу. Жить, как пишешь, значило для Батюшкова — привести жизненные устремления в гармонию с поэтическим идеалом.

«Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? Оттого, что он

пишет о себе»,— сказано в записной книжке Батюшкова о сатирике, чьи произведения наполнены прежде всего обличениями общественных пороков. С другой стороны, бедность личности автора с тою же неизбежностью скажется в его стихах. «Отчего Шаликова читаешь с досадою,— продолжил Батюшков свою мысль.— Оттого, что он пишет о себе». Можно, пожалуй, даже сказать, что чрезмерная откровенность литературного самовыявления раздражала поэта, выглядела в его глазах бестактностью. «Я нисколько не метил на себя, я еще не Шаликов» (т. III, с. 167),— отвечал он Вяземскому, усмотревшему в басне «Филомела и Прогна» автобиографические мотивы.

Тем же стремлением говорить о себе, избегая прямых признаний, отмечена и батюшковская проза. В его статьях не стоит искать последовательной эстетической системы или отточенного анализа. Как критик Батюшков явно уступает и Жуковскому и особенно Вяземскому, однако его прозаические опыты сохраняют живой интерес благодаря тому, что в них на редкость рельефно воплотились творческие поиски автора. Размышляя о Кантемире или Ломоносове, Петрарке или Тассо, легкой поэзии или образе жизни, подобающем творцу, Батюшков неизменно выговаривал то, что волновало его как поэта.

«Для того, чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде,— сказано в его записной книжке,— писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами,— надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался: рано или поздно писанное в прозе пригодится.— «Она питательница стиха»,— сказал Альфьери, если память мне не изменила».

Таким образом, в прозе не только выковывался слог и формировалась литературная манера Батюшкова, здесь вызревали чувства и мысли, которые потом отливались в стихи. Особую ценность в этом плане представляют собой записные книжки и письма поэта, раскрывающие его личность с полнотой, невозможной в произведениях, предназначенных для печати. Читая эти уникальные документы, трудно не обратить внимания на контраст между глубиной и выношенностью литературных оценок Батюшкова и наивной скоропалительностью его высказываний по многим другим поводам. Вникнув в это противоречие, мы можем многое уяснить в душевном мире поэта. Батюшков жил словом, порой заслонявшим от него воплощенную в этом слове реальность. Естественно, именно работа над поэтическим языком и стала для него центральной сферой художественного творчества. Здесь его эстетические принципы раскрылись с наибольшей энергией.

Любимца Кипридина
И миртом и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!

Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте.

Прелесть этого небольшого отрывка из стихотворения «Радость» во многом основана на неожиданном использовании деепричастия «топая». Вводя это слово, обозначающее в обычной речи тяжелые и неуклюжие движения, в описание праздничной пляски, Батюшков обновляет его, выбивает из привычного круга значений. Одновременно и изображение танца делается зримым и пластичным. Об особенностях батюшковского словоупотребления более сорока лет тому назад блестяще написал Г. А. Гуковский, предложивший до сих пор остающийся непревзойденным анализ поэзии Батюшкова. Как показал исследователь, слово у Батюшкова «работает» не своими прямыми словарными значениями, но смысловыми ассоциациями, порожденными традицией его поэтического использования и его контекстом в стихотворении. «Хмель, венец, пылающий, яркий, багрец, пурпуровый и т. д.,—писал Гуковский о батюшковской «Вакханке»,— слова-ноты определенной мелодии, слова, крепко связанные с ассоциацией не предметной, а душевной, психологической тональности ⟨...⟩ Попробуйте реализовать стихи «И уста, в которых тает пурпуровый виноград». Ведь не ест же она на бегу виноград! И ведь не похожи же ее губы на виноград (это было бы ужасно). А может быть, и то, и другое и некие отсветы изображений вакханок с гроздью винограда в руках и яркие губы ⟨...⟩ Виноград, *пурпур*, тает — это у Батюшкова не предмет, цвет и действие, а мысли и чувства, привычно сопряженные и с этим предметом цветом и действием и именно со *словами*, обозначающими их. Ведь *пурпур* — это не то, что просто ярко-красный цвет ⟨...⟩ Это цвет роскошных одежд условной древности, цвет ярких наслаждений и расцвета жизненных сил, цвет торжества»[1].

Неотъемлемой частью батюшковского стремления к совершенству была забота об эвфонии — красоте звучания каждого стихотворения. «Нам надобны мысли,— говорят одни, а я говорю: мне надобны звуки. Что мне в мыслях? Что мне...»— как дальше развивалось это признание, начатое в записной книжке Батюшкова, мы уже никогда не узнаем — следующий лист вырван. Порою несоответствие языкового материала его представлениям о красоте приводило поэта в ярость. «Отгадайте, на что я начинаю сердиться,— писал он Гнедичу.— На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татар-

[1] Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 102—103.

щиной. Что за ы? Что за щ? Что за ш, ший, щий, при, тры? 〈...〉 Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского (итальянского.— *А. З.*) языка и говорил с тенями Данте, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство» (т. III, с. 164—165). Разумеется, было бы нелепо упрекать Батюшкова в нелюбви к русскому слову, которому он отдал свою жизнь. Речь здесь идет о другом.

Своих любимых прозаиков Карамзина и Шатобриана Батюшков неоднократно хвалил за «стихотворность» их произведений — карамзинская «Марфа-посадница» и «Атала» Шатобриана ощущались им как стихи. Подобно тому как проза, не переставая быть прозой, преображалась в поэзию, Батюшков стремился преобразить, претворить в своем творчестве звуковой строй родной речи. В публичном выступлении, где он должен был формулировать свою мысль осторожней, чем в частном письме, Батюшков подчеркивал — что «язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающие даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением».

Последний оборот этой цитаты — явно дань скромности. Под пером Батюшкова «суровость и упрямство» русского языка исчезали совершенно.

> Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус
> Любви и очи и ланиты...

Рядом с этими строками с их изысканной аллитерацией на «л» и роскошными зияниями — скоплениями гласных, характерными для итальянского языка и вовсе не свойственными русскому, пораженный Пушкин написал: «Звуки италианские! Что за чудотворец этот Батюшков».

Как мы уже говорили, пребывание в Италии было для Батюшкова безрадостным, да и итальянская речь, когда он услышал ее с близкого расстояния, вовсе не показалась ему столь привлекательной: «У ног моих вечная ярмонка, стук и вопли, и крики 〈...〉 если сложить шум всего Петербурга с шумом всей Москвы, то и тут это еще ничего в сравнении с здешним»,— писал он Е. Ф. Муравьевой из Неаполя. Но и много позже былые мечтания вспоминались неизлечимо больному поэту. Его друг Д. В. Дашков рассказывал со слов лечащего врача Батюшкова о его настроениях во время переезда из Зонненштейна в Москву:

«С начала путешествия был очень покоен, часто смотрел на солнце и досадовал, когда облака закрыли его. С синего безоблачного неба не сводил глаз и повторял ежеминутно: Patria di Dante, patria d'Ariosto, patria del Tasso, o cara patria mia,

son pittore anche io»[1]... При перемене лошадей он беспрестанно понуждал, чтоб скорее запрягали, и не иначе называл коляску, как колесницею, воображая, что поднимается на небо, говоря: "Dahin, dahin, dort ist mein Vaterland"[2]»[3].

Поразительно, но это «Dahin, dahin», «туда, туда» — цитата, возможно, не вполне осознанная, из стихотворения Гете, посвященного Италии. Батюшков хорошо помнил это стихотворение и как-то в письме Жуковскому процитировал другую его строку, пригласив своего друга поехать с ним в «Тавриду, туда, wo die Citronen blühn»[4] (т. III, с. 449).

Называя родину Данте, Петрарки и Тассо своей родиной, Батюшков глядел в небо, а говоря о небесах, как о своей отчизне, смутно припоминал строки Гете о «земле, где цветут лимоны». Италия и ее язык были для него не реальной страной, где ему довелось страдать, не реальным наречием, доносившимся до него с шумных неаполитанских улиц, но вечно-голубым небом поэзии. Иначе говоря, это был:

...тот Элизий, где все тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови.
Где любуясь пляской граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет.

* * *

До нас дошло два стихотворения, написанных Батюшковым в годы душевной болезни. Одно из них представляет собой довольно бессвязный набор слов, варьирующих мотивы державинского «Памятника», зато другое во многих отношениях замечательно:

Премудро создан я, могу на вас сослаться,
Могу чихнуть, могу зевнуть.
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

По сути дела, здесь воссоздан уклад жизни утратившего разум человека, жизни, состоящей исключительно из чередования

---

[1] Родина Данте, родина Петрарки, родина Тассо, о, моя дорогая родина, я тоже художник (*ит.*).

[2] Туда, туда, там мое отечество (*нем.*).

[3] Майков Л. Н. К. Н. Батюшков, с. 259—260.

[4] где цветут лимоны (*нем.*).

сна и бодрствования, разнообразие в которое вносят лишь простейшие физиологические реакции: «Могу чихнуть, могу зевнуть».

Но привычный рычаг батюшковского творческого механизма переключает это описание в иной план, и последние две строки начинают звучать как метафора вечной грезы поэта, сливающей явь со сновидениями. «Поэзия, сие вдохновение, сие нечто изнимающее душу из ее обыкновенного состояния, делает любимцев своих несчастными счастливцами» (т. III, с. 140),— написал молодой Батюшков Гнедичу. В четверостишии, созданном за два года до смерти, он сумел поэтически претворить даже собственную болезнь.

Перебирая биографии русских поэтов, нельзя не обратить внимания на постоянство, с которым талантливейшие из них тратили лучшие силы души на дело, не имеющее ничего общего с сочинением стихов. Вспомним хотя бы, что значили научные исследования для Ломоносова, государственная деятельность для Державина, педагогические занятия для Жуковского, исторические труды для Пушкина, редакторская работа для Некрасова, политические проекты для Тютчева, хозяйственные заботы для Фета. Можно предположить, что столь мощный поэтический дар властно требует заземления, грозя иначе унести своего обладателя в сферы, откуда воистину нет возврата.

Батюшкову приходилось в своей жизни и служить и сражаться. Но судьба не сделала его ни библиотекарем, ни офицером, ни дипломатом. Она не дала ему ни семьи, ни дома, который бы он мог считать своим. Единственным его достоянием навсегда остались стихи. «Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего* человека»,— как-то написал Батюшков. Она и потребовала его — всего.

Андрей Зорин

Стихотворения, вошедшие в книгу «Опыты в стихах и прозе»





К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым гением уверен,
Что в сем дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои в замену чувства —
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял...
И словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного поэта,
Найдет и молвит так:
«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!)
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!»

Февраль 1817

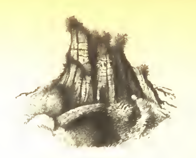
ЭЛЕГИИ

НАДЕЖДА

Мой дух! доверенность к творцу!
Мужайся, будь в терпенье камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду,
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменный?

Он! он! Его всё дар благой!
Он нам источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Всё дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

1815



НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА В ШВЕЦИИ

Уже светило дня на западе горит
　　И тихо погрузилось в волны!..
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
　　На хляби и брега безмолвны.
И всё в глубоком сне поморие кругом.
Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает,
Лишь эхо глас его протяжно повторяет
　　　В безмолвии ночном.

Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
　　В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
　　Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы и ветхий мост с чугунными цепями,
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
　　　И длинный ряд гробов.

Всё тихо, мертвый сон в обители глухой.
　　Но здесь живет воспоминанье:
И путник, опершись на камень гробовой,
　　Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой,
И ветр колышет стебль иссохшия полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
　　　Над спящею водой —

Там воин некогда, Одена храбрый внук,
В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,
Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой,
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов
И Гелы клятвою кровавой
На западных струях быть ужасом врагов
Иль пасть, как предки пали, с славой!»
И пылкий юноша меч прадедов лобзал
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь при звуке новой брани,
Кипел и трепетал.

Война, война врагам отеческой земли!
Суда наутро восшумели.
Запенились моря, и быстры корабли
На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрии раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валкалу провождает
Погибших бледный сонм.

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам,
Герой, победою избранный!
Уж скальды пиршества готовят на холмах.
Зри: дубы в пламени, в сосудах мед сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.

Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает,
К тебе, о юноша, слезами и мольбой
Богов на милость преклоняет...

Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей!

Суда у берегов, на них уже герой
С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою младой
И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит, безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
Пустыню криком оглашает, —
Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей и свист пернатых стрел,
И треск щитов, и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел
И грады в зареве пожаров;
Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Но всё покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Всё время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани
До утренних лучей.

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,

Роальда спутники, на бренных челноках
    Протекши дальные пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
        Средь копий, средь мечей?

Погибли сильные! Но странник в сих местах
    Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, преданья на скалах
    Угрюмой древности, читает.
Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный,
Здесь тлеют праотцов останки драгоценны:
        Почти их гроб святой!»

Июнь или июль 1814



ЭЛЕГИЯ ИЗ ТИБУЛЛА

Вольный перевод

Мессала! Без меня ты мчишься по волнам
С орлами римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии оставленный друзьями,
Их заклинаю всем, и дружбой, и богами,
Тибулла не забыть в далекой стороне!
Здесь Парка бледная конец готовит мне,
Здесь жизнь мою прервет безжалостной рукою...
Неумолимая! Нет матери со мною!

Кто будет принимать мой пепел от костра?
Кто будет без тебя, о милая сестра,
За гробом следовать в одежде погребальной
И миро изливать над урною печальной?
Нет друга моего, нет Делии со мной,—
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала —
И жребий сча́стливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал,
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила.
На дальний путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься!»— Делии сквозь слезы говорил;
«Утешься!»— и еще с невольным трепетаньем
Печальную лобзал последним лобызаньем.
Казалось, некий бог меня остановлял:
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов Сатурну посвященный,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.
О вы, которые умеете любить,
Страшитеся любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья
И волхвованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о Делия, в безбрачном ложе сон
И очищения священною водою?
Всё тщетно, милая, Тибулла нет с тобою.
Богиня грозная! Спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами
И с распуще́нными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды и луна,
До восхождения румяныя Авроры,
Услышат глас ее и жриц фарийских хоры.
Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию, и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о лары и пенаты!
Зачем мы не живем в златые времена?
Тогда беспечные народов племена
Путей среди лесов и гор не пролагали
И ралом никогда полей не раздирали;

Тогда не мчалась ель на легких парусах,
Несома ветрами в лазоревых морях,
И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным
С сидонским багрецом и с золотом бесценным
На утлом корабле скитаться здесь и там.
Дебелый вол бродил свободно по лугам,
Топтал душистый злак и спал в тени зеленой;
Конь борзый не кропил узды кровавой пеной;
Не зрели на полях столпов и рубежей,
И кущи сельские стояли без дверей;
Мед капал из дубов янтарною слезою;
В сосуды молоко обильною струею
Лилося из сосцов питающих овец...—
О мирны пастыри, в невинности сердец
Беспечно жившие среди пустынь безмолвных!
При вас, на пагубу друзей единокровных,
На наковальне млат не исковал мечей,
И ратник не гремел оружьем средь полей.
О век Юпитеров! О времена несчастны!
Война, везде война, и глад, и мор ужасный,
Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...
Но ты, державший гром и молнию в руках!
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.
Ни словом, ни душой я не был вероломен;
Я с трепетом богов отчизны обожал,
И если мой конец безвременный настал,—
Пусть камень обо мне прохожим возвещает:
«Тибулл, Мессалы друг, здесь с миром почивает».
Единственный мой бог и сердца властелин,
Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!
До гроба я носил твои оковы нежны,
И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный май меж рощей и полей,
Где расцветает нард и киннамона лозы,
И воздух напоен благоуханьем розы;
Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви, неумолимый рок,—
Тот носит на челе из свежих мирт венок.
А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных,

Там реки пламенны сверкают по пескам,
Мегера страшная и Тизифона там
С челом, опутанным шипящими змиями,
Бегут на дикий брег за бледными тенями.
Где скрыться? Адский пес лежит у медных врат,
Рыкает зев его... и рой теней назад!..
Богами ввержены во пропасти бездонны,
Ужасный Энкелад и Тифий преогромный
Питает жадных птиц утробою своей.
Там хищный Иксион, окованный змией,
На быстром колесе вертится бесконечно;
Там в жажде пламенной Тантал бесчеловечный
Над хладною рекой сгорает и дрожит...
Всё тщетно! вспять вода коварная бежит,
И черпают ее напрасно Данаиды,
Все жертвы вечные карающей Киприды.
Пусть там страдает тот, кто рушил наш покой
И разлучил меня, о Делия, с тобой!
Но ты, мне верная, друг милый и бесценный,
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный
И, тихо веретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг, и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет... и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеянны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях в блистанье принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

⟨1811?⟩



ВОСПОМИНАНИЕ

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
    Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
    Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зеркальных водах являл весь стан и рощи;
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! О холмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
    Что я, мечтатель ваш счастливый,
    На смерть летя против врагов,
    Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну... —
И буря дней моих исчезла как мечта!..
    Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
    Нас сближит с ним одно мечтанье.
Да оживлю теперь я в памяти своей
    Сию ужасную минуту,
    Когда, болезнь вкушая люту
    И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!

Но небо, вняв моим молениям усердным,
    Взглянуло оком милосердным:
Я, Неман переплыв, узрел желанный край,
    И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами,
Спокойный домосед, земной вкушает рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
    К себе богиню быстроногу
    В молитвах не зовет!
    Не слеп во славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».

Между июлем 1807 и ноябрем 1809



ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывок

. . . .

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
    Печальна опытность открыла
    Пустыню новую для глаз,
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
        Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,

Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!

Как странник, брошенный на брег из ярых волн,
Встает и с ужасом разбитый видит челн,

Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последняя надежда, утешенье!
Тебя, последний сердца друг!
Средь бурей жизни и недуг
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости творца.
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях;
И в мире и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною.
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою,
И Сейна по цветам льет сребренный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен
Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона,
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные и в дикости своей, —
О камни Швеции, пустыни скандинавов!
Обитель древняя и доблести и нравов,
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала

И дальные скалы гранитных берегов
И села пахарей и кущи рыбаков,
Сквозь тонки, утренни туманы,
На зеркальных водах пустынной Троллетаны.
. . . .

⟨1815⟩



ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали —
От Орковых полей, от Леты берегов —
Для сладострастия призвали.
Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
Я от любви теперь увяну.

Между июнем 1807 и 1809



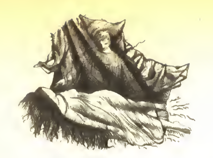
МЩЕНИЕ

Из Парни

Неверный друг и вечно милый!
Зарю моих счастливых дней
И слезы радости и клятвы легкокрылы —
Всё время унесло с любовию твоей!
И всё погибло невозвратно,
Как сладкая мечта, как утром сон приятный!
Но всё любовью здесь исполнено моей
И клятвы страшные твои напоминает.
Их помнят и леса, их помнит и ручей,
И эхо томное их часто повторяет.
Взгляни: здесь в первый раз я встретился с тобой,
Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлелеянной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей.
Вот здесь я в первый раз вкусил надежды сладость;
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей.
Когда твою грозила младость
Болезнь жестокая во цвете погубить,
Здесь клялся, милый друг, тебя не пережить!
Но с новой прелестью ты к жизни воскресала
И в первый раз «люблю», краснеяся, сказала
(Тому сей дикий бор немой свидетель был).
Твоя рука в моей то млела, то пылала,
И первый поцелуй с душою душу слил.
Там взор потупленный назначил мне свиданье
В зеленом сумраке развесистых древес,

Где льется в воздухе сирен благоуханье
И облако цветов скрывает свод небес;
Там ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загремел над нами ярый гром;
Всё небо в пламени зарделося кругом,
И в роще сумрачной сверкало.
Напрасно! ты была в объятиях моих,
И к новым радостям ты воскресала в них!
О пламенный восторг! О страсти упоенье!
О сладострастие... себя, всего забвенье!
С ее любовию утраченны навек!
Вы будете всегда изменнице упрек.
Воспоминанье ваше,
От времени еще прелестнее и краше,
Ее преступное блаженство помрачит
И сердцу за меня коварному отмстит
Неизлечимою, жестокою тоскою.
Так! всюду образ мой увидишь пред собою,
Не в виде прежнего любовника в цепях,
Который с нежностью сквозь слезы упрекает
И жребий с трепетом читает
В твоих потупленных очах.
Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Явлюсь как бледное в полуночь привиденье
И всюду следовать я буду за тобой:
В безмолвии лесов, в полях уединенных,
В веселых пиршествах, тобой одушевленных,
Где юность пылкая и взор считает твой.
В глазах соперника, на ложе Гименея —
Ты будешь с ужасом о клятвах вспоминать;
При имени моем, бледнея,
Невольно трепетать.
Когда ж безвременно, с полей кровавой битвы,
К Коциту позовет меня судьбины глас,
Скажу: «Будь счастлива» — в последний жизни час, —
И тщетны будут все любовника молитвы!

⟨1815⟩



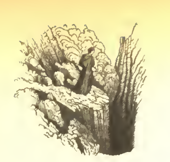
ПРИВИДЕНИЕ

Из Парни

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает.
Что же медлить! Ведь Зевеса
Плач и стон не укротит.
Смерти мрачной занавеса
Упадет — и я забыт!
Я забыт... но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать.
В час полуночных видений
Я не стану в виде тени,
То внезапу, то тишком,
С воплем в твой являться дом.
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать;
Стану всюду развевать
Легким уст прикосновеньем
Как зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листами

Ко груди твоей прильнет,
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет,
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал,
Если пояс сокровенный
Развязался и упал, —
Улыбнися, друг бесценный,
Это — я. Когда же ты,
Сном закрыв прелестны очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.
Если ж легкими крылами
Сон глаза твои сомкнет,
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
Сон твой, Хлоя, будет долог...
Но когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься... о, блаженство!
Я увижу совершенство...
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею.
Все опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но, ах!
Мертвые не воскресают.

Февраль 1810



ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ III

Из III книги

Напрасно осыпал я жертвенник цветами,
Напрасно фимиам курил пред алтарями;
Напрасно: Делии еще с Тибуллом нет.
Бессмертны! слышали вы скромный мой обет!
Молил ли вас когда о почестях и злате?
Желал ли обитать во мраморной палате?
К чему мне пажитей обширная земля,
Златыми класами венчанные поля
И стадо кобылиц, рабами охраненно?
О бедности молил, с тобою разделенной!
Молил, чтоб смерть меня застала — при тебе,
Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать себе
Богатства Азии или волов дебелых?
Ужели более мы дней сочтем веселых
В садах и в храминах, где дивных ряд столбов
Иссечен хитростью наемных пришлецов;
Где всё один порфир Тенера и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста;
Луга пространные, где силою трудов
Легла священна тень от кедровых лесов?
К чему эритрские жемчужины бесценны
И руны тирские, багрянцем напоенны?
В богатстве ль счастие? В нем призрак, тщетный вид!
Мудрец от лар своих за златом не бежит,
Колен пред случаем вовек не преклоняет,
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне радостна с тобой!

Тот кров соломенный Тибуллу золотой,
Под коим, сопряжен любовию с тобою,
Стократ благословен!.. Но если предо мною
Бессмертные весов судьбы не преклонят —
Утешит ли тогда сей Рим, сей пышный град?
Ах! нет! И золото блестящего Пактола,
И громкой славы шум, и самый блеск престола
Без Делии — ничто, а с ней и куща — храм,
Безвестность, нищета завидны небесам!
О дочь Сатурнова! услышь мое моленье!
И ты, любови мать! Когда же парк сужденье,
Когда суровых сестр противно веретено
И Делией владеть Тибуллу не дано, —
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топкие и воды Ахерона
Широкой цепию вкруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.

Между сентябрем и декабрем 1809

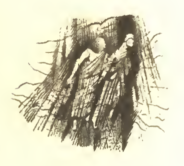


МОЙ ГЕНИЙ

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.

Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — с любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Июль — август 1815



ДРУЖЕСТВО

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!
Тезей на берегах Коцита не страдает,—
С ним друг его души, с ним верный Пирифой.
Атридов сын в цепях, но зависти достоин!
С ним друг его, Пилад... под лезвием мечей.
А ты, младый Ахилл, великодушный воин,
Бессмертный образец героев и друзей!
Ты дружбою велик, ты ей дышал одною!
И, друга смерть отмстив бестрепетной рукою,
Счастлив! ты мертв упал на гибельный трофей!

1811 или начало 1812



ТЕНЬ ДРУГА

Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;
Luridaque evictos effugit umbra rogos.
Propertius[1]

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум, и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов,—
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели.
Мечты сменялися мечтами,
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне
Завидной смертию, над плейсскими струями.
Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское, веселием цвело

[1] Души усопших — не призрак: смертью не все кончается; бледная тень ускользает, победив костер. *Проперций (лат.).— Ред.*

И всё небесное душе напоминало.
«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал, — о воин вечно милый!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой подвиг начертал
И тень в небесную отчизну провождал
С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!
Или протекшее все было сон, мечтанье;
Все, все — и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! молви слово мне! пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает...»
И я летел к нему... Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
И сон покинул очи.

Все спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные катилися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И все душа за призраком летела.
Все гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

Июнь 1814



ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ XI

Из I книги

Вольный перевод

Кто первый изострил железный меч и стрелы?
Жестокий! он изгнал в безвестные пределы
Мир сладостный и в ад открыл обширный путь!
Но он виновен ли, что мы на ближних грудь
За золото, за прах железо устремляем,
А не чудовищей им диких поражаем?
Когда на пиршествах стоял сосуд святой
Из буковой коры меж утвари простой
И стол был отягчен избытком сельских брашен,
Тогда не знали мы щитов и твердых башен,
И пастырь близ овец спокойно засыпал?
Тогда бы дни мои я радостьми считал!
Тогда б не чувствовал невольно трепетанье
При гласе бранных труб! О, тщетное мечтанье!
Я с Марсом на войне: быть может, лук тугой
Натянут на меня пернатою стрелой...

О боги! сей удар вы мимо пронесите,
Вы, лары отчески, от гибели спасите!
О вы, хранившие меня в тени своей,
В беспечности златой от колыбельных дней,
Не постыдитеся, что лик богов священный,
Иссеченный из пня и пылью покровенный,
В жилище праотцев уединен стоит!
Не знали смертные ни злобы, ни обид,

Ни клятв нарушенных, ни почестей, ни злата,
Когда священный лик домашнего пената
Еще скудельный был на пепелище их!
Он благодатен нам, когда из чаш простых
Мы учиним пред ним обильны возлиянья
Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из миртов и лилей;
Он благодатен нам, сей мирный бог полей,
Когда на празднествах, в дни майские веселы,
С толпою чад своих, оратай престарелый
Опресноки ему священны принесет,
А девы красные из улья чистый мед.
Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Церериных даров,
А в жертву — сей овен, краса моих лугов.
Я сам, увенчанный и в ризы облеченный,
Явлюсь наутрие пред ваш алтарь священный.
Пускай, скажу, в полях неистовый герой,
Обрызган кровию, выигрывает бой;
А мне — пусть благости сей буду я достоин —
О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности; и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином.
Почто же вызывать нам смерть из царства тени,
Когда в подземный дом везде равны ступени?
Она, как тать в ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится, и всюду за тобой!
И низведет тебя в те мрачные вертепы,
Где лает адский пес, где фурии свирепы
И кормчий в челноке на Стиксовых водах.
Там теней бледный полк толпится на брегах,
Власы обожжены, и впалы их ланиты!..
Хвала, хвала тебе, оратай домовитый!
Твой вечереет век средь сча́стливой семьи;
Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои;
Супруга между тем трапезу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальною водой. О боги! если б я
Узрел еще мои родительски поля!
У светлого огня, с подругою младою,
Я б юность вспомянул за чашей круговою,
И были, и дела давно протекших дней!

Сын неба! светлый Мир! ты сам среди полей
Вола дебелого ярмом отягощаешь!
Ты благодать свою на нивы проливаешь,
И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лиешь багряный сок из Вакховых даров.
В дни мира острый плуг и заступ нам священны,
А меч, кровавый меч и шлемы оперенны
Снедает ржавчина безмолвна на стенах.
Оратай из лесу там едет на волах.
С женою и с детьми, вином развеселенный!
Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой,
Смотри! — у ног твоих колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает,
И вот уж среди вас, размолвивших, сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженье!
Но счастлив, если мог в минутном исступленье
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!
А ты, взлелеянный средь копий и мечей,
Беги, кровавый Марс, от наших алтарей.

Между концом 1809 и мартом 1810



ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Вы, други, вы опять со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах!

Други! сядьте и внемлите
Музы ласковой совет.
Вы счастливо жить хотите
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить:
Ах! не долго веселиться
И не веки в счастье жить!

Но вы, о други, вы со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

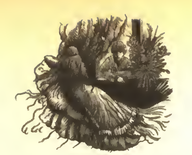
Станем, други, наслаждаться,
Станем розами венчаться;
Лиза! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и живой!
Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем,
То воскреснем, то умрем!..

Вы ль, други милые, со мною,
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах?

Я, любовью упоенный,
Вас забыл, мои друзья,
Как сквозь облак вижу темный
Чаши золотой края!..
Лиза розою пылает,
Грудь любовию полна,
Улыбаясь, наливает
Чашу светлого вина.
Мы потопим горесть нашу,
Други! в эту полну чашу,
Выпьем разом и до дна
Море светлого вина!

Друзья! уж месяц над рекою,
Почили рощи сладким сном;
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?
О радость! радость! Вакх веселый
Толпу утех сзывает к нам;
А тут в одежде легкой, белой
Эрато гимн поет друзьям:
«Часы крылаты! не летите,
И счастье мигом хоть продлите!»
Увы! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они!
Ни лень, ни счастья наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Погубит радость и покой,
Луга веселые зелены,
Ручьи кристальные и сад,
Где мшисты дубы, древни клены
Сплетают вечну тень прохлад,—
Ужель вас зреть не буду боле?
Ужели там, на ратном поле,
Судил мне рок сном вечным спать?
Свирель и чаша золотая
Там будут в прахе истлевать;
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Забвенный прах не окропится...
Заране должно ли крушиться?
Умру, и всё умрет со мной!..
Но вы еще, друзья, со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Между началом 1806 и февралем 1810



В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ N

О ты, которая была
Утех и радостей душою!
Как роза некогда цвела
Небесной красотою;
Теперь оставлена, печальна и одна,
Сидя смиренно у окна,
Без песней, без похвал встречаешь день рожденья —
Прими от дружества сердечны сожаленья,
Прими и сердце успокой.
Что потеряла ты? Льстецов бездушных рой,
Пугалищей ума, достоинства и нравов,
Судей безжалостных, докучливых нахалов.
Один был нежный друг... и он еще с тобой!

⟨1810⟩



ПРОБУЖДЕНИЕ

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами,
Но я — не к счастью пробужден
Зефира тихими крылами.

Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончих лай и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви — холодными словами.

⟨Вторая половина 1815⟩



РАЗЛУКА

Напрасно покидал страну моих отцов,
    Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
Старался усыпить встревоженные чувства.
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!
        Напрасно я скитался
    Из края в край, и грозный океан
        За мной роптал и волновался;
Напрасно от брегов пленительных Невы
        Отторженный судьбою,
Я снова посещал развалины Москвы,
Москвы, где я дышал свободою прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
        Холодным солнцем освещенных,

В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.
Напрасно: всюду мысль преследует одна
    О милой, сердцу незабвенной,
    Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле — блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей
    Меня мертвит и оживляет.

Июль или август 1815



ТАВРИДА

Друг, милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
    Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод,—
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары фортуны благосклонной,

Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
　Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, Водолей
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки,—
О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
　В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
　Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
　Твой друг не смеет и вздохнуть:
Потупя взор, дивится и немеет.

Вторая половина 1815



СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
　Не потрясли души высокой.

Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
    И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал.

Вторая половина 1814



ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

В полях блистает май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос филомелы
Угрюмый бор очаровал:
Всё новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимый вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: в последний раз
Услышишь горлиц воркованье
И Гальционы тихий глас;

Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
И с ними вдруг увянешь ты.
Уж близок час... Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И Гальционы в тихий час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша... погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего:
И Делия не посетила
Пустынный памятник его.
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

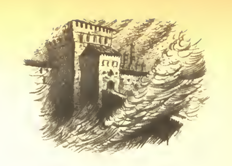
⟨1815⟩



К Г⟨НЕДИ⟩ЧУ

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы?
Путь к забавам проложен,
К славе тесен и мудрен!
Мне ль за призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть,
И счастлив!.. Досель цветами
Путь ко счастью устилал,
Пел, мечтал, подчас стихами
Горесть сердца услаждал.
Пел от лени и досуга;
Муза мне была подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь — весна, как сон
Легкокрылый, исчезает
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца,— завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

1806



К Д⟨АШКО⟩ВУ

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонму богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,

Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем,—
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

Март 1813



ИСТОЧНИК

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам;
Мутный источник, след яростной бури,
С ревом и с шумом бежит по полям!
Зафна! Приблизься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;
Падая с камня, источник пустынный
С ревом и с пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любови ты мне повторила;
Ветер унес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам.
Тише, источник! Прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! — я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
Зафна краснеет?.. О друг мой невинный,
Тихо прижмися устами к устам!..
Будь же ты скромен, источник пустынный,
С ревом и с шумом стремясь по полям!

Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!

Зафна, о Зафна!.. Смотри... там, в водах,
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!

Время погубит и прелесть и младость!..
Ты улыбнулась, о дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о Зафна! — там голубь невинный
С страстной подругой завидуют нам...
Вздохи любови — источник пустынный
С ревом и с шумом умчит по полям!

Первая половина 1810



НА СМЕРТЬ СУПРУГИ Ф. Ф. К⟨ОКОШКИ⟩НА

Nell'etá sua piú bella e piú fiorita...
...E viva, e bella al ciel salita.

Petrarca[1]

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!
Всё осиротело!
Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен унылый!
Счастье улетело!

[1] В самом прекрасном, самом цветущем возрасте... И живой, и прекрасной взошла на небо. *Петрарка. (ит.).— Ред.*

Дружба! ты всечастно радости цветами
Жизнь ее дарила;
Ты свою богиню с воплем и слезами
В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны ло́зы
Насади вкруг урны!
Пусть приносит юность в дар чистейший слезы
И цветы лазурны!

Всё вокруг уныло! Чуть зефир весенний
Памятник лобзает;
Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений
Розу обрывает.

Здесь Гимен, прикован, бледный и безгласный,
Вечною тоскою,
Гасит у гробницы свой светильник ясный
Трепетной рукою!

Апрель или май 1811



ПЛЕННЫЙ

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет
И яворы шумят, —

В часы вечерния прохлады
Любуяся рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один — толпой врагов.

«Шуми, — он пел, — волнами, Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время,
Душою в людстве сир;
Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя,
И пуст прекрасный мир!

Весна вокруг живит природу,
Яснеет солнца свет,
Всё славит счастье и свободу,
Но мне свободы нет!
Шуми, шуми волнами, Рона,
И мне воспоминай
На берегах родного Дона
Отчизны милый край!

Здесь прелесть — сельские девицы!
Их взор огнем горит
И сквозь потупленны ресницы
Мне радости сулит.
Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне,
И в дебрях, и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!
Ах! дайте мне коня;
Туда помчит он быстрым бегом
И день и ночь меня!

На родину, в сей терем древний,
Где ждет меня краса
И под окном в часы вечерни
Глядит на небеса;
О друге тайно помышляет...
Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей,
Вы, звезды севера, горите
Изгнаннику светлей!»

Так пел наш пленник одинокой
В виду лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

⟨1814⟩



ГЕЗИОД И ОМИР — СОПЕРНИКИ

Посвящено А. Н. О⟨ленину⟩,
любителю древности

Народы, как волны, в Халкиду текли,
   Народы счастливой Эллады!
Там сильный владыка, над прахом отца
   Оконча печально обряды,
Ристалище славы бойцам отверзал.
   Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;
   Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям,
   И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал.
   Но солнце на лоно Фетиды
Склонялось, и новый готовился бой.
   Очистите поле, возницы!
Спешите! Залейте студеной струей
   Пылающи оси и спицы,
Коней отрешите от тягостных уз
   И в стойлы прохладны ведите;
Вы, пылью и потом покрыты, бойцы,
   При пламени светлом вздохните,
Внемлите народы, Эллады сыны,
   Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,
Летами древними и роком удрученный,
   Здесь песней царь Омир

И юный Гезиод, каменам драгоценный,
Вступают в славный бой.
Колебля ма́слину священную рукой,
Певец Аскреи гимн высокий начинает
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает).

Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил
Под тенью пальмовой близ чистой Иппокрены,
Там пастыря нашли прелестные камены,
И я в обитель их священную вступил.

Омир

Мне снилось в юности: орел-громометатель
От Мелеса меня играючи унес
На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,
В пустынях процветут Темпейские долины,
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,
О нежны дочери суровой Мнемозины!

Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес
Над царством высится плачевного Эреба,
Как радостный Олимп стоит превыше неба —
Так выше всех богов властитель их, Зевес!..

Гезиод

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный...

Омир

Не знает смерти он: кровь алая тельцов
Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей;
И кони бурные со звонкой колесницей
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

Гезиод

А мы все смертные, все паркам обреченны,
Увидим области подземного царя

И реки спящие, Тенаром заключенны,
Не льющи дань свою в бездонные моря.

Омир

Я приближаюся к мете сей неизбежной.
Внемли, о юноша! Ты пел «Труды и дни»...
Для старца ветхого уж кончились они!

Гезиод

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежный
На синем Стримоне, провидя страшный час,
Не слаще твоего поет в последний раз!
Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком обречен в печалях кончить дни.
Певец божественный, скитаяся, как нищий,
В печальном рубище, без крова и без пищи,
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать
И день, когда на свет тебя родила мать!

Омир

Твой глас подобится амврозии небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льет.
Певец! в устах твоих поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.
Но... муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской,
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов:
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали
Покрыло очи их... Народ рукоплескал.
Но снова сладкий бой поэты начинали
При шуме радостных похвал.
Омир, возвыся глас, воспел народов брани,
Народов, гибнущих по прихоти царей;
Приама древнего, с мольбой несуща дани
Убийце грозному и кровных и детей;
Мольбу смиренную и быструю Обиду,
Харит и легких ор, и страшную Эгиду,
Нептуна области, Олимп и дикий Ад.
А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,

С чудесной прелестью воспел веселым гласом
Весну зеленую — сопутницу гиад;
Как Феб торжественно вселенну обтекает,
Как дни и месяцы родятся в небесах;
Как нивой золотой Церера награждает
Труды годичные оратая в полях.
Заботы сладкие при сборе винограда;
Тебя, желанный Мир, лелеятель долин,
Благословенных сел, и пастырей, и стада
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,
От самой юности воспитанный средь мира,
Презрел высокий гимн бессмертного Омира
И пальму первенства сопернику вручил.
Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает
И музам светлые сосуды предлагает
Как дар, усердный дар певца за их любовь.
До самой старости преследуемый роком,
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
Омир скрывается от суетной толпы,
Снедая грусть свою в молчании глубоком.
Рожденный в Самосе убогий сирота
Слепца из края в край, как сын усердный, водит;
Он с ним пристанища в Элладе не находит...
И где найдут его талант и нищета?

Конец 1816 — январь 1817

ПРИМЕЧАНИЕ К ЭЛЕГИИ «ГЕЗИОД И ОМИР»

Эта элегия переведена из Мильвуа, одного из лучших французских стихотворцев нашего времени. От скончался в прошлом годе, в цветущей молодости. Французские музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники; некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспари-

вают это предположение. Отец Гезиодов, как видно из поэмы «Труды и дни», жил в Кумах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Геликона: там родился Гезиод. Музы, говорит он в начале «Феогонии», нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей в песнопении. Архидамий, царь Эвбейский, умирая завещал, чтобы в день смерти его, ежегодно, совершались погребальные игры. Дети исполнили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. Плутарх в сочинении своем «Пир Семи Мудрецов» заставляет рассказывать Периандра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победителем и в знак благодарности музам посвятил им треножник, полученный в награду. Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его: предвещание сбылось. Молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Эвбии, посвященных Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в мире Поэт был слеп и нищий?

Нам Музы дорого таланты продают!



К ДРУГУ

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли;
Мы пили чашу сладострастья:

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой;
Но я узнал его: я сердца дань принес
На прах его красноречивый.

На нем, когда окрест замолкнет шум градской
И яркий Веспер засияет
На темном севере,— твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель алтарей
Богини неги и прохлады,
От пресыщения, от пламенных страстей
Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? я здесь, на пепле храмин сих,
Венок веселия слагаю
И часто в горести, в волненье чувств моих,
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим друзьям —
И что ж? их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотою?
Благие небеса, казалось, дали ей
Всё счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты,
Чело открытое одной из важных муз
И прелесть девственной хариты.

Ты сам, забыв и свет, и тщетный шум пиров,
Ее беседой наслаждался
И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался.

Цветок, увы! исчез, как сладкая мечта!
Она в страданиях почила
И, с миром в страшный час прощаясь навсегда...
На друге взор остановила.

Но, дружба, может быть, ее забыла ты!..
Веселье слезы осушило,
И тень чистейшую дыханье клеветы
На лоне мира возмутило.

Так всё здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвьем отвечали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает,—

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились;
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Я с страхом вопросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен;
Ногой надежною ступаю;
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

1815



МЕЧТА

Подруга нежных муз, посланница небес,
Источник сладких дум и сердцу милых слез,
Где ты скрываешься, Мечта, моя богиня?
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,
К которым ты стремишь таинственный полет?
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет,
Где ветр порывистый и бури шум внимаешь?
Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем
В места, где дышит всё любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным
    Коснуся я струнам,
    Тобой одушевленным!
Явися! ждет тебя задумчивый пиит,
В безмолвии ночном сидящий у лампады!
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца Аонид,
    И горесть сладостна бывает:
    Он в горести — *мечтает.*

То вдруг он пренесен во Сельмские леса.
    Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
    То, с чашей радости в руках,

Он с бардами поет: и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвно им внимает.
И эхо по горам песнь звучну повторяет.

Или в полночный час
Он слышит Скальдов глас,
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,
Зажженных в поле брани;
И древний царь певцов
Простер на арфу длани.
Могилу указав, где вождь героев спит,
«Чья тень, чья тень,— гласит
В священном исступленье,—
Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, младый Иснель, иноплеменных страх,
Днесь падший на сраженье!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые разбиты,
Но сам ты пал на грудах тел,
Пал витязь знаменитый
Под тучей вражьих стрел!..
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках
В безмолвии спустились!
Коснулись до зениц копьем своим, и вновь
Глаза твои открылись!
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира;
И ты, бесплотный дух,
В страны безвестны мира
Летишь стрелой... и вдруг —
Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовили для сонма храбрых боги
Любовь и вечный пир.
При шуме горных вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сеней,
Ты будешь поражать там скачущих еленей
И златорогих серн!»
Склонясь на злачный дерн,

С дружиною младою,
Там снова с арфой золотою
В восторге Скальд поет
О славе древних лет;
Поет, и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.
Но вечер притекает,
Час неги и прохлад,
Глас Скальда замолкает.
Замолк — и храбрых сонм
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы
Власы свои душисты
Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яства носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкий мед...
Так древний Скальд поет,
Лесов и дебрей сын угрюмый:
Он счастлив, погрузясь о счастье в сладки думы!

О, сладкая Мечта! О, неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,
Где плещут о скалы́ Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.
Я счастлив был, когда в моем уединенье,
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
    Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний.
    Тогда на крылиях Мечты
    Летал я в поднебесной;
Или, забывшися на лоне красоты,
    Я сон вкушал прелестный,
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! Дары твои бесценны
    И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,

Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой —
Все, все украшено тобой!..
Кто сердцем прав, того ты век не покидаешь:
За ним во все страны́ летаешь
И счастием даришь любимца своего.
Пусть миром позабыт! что нужды для него?
Но с ним задумчивость, в день пасмурный, осенний,
На мирном ложе сна,
В уединенной сени,
Беседует одна.
О, тайных слез неизъяснима сладость!
Что пред тобой сердец холодных радость,
Веселый шум и блеск честей
Тому, кто ничего не ищет под луною,
Тому, кто сопряжен душою
С могилою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил?
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался
И счастья в них не находил?
Кто в час глубокой ночи,
Когда невольно сон смыкает томны очи,
Всю сладость не вкусил обманчивой Мечты?
Теперь любовник, ты
На ложе роскоши с подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливой,
Теперь блаженствуешь и счастлив ты — Мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призра́ки
И нектаром любви кропит ленивы маки.

Мечтание — душа поэтов и стихов,
И едкость сильная веков
Не может прелестей лишить Анакреона,
Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах
Меж нимф и сельских граций,
Певец веселия, Гораций!
Ты сладостно мечтал,

Мечтал среди пиров и шумных и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,
На скате бархатных лугов,
В счастливом Тибуре, в твоем уединенье,
Ты ждал Глицерию, и в сладостном забвенье,
Томимый негою на ложе из цветов,
При воскурении мастик благоуханных,
При пляске нимф венчанных,
Сплетенных в хоровод,
При отдаленном шуме
В лугах журчащих вод,
Безмолвен, в сладкой думе
Мечтал... и вдруг, Мечтой
Восторжен сладострастной,
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной
Победу пел любви
Над юностью беспечной,
И первый жар в крови,
И первый вздох сердечный,
Счастливец! воспевал
Цитерские забавы
И все заботы славы
Ты ветрам отдавал!

Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость?
От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов;
Для них нет прелести и в прелестях природы.
Им девы не поют, сплетяся в хороводы:
Для них, как для слепцов,
Весна без радости и лето без цветов...
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут граций лобызанья,
Надежды изменит и рой крылатых снов.
Увы! там нет уже цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой,
Ничто даров твоих для сердца не заменит!
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,
Лобзая прах златой у мраморных палат, —
Но я и счастлив и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!
Пусть будет навсегда со мной
Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве Мечтой!
Их сердцу малость драгоценна:
Как пчелка, медом отягченна,
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек;
Так хижину свою поэт дворцом считает,
И счастлив — *он мечтает!*

1817

ПОСЛАНИЯ

МОИ ПЕНАТЫ

Послание к Ж⟨уковскому⟩ и В⟨яземскому⟩

Отечески Пенаты,
О пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы́ и темны кельи,
Где вас на новоселье
Смиренно здесь и там
Расставил по углам;
Где, странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт приносит вам,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь пермесских дар!
О Лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —
И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой
Стоит перед окном

Стол ветхий и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Всё утвари простые,
Всё рухлая скудель!
Скудель!.. но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня;
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками
Как вихорь на полях,

И вкруг его рядами
Враги ложились в прах!..
И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок,
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя,
Твоя, мой друг сердечный!..»
Блажен в сени беспечной,
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья,
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном!..

Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты над окном,

Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;
Зефир листы колышет,
И всё любовью дышит
Среди полей моих;
Всё с утром оживает,
А Лила почивает
На ложе из цветов...
И ветер тиховейный
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров...
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища прохлады,
Скользит по ложу вниз...
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как не́ктар на пирах!..
Покойся, друг прелестный,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забыт я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!
Мой век спокоен, ясен;
В убожестве с тобой
Мне мил шалаш простой;
Без злата мил и красен
Лишь прелестью твоей!

Без злата и честей
Доступен добрый гений
Поэзии святой
И часто в мирной сени
Беседует со мной.
Небесно вдохновенье,
Порыв крылатых дум!

(Когда страстей волненье
Уснет... и светлый ум,
Летая в поднебесной,
Земных свободен уз,
В Аонии прелестной
Сретает хоры муз!)
Небесно вдохновенье,
Зачем летишь стрелой
И сердца упоенье
Уносишь за собой?
До розовой денницы
В отрадной тишине,
Парнасские царицы,
Подруги будьте мне!
Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,
Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!..
Что вижу? ты пред ними,
Парнасский исполин,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам.
В толпе и муз и граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен,
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин;

То мудрого Платона
Описывает нам,
И ужин Агатона,
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времян
И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними сильф прекрасный,
Воспитанник харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С эротами играя,
Философ и пиит,
Близ Федра и Пильпая
Там Дмитриев сидит;
Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя,
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы,
Поют среди певцов
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги пиерид
И в радости взываю:
О музы! я пиит!

А вы, смиренной хаты
О Лары и Пенаты!
От зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье
И негу и покой!

Фортуна! прочь с дарами
Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл...
Но вы, любимцы славы,
Наперсники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Друзья мои сердечны!
Придите в час беспечный
Мой домик навестить —
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Ж⟨уковский⟩ добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О В⟨яземский⟩! цветами
Друзей твоих венчай,
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,

И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. Но вы толпами
При месячных лучах
Сберитесь и цветами
Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы
С листами повилик;
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливцев молодых!

Вторая половина 1811 — первая половина 1812



ПОСЛАНИЕ Г⟨РАФУ⟩ В⟨ЕЛЕУРСКО⟩МУ

О ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Воспомни, милый граф, счастливы времена,
Когда нас, юношей, увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламе́нт и новые законы
    В глазах прелестницы читать!
Заря весны моей! тебя как не бывало!
Но сердце в той стране с любовью отдыхало,
Где я узнал тебя, мой нежный трубадур!
Обетованный край! где ветреный Амур
Прелестным личиком любезный пол дарует,
Под дымкой на груди лилеи образует
(Какими б и у нас гордилась красота!),
Вливает томный огнь и в очи и в уста,
А в сердце юное любви прямое чувство.
Счастливые места, где нравиться искусство
        Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вкруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
«Люблю, люблю тебя!»— пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!

О мой любезный друг! отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
        С любовью и войной!
        Или, волшебник мой,

Одушеви мое музы́кой песнопенье;
Вдохни огонь любви в холодные слова,
Еще отдай стихам потерянны права
И камни приводить в движенье,
И горы, и леса!
Тогда я с сильфами взлечу на небеса
И тихо, как призра́к, как луч от неба ясный,
Спущусь на берега пологие Двины
С твоей гитарой сладкогласной:
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь... и нимфы гор при месячном сиянье,
Как тени легкие, в прозрачном одеянье,
С сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками,
И майский ветерок, проснувшись на цветах,
В прохладных рощах и садах,
Повеет тихими крылами;
С очей прелестных дев он свеет тонкий сон,
Отгонит легки сновиденья
И тихим шепотом им скажет: «Это он!
Вы слышите его знакомы песнопенья!»

Конец декабря 1809



ПОСЛАНИЕ К Т⟨УРГЕНЕ⟩ВУ

О ты, который средь обедов,
Среди веселий и забав
Сберег для дружбы кроткий нрав,
Для дел — характер честный дедов!
О ты, который при дворе,

В чаду успехов или счастья,
Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье!
О ты, который с похорон
На свадьбы часто поспеваешь,
Но, бедного услыша стон,
    Ушей не затыкаешь!
Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моленье,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
Лишь «Дайте им!» промолви — вмиг
Оне очутятся с сергами.
Но кто *оне*? — Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
    Оне — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.
Жил некто в мире сем Попов,
    Царя усердный воин.
Был беден. Умер. От долгов
    Он, следственно, спокоен.
Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком; и одну
Суму оставил им в наследство...
Но здесь не все для бедных бедство!
Им добры люди помогли,
    Согрели, накормили
    И, словом, как могли,
    Сироток приютили.
Прекрасно! славно! — спору нет!
        Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед.
Враги нахлынули рекою,
С землей сравнялася Москва...
    И бедная вдова
    Опять пошла с клюкою...
А между тем всё дочь растет,
И нужды с нею подрастают.
День за день все идет, идет,
Недели, месяцы мелькают;
Старушка клонится, а дочь

Пышнее розы расцветает,
И стала... Грация точь-в-точь!
Прелестный взор, глаза большие,
Румянец Флоры на щеках,
И кудри льняно-золотые
На алебастровых плечах.
Что слово молвит — то приятство,
Что ни наденет — все к лицу!
Краса (увы!) ее богатство
И всё приданое к венцу,
А крохи нет насущной хлеба!
Т⟨ургенев⟩, друг наш! ради неба —
Приди на помощь красоте,
Несчастию и нищете!
Они пред образом, конечно,
Затеплят чистую свечу,
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечной!

14 октября 1816



ОТВЕТ Г⟨НЕДИ⟩ЧУ

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает;
Он отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.
Увы, мой друг! я в дни младые
Цирцеям также отслужил,
В карманы заглянул пустые,
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай, кто честолюбьем болен,

Бросает с Марсом огнь и гром;
Но я — безвестностью доволен
В *Сабинском* домике моем!
Там глиняны свои пенаты
Под сенью дружней съединим,
Поставим брашны небогаты,
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой! —
Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

Между концом июля 1809 и февралем 1810



К Ж⟨УКОВСКО⟩МУ

Прости, балладник мой,
Белёва мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидает,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя

Веселых пастухов
И жителей пустынных,—
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!
О! пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог —
Весь Амальтеи рог,
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник парки бледной,
Попов слуга усердный,
Чуме и смерти брат,
Поклявшися латынью
И практикой своей,
Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти запоит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Всё в жизни изменило,
Что сердцу сладко льстило,
Всё, всё прошло, как сон:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,

Спина дугой к земле,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы! мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера с улыбкой злою
Мне молвила она
(Как древле Громобою
Коварный Сатана):
«Усопший! мир с тобою!
Усопший! мир с тобою!» —
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов;
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он. на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают
С ночи до бела дня;
Читают и читают,
И до смерти меня
Убийцы зачитают!

Июнь 1812



ОТВЕТ Т⟨УРГЕНЕ⟩ВУ

Ты прав! Поэт не лжец,
Красавиц воспевая.
Но часто наш певец,
В восторге утопая,
Рассудка строгий глас
Забудет для Армиды,
Для двух коварных глаз;
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И мир смешит собой!
Для света равнодушен,
Для славы и честей,
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Везде с своей мечтою,
В столице и в полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит;
Одно твердит, поет:
Любовь, любовь зовет...
И рифмы лишь находит!
Так! верно, Аполлон
Давно с любовью в ссоре,
И мститель Купидон

Судил поэтам горе.
Все нимфы строги к нам
За наши псалмопенья,
Как Дафна к богу пенья;
Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,
Где счастья роз искали,
Цветущих не для нас.
Взгляните на Парнас:
Любовник строгой Лоры
Там в горести погас;
Скалы и дики горы
Его лишь знали глас
На берегах Воклюзы.
Там Душеньки певец,
Любимец нежный музы
И пламенных сердец,
Любил, вздыхал всечасно,
Везде искал мечты,
Но лирой сладкогласной
Не тронул красоты.
Лесбосская певица,
Прекрасная в женáх,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила в волнах...
И я — клянусь глазами,
Которые стихами
Мы взапуски поем,
Клянуся Хлоей в том,
Что русские поэты
Давно б на берег Леты
Толпами перешли,
Когда б скалу Левкада
В болота Петрограда
Судьбы перенесли!

⟨Первая половина 1812⟩

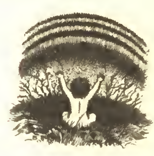


К П⟨ЕТИ⟩НУ

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь?
«Не люблю такой забавы», —
Молвил я, — и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне;
Я же — всюду бесполезный,
И в любви и на войне,
Время жизни в скуке трачу
(За крилатый счастья миг!) —
Ночь зеваю... утром плачу
Об утрате снов моих.
Тщетны слезы! Мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок Любовь слепая

Правит детскою рукой;
Между тем как Лень, зевая,
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом?
Ах, почто же мне заране,
Друг любезный, унывать? —
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастлив! счастлив, кто цветами
Дни любови украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастии... мечтал!
Счастлив он, и втрое боле,
Всех вельможей и царей!
Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!»

Первая половина 1810



ПОСЛАНИЕ И. М. М⟨УРАВЬЕВУ⟩-А⟨ПОСТОЛУ⟩

Ты прав, любимец муз! От первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченье дней своих не изменит!
Кто б ни был: пламенный оратор иль пиит,

Светильник мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества немого подражатель,
Наперсник муз,— познал от колыбельных дней,
Что должен быть жрецом парнасских алтарей.
Младенец счастливый, уже любимец Феба,
Он с жадностью взирал на свет лазурный неба,
На зелень, на цветы, на зыбку сень древес,
На воды быстрые и полный мрака лес.
Он, к лону матери приникнув, улыбался,
Когда веселый май цветами убирался
И жавронок вился над зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,
Весь свод лазоревый подернет облистаньем —
Ее приветствовал невнятным лепетаньем,
Ее манил к себе младенческой рукой.
Что видел в юности, пред хижиной родной,
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,
Того в душе своей до поздних дней хранитель
Желает в песнях муз потомству передать.
Мы видим первых чувств волшебную печать
В твореньях гения, испытанных веками:
Из мест, где Мантуа красуется лугами,
И Минций в камышах недвижимый стоит,
От милых лар своих отторженный пиит,
В чертоги Августа судьбой перенесенный,
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,
О древней хижине, где юность провождал
И Титира свирель потомству передал.
Но там ли, где всегда роскошная природа
И раскаленный Феб с безоблачного свода
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область пиерид?
Нет! нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебных вой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид —
Всё, всё возносит ум, все сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей

 3*

В трудах воспитанный, уже от юных дней
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенный
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум...
Лицо горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась.
Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры
И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»
В Пальмире Севера, в жилище шумной славы,
Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.
На тучны пажити проволжских берегов
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,
Водил нас по следам своей счастливой музы,
Столь чистой, как струи царицы светлых вод,
На коих в первый раз зрел солнечный восход
Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..
Так, свыше нежною душею одаренный,
Пиит, от юности до сребряных власов,
Лелеет в памяти страну своих отцов.
На жизненном пути ему дарует гений
Неиссякаемый источник наслаждений
В замену счастия и скудных мира благ:
С ним муза тайная живет во всех местах
И в мире дивный мир любимцу созидает.
Пускай свирепый рок по воле им играет:

Пускай, незнаемый, без злата и честей,
С главой поникшею он бродит меж людей;
Пускай, фортуною от детства удостоен,
Он будет судия, министр иль в поле воин,—
Но музам и себе нигде не изменит.
В самом молчании он будет всё пиит.
В самом бездействии он с деятельным духом,
Всё сильно чувствует, всё ловит взором, слухом,
Всем наслаждается, и всюду, наконец,
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.

Между июлем 1814 и 24 мая 1815

4 – 2

СМЕСЬ

ХОР ДЛЯ ВЫПУСКА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Один голос

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный.

Хор

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!

Подруги! сердце в первый раз
Здесь чувства сладкие познало;
Здесь дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало...
Так! сердце наше в первый раз
Здесь чувства сладкие познало.

Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья:
К тебе летят сердца усердные детей
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал
Сие жилище безмятежно:
Он сам в глазах детей признательность читал
К его родительнице нежной.

Монарх великий посещал
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердный глас детей
Прими, о боже, покровитель!
Источник новый благ и радости пролей
На мирную сию обитель.
И ты, о боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель!

Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало;
Под сенью алтарей, тобой хранимый цвет,
Здесь юность наша расцветала.
Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало.

Финал

Прости же ты, священный кров,
Обитель юности беспечной,
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный!
Где сердце в жизни в первый раз
От чувств веселья трепетало
И дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало!

Январь — февраль 1812



ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает.

О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник, и пеший... владыка, и ты!..
А дева русская Гаральда презирает.

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окрыляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду...
А дева русская Гаральда презирает.

Я в мирных родился полно́чи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи — и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

Между февралем и 17 июля 1816

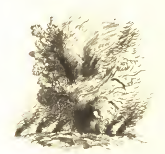


ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.

Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград,—
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг — она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!

⟨1815⟩



СОН ВОИНОВ

Из поэмы «Аснель и Аслега»
Битва кончилась: ратники пируют вокруг зажженных дубов...

...Но вскоре пламень потухает,
И гаснет пепел черных пней,
И томный сон отягощает
Лежащих воев средь полей.

Сомкнулись очи; но призра́ки
Тревожат краткий их покой:
Иный лесов проходит мраки,
Зверей голодных слышит вой;
Иный на лодке легкой реет
Среди кипящих в море волн;
Веслом десница не владеет,
И гибнет в бездне бренный челн;
Иный места узрел знакомы,
Места отчизны, милый край!
Уж слышит псов домашних лай
И зрит отцов поля и домы
И нежных чад своих... Мечты!
Проснулся в бездне темноты!
Иный чудовище сражает —
Бесплодно меч его сверкает;
Махнул еще, его рука,
Подъята вверх... окостенела;
Бежать хотел — его нога
Дрожит, недвижима, замлела;
Встает — и пал! Иный плывет
Поверх прозрачных тихих вод
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,
Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет;
Несчастный борется с рекой,
Воззвать к дружине верной хочет, —
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня, упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой;
Несчастный раны зажимает
Холодной трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет
И ран, и вражьего копья.
Но ветр шумит и в роще свищет;

И волны мутного ручья
Подошвы скал угрюмых роют,
Клубятся, пенятся и воют
Средь дебрей снежных и холмов...

Между 1808 и февралем 1811



РАЗЛУКА

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал:

«Не плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами,
Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне;
Булат в руке, а в сердце Лила, —
Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами
Клянусь, наказан быть!

Тогда мой верный конь спотknися,
Летя во вражий стан стрелой,
Уздечка бранная порвися
И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха
Изломится, как прут гнилой,
И я, бледнея весь от страха,
Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался
Под нашим всадником лихим;
Булат в боях не изломался,—
И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Но что же сделала пастушка?
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам — игрушка,
А клятвы их — слова!

Всё здесь, друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

⟨Между сентябрем 1812 и январем 1813⟩



ЛОЖНЫЙ СТРАХ

Подражание Парни

Помнишь ли, мой друг бесценный!
Как с амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?

Помнишь ли, о друг мой нежный!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! — ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась; я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за всё ручался,
И амуры на часах.
Всё в безмолвии глубоком,
Всё почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слезы,
Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном —
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день, —
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо:
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единой,
Вакху час и сну другой.
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

⟨1810⟩



СОН МОГОЛЬЦА

Баснь

Могольцу снилися жилища Елисейски:
Визирь блаженный в них
За добрые дела житейски,
В числе угодников святых,
Покойно спал на лоне гурий.
Но сонный видит ад,
Где, пламенем объят,
Терзаемый бичами фурий,
Пустынник испускал ужасный вопль и стон.
Моголец в ужасе проснулся,
Не ведая, что значит сон.
Он думал, что пророк в сих мертвых обманулся
Иль тайну для него скрывал;
Тотчас гадателя призвал,
И тот ему в ответ: «Я не дивлюсь нимало,
Что в снах есть разум, цель и склад.
Нам небо и в мечтах премудрость завещало...
Сей праведник, визирь, оставя двор и град,
Жил честно и всегда любил уединенье, —
Пустынник на поклон таскался к визирям».

С гадателем сказав, что значит сновиденье,
Внушил бы я любовь к деревне и полям.
Обитель мирная! в тебе успокоенье
И все дары небес даются щедро нам.

Уединение, источник благ и счастья!
Места любимые! ужели никогда

Не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?
Блаженству моему настанет ли чреда?
Ах! кто остановит меня под мрачной тенью?
Когда перенесусь в священные леса?
О музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарованье,
Пускай пленит меня источников журчанье.
И я любовь и мир пустынный воспою!
Пусть парка не прядет из злата жизнь мою
И я не буду спать под бархатным наметом:
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он,
Зимой — близ огонька, в тени древесной — летом?
Без страха двери сам для парки отопру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.

⟨1808⟩



ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ

Месяц плавал над рекою,
Всё спокойно! Ветерок
Вдруг повеял, и волною
Принесло ко мне челнок.

Мальчик в нем сидел прекрасный;
Тяжким правил он веслом.
«Ах, малютка мой несчастный!
Ты потонешь с челноком!»

«Добрый путник, дай помóгу;
Я не справлю, сидя в нем.
На — весло! и понемногу
Мы к ночлегу доплывем».

Жалко мне малютки стало;
Сел в челнок — и за весло!
Парус ветром надувало,
Нас стрелою понесло.

И вдоль берега помчались,
По теченью быстрых вод;
А на берег собирались
Стаей нимфы в хоровод.

Резвые смеялись, пели
И цветы кидали в нас;
Мы неслись, стрелой летели...
О беда! О страшный час!..

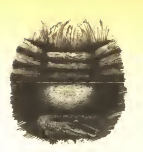
Я заслушался, забылся,
Ветер с моря заревел —
Мой челнок о мель разбился,
А малютка... улетел!

Кое-как на голый камень
Вышел, с горем пополам;
Я обмок — а в сердце пламень:
Из беды опять к бедам!

Всюду нимф ищу прекрасных,
Всюду в горести брожу,
Лишь в мечтаньях сладострастных
Тени милых нахожу.

Добрый путник! в час погоды
Не садися ты в челнок!
Знать, сии опасны воды;
Знать, малютка... страшный бог!

⟨1810⟩



СЧАСТЛИВЕЦ

Подражание Касти

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней сребряной браздой!

Их копыта бьют о камень;
Искры сыплются струей;
Пышет дым, и черный пламень
Излетает из ноздрей!

Резьбой дивною и златом
Колесница вся горит.
На ковре ее богатом
Кто ж, Лизета, кто сидит?

Временщик, вельмож любимец,
Что на откуп город взял...
Ах! давно ли он у крылец
Пыль смиренно обметал?

Вот он с нами поравнялся
И едва кивнул главой;
Вот уж молнией промчался,
Пыль оставя за собой!

Добрый путь! Пока лелеет
В колыбели счастье вас!
Поздно ль? рано ль? но приспеет
И невзгоды страшный час.

Ах, Лизета! льзя ль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему счастливым зваться
С развращенною душой!

Там, где хитростью искусства
Розы в зиму расцвели;
Там, где всё пленяет чувства —
Дань морей и дань земли:

Мрамор дивный из Пароса
И кораллы на стенах;
Там, где в роскоши Пафоса
На узорчатых коврах

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет, —
Там же слезы сей счастливец
От людей украдкой льет.

Бледен, ночью Крез несчастный
Шепчет тихо, чтоб жена
Не вняла сей глас ужасный:
«Мне погибель суждена!»

Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Душ великих сладострастье,
Совесть! зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье,
Гибель — злато и венец!

⟨1810⟩



РАДОСТЬ

Подражание Касти

Любимца Кипридина
И миртом и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!
Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте!
Мне лиру тиискую
Камены и грации
Вручили с улыбкою:
И песни веселию,
Приятнее не́ктара
И слаще амврозии,
Что пьют небожители,
В блаженстве беспечные,
Польются со струн ее!
Сегодня — день радости:
Филлида суровая
Сквозь слезы стыдливости
«Люблю!» мне промолвила.
Как роза, кропимая
В час утра Авророю,
С главой, отягченною
Бесценными каплями,
Румяней становится, —
Так ты, о прекрасная!

С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснея, промолвила
«Люблю!» тихим шепотом.
Всё мне улыбнулося;
Тоска и мучения
И страхи и горести
Исчезли — как не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Меж бисерных облаков
Цитерскими птицами
К Цитере иль Пафосу,
Цветами осыпала
Меня и красавицу.
Всё мне улыбнулося! —
И солнце весеннее,
И рощи кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы парнасские!
Любимца Кипридина,
В любви победителя,
И миртом и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!

⟨Около 1810⟩



К НИКИТЕ

Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой!
Узреть с нагорныя вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гул далекий
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокий.
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперед! сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи свинец!
Летайте ядры и картечи!

Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
Колонны сдвинулись, как лес.
И вот... о зрелище прекрасно!
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! — и всё сломили,
Рассеяли и разгромили:
Ура! Ура! — и где же враг?..
Бежит, а мы в его домах —
О радость храбрых! — киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
«Хвалите господа» поем!..

Но ты трепещешь, юный воин,
Склонясь на сабли рукоять:
Твой дух встревожен, беспокоен;
Он рвется лавры пожинать:
С Суворовым он вечно бродит
В полях кровавыя войны
И в вялом мире не находит
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся: с первыми громами
К знаменам славы полетишь;
Но там, о горе, не узришь
Меня, как прежде, под шатрами!
Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылый,
Не оживляемый хвалой.

Июнь или начало июля 1817



ЭПИГРАММЫ, НАДПИСИ И ПРОЧЕЕ

I

Всегдашний гость, мучитель мой
О Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней или — дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один и нас не двое.

⟨Между 1809 и 1812⟩

II

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

Июль или август 1809

III

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку;
Веселостью обязан он желудку.
А памяти — умом.

⟨1815⟩

IV

СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великой —
Ее не называй.

⟨1810⟩

V

МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты — Сафо, я — Фаон, — об этом и не спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Июль или август 1809

VI

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Н. Н.

И телом и душой ты на Амура схожа:
Коварна и умна и столько же пригожа.

⟨1811⟩

VII

К ЦВЕТАМ НАШЕГО ГОРАЦИЯ

Ни вьюги, ни морозы
Цветов твоих не истребят.
Бог лиры, бог любви и музы мне твердят:
В саду Горация не увядают розы.

⟨1816⟩

VIII

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы пред падшею столицей
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;
    В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницей.

Начало 1817

IX

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА ЭММАНУИЛА СЕН-ПРИ

От родины его отторгнула судьбина;
Но лилиям отцов он всюду верен был:
    И в нашем стане воскресил
Баярда древний дух и доблесть Дюгесклина.

Декабрь 1815

X

НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
    Минуты радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастие сулила;
Но что ж досталось мне в сих радостных местах? —
        Могила!

⟨1810⟩

XI

МАДРИГАЛ МЕЛИНЕ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА СЕБЯ НИМФОЮ

Ты нимфа, Ио, нет сомненья!
Но только... после превращенья!

Июль или август 1809

XII

НА КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ «СМЕСЬ»

По чести, это *смесь:*
Тут проза и стихи, и авторская спесь.

⟨1817⟩



СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕД

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Всё видел, всё узнал — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!
О страннике таком скажу я повесть вам.

Два брата, Филалет и Клит, смиренно жили
В предместии Афин под кровлею одной;
В довольстве? — не скажу, но с бодрою душой
Встречали день и ночь спокойно проводили,
Затем что по трудам всегда приятен сон.
Вдруг умер дядя их, афинский Гарпагон,
И братья-бедняки — о радость! — получили

Не помню сколько мин монеты золотой
Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отделки мастерской.
Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры:
«Как думаешь своей казной расположить? —
Клит спрашивал у брата, —
А я так дом хочу купить
И в нем тихохонько с женою век прожить
Под сенью отчего пената.
Землицы уголок не будет лишний нам:
От детства я люблю ходить за виноградом,
Водиться знаю с стадом
И детям я мой плуг в наследство передам;
А ты как думаешь?» — «О! я с тобой несходен;
Я пресмыкаться не способен
В толпе граждан простых,
И с помощью наследства
Для дальних замыслов моих,
Благодаря богам, теперь имею средства!»
— «Чего же хочешь ты?» — «Я?.. славен быть хочу». —
«Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,
И красноречьем, и стихами,
И мало ль чем еще? Я в Мемфис полечу
Делиться мудростью с жрецами:
Зачем сей создан мир? Кто правит им и как?
Где кончится земля? Где гордый Нил родится?
Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,
Зачем горящий Феб всё к западу стремится?
Какое счастье, милый брат!
Я буду в мудрости соперник Пифагора!
В Афинах обо мне тогда заговорят.
В Афинах? — что сказал! — от Нила до Босфора
Прославится твой брат, твой верный Филалет!
Какое счастье! десять лет
Я стану есть траву и нем, как рыба, буду;
Но красноречья дар, конечно, не забуду.
Ты знаешь, я всегда красноречив бывал
И площадь нашу посещал
Недаром.
Не стану я моим превозноситься даром.
Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,
Или надутый Демосфен,

Кичася в пурпуре пред царскими послами.
Нет! нет! я каждого полезными речами
На площади градской намерен просвещать.
Ты сам, оставя плуг, придешь меня внимать.
С народом шумные восторги разделяя,
И, слезы радости под мантией скрывая,
Красноречивейшим из греков называть,
Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
Когда... поверишь ли? Гликерия сама
На площади с толпою
Меня провозгласит оракулом ума,
Ума и, может быть, любезности... Конечно,
Любезностью сердечной
Я буду нравиться и в сорок лет еще.
Тогда афиняне забудут Демосфена
И Кратеса в плаще,
И бочку шу́та Диогена,
Которую, смотри... он катит мимо нас!» —
«Прощай же, братец, в добрый час!
Счастливого пути к премудрости желаю, —
Клит молвил краснобаю. —
Я вижу, нам тебя ничем не удержать!»
Вздохнул, пожал плечьми и к городу опять
Пошел — домашний быт и домик снаряжать.
А Филалет? — К Пирею,
Чтоб судно тирское застать
И в Мемфис полететь с румяною зарею.
Признаться, он вздохнул, начавши одиссею...
Но кто не пожалел об отческой земле,
Надолго расставаясь с нею?
Семь дней на корабле,
Зевая,
Проказник наш сидел
И на море глядел,
От скуки сам с собою вполголос рассуждая:
«Да где ж тритоны все? Где стаи нереид?
Где скрылися они с толпой океанид?
Я ни одной не вижу в море!»
И не увидел их. Но ветер свежий вскоре
В Египет странника принес;
Уже он в Мемфисе, в обители чудес;

Уже в святилище премудрости вступает,
Как мумия, сидит среди бород седых
И десять дней зевает
За поученьем их
О жертвах каменной Изиде,
Об Аписе-быке иль грозном Озириде,
О псах Анубиса, о чесноке святом,
Усердно славимом на Ниле,
О кровожадном крокодиле
И... о коте большом!..
«Какие глупости! какое заблужденье!
Клянуся Пóллуксом! нет слушать боле сил!»—
Грек молвил, потеряв и важность и терпенье,
С скамьи как бешеный вскочил
И псу священному — о, ужас! — наступил
На божескую лапу...
Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,
От крокодилов, псов и луковиц священных,
И между греков просвещенных,
Любезной мудрости искать.
На первом корабле он полетел в Кротону.
В Кротоне бьет челом смиренно Агатону,
Мудрейшему из мудрецов,
Жестокому врагу и мяса и бобов
(Их в гневе Пифагор, его учитель славный,
Проклятьем страшным поразил,
Затем что у него желудок неисправный
Бобов и мяса не варил).
«Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел учиться?—
У грека старец вопросил
С усмешкой хитрою.— Итак, прошу садиться
И слушать пенье сфер: ты слышишь?»—«Ничего!»—
«А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в эфире?»—
«И менее того!»—
«Увидишь, попостись ты года три, четыре,
Да лет с десяток помолчи;
Тогда, мой сын, тогда обнимешь бренным взором
Все тайной мудрости лучи;
Обнимешь, я тебе клянуся Пифагором...»—
«Согласен, так и быть!»

Но греку шутка ли и день не говорить?
А десять лет молчать, молчать да всё поститься —
Зачем? чтоб мудрецом,
С морщинным от поста и мудрости челом,
В Афины возвратиться?
О нет!
Чрез сутки возопил голодный Филалет:
«Юпитер дал мне ум с рассудком
Не для того, чтоб я ходил с пустым желудком;
Я мудрости такой покорнейший слуга;
Прощайте ж навсегда Кротонски берега!»
Сказал и к Этне путь направил;
За делом! чтоб на ней узнать, зачем и как
Изношенный башмак
Философ Эмпедокл пред смертью там оставил?
Узнал — и с вестью сей
Он в Грецию скорей
С усталой от забот и праздности душою.
Повсюду гость среди людей,
Везде за трапезой чужою,
Наш странник обходил
Поля, селения и грады,
Но счастия не находил
Под небом счастливым Эллады.
Спеша из края в край, он игры посещал,
Забавы, зрелища, ристанья,
И даже прорицанья
Без веры вопрошал;
Но хижину отцов нередко вспоминал,
В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
Как червем, тайною снедаемый тоскою.
Притом же кошелек
У грека стал легок;
А ночью, как он шел через Лаконски горы,
Отбили у него
И остальное воры.
Счастлив еще, что жизнь не отняли его!
«Но жизнь без денег что? — мученье нестерпимо!» —
Так думал Филалет,
Тащась полунагой в степи необозримой.
Три раза солнца свет
Сменялся мраком ночи,
Но странника не зрели очи

Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь
Да гор вдали туманной цепь,
Илотов и воров ужасные жилища.
Что делать в горе! что начать!
Придется умирать
В пустыне, одному, без помощи, без пищи.
«Нет, боги, нет! —
Терзая грудь, вопил несчастный Филалет, —
Я знаю, как покинуть свет!
Не стану голодом томиться!»
И меж кустов реку завидя вдалеке,
Он бросился к реке —
Топиться!
«Что, что ты делаешь, слепец?» —
Несчастному вскричал скептический мудрец,
Памфил седобородый,
Который над водой, любуяся природой,
Один с клюкой тихонько брел
И, к счастью, странника нашел
На крае гибельной напасти.
«Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва
Поведай мне, твоя спокойна ль голова?
Рассудок ли тебя влечет в реку иль страсти?
Рассудок: но его что нам вещает глас?
Что жизнь и смерть равны для нас.
Равны — так незачем топиться.
Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться
У старца, чем мудрец здесь может быть счастлив».
Кто жить советует — всегда красноречив:
И наш герой остался жив.
В расселинах скалы, висящей над водою,
В тени приветливой смоковниц и олив,
Построен был шалаш Памфиловой рукою,
Где старец десять лет
Провел в молчании глубоком
И в вечность проницал своим орлиным оком,
Забыв людей и свет.
Вот там-то ужин иль обед
Простой, но очень здравый,
Находит Филалет:
Орехи, желуди и травы,
Большой сосуд воды — и только. Боже мой!

Как сладостно искать для трапезы такой
В утехах мудрости приправы!
Итак, в том дива нет, что с путником Памфил
Об атараксии[1] тотчас заговорил.
«Всё призрак! — под конец хозяин заключил, —
Богатство, честь и власти,
Болезнь и нищета, несчастия и страсти,
И я, и ты, и целый свет, —
Всё призрак!» — «Сновиденье!» —
Со вздохом повторял унылый Филалет;
Но, глядя на сухой обед,
Вскричал: «Я голоден!» — «И это заблужденье,
Всё грубых чувств обман; не сомневайся в том».
Неделю попостясь с брадатым мудрецом,
Наш *призрак*-Филалет решился из пустыни
Отправиться в Афины.
Пора, пора блеснуть на площади умом!
Пора с философом расстаться,
Который нас недаром научил,
Как жить и в жизни сомневаться.
Услужливый Памфил
Монет с десяток сам бродяге предложил,
Котомкой с желудьми сушеными ссудил
И в час румяного рассвета
Сам вывел по тропам излучистым Тайгета
На путь афинский Филалета.
Вот странник наш идет и день и ночь один;
Проходит Арголиду,
Коринф и Мегариду;
Вот — Аттика, и вот — дым сладостный Афин,
Керамик с рощами... предместия начало...
Там... воды Иллиса!.. В нем сердце задрожало:
Он грек, то мудрено ль, что родину любил,
Что землю целовал с горячими слезами,
В восторге, вне себя, с деревьями, с домами
Заговорил!..
Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,

[1] Душевное спокойствие (все подстрочные примечания, кроме переводов иноязычных слов, принадлежат К. Н. Батюшкову).

Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!
Я сам... Но дело всё теперь о Филалете,
Который, опершись на кафедру, стоит
И ждет опять денницы
На милой площади аттической столицы.
Заметьте, милые друзья,
Что греки снаряжать тогда войну хотели,
С каким царем, не помню я,
Но знаю только то, что риторы гремели,
Предвестники народных бед.
Так речью их сразить желая, Филалет
Всех раньше на помост погибельный взмостился.
И вот блеснул Авроры свет,
А с ним и шум дневной родился.
Народ зашевелился.
В Афинах, как везде, час утра — час сует.
На площадь побежал ремесленник, поэт,
Поденщик, говорун, с товарами купчина,
Софист, архонт и Фрина
С толпой невольниц и сирен,
И бочку прикатил насмешник Диоген;
На площадь всяк идет для дела и без дела;
Нахлынули,— вся площадь закипела.
Вы помните, бульвар кипел в Париже так
Народа праздными толпами,
Когда по нем летал с нагайкою козак
Иль северный Амур с колчаном и стрелами.
Так точно весь народ толпился и жужжал
Перед ораторским амвоном.
Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал.
И ритор возвестил высокопарным тоном,
Что Аттике война
Погибельна, вредна;
Потом велеречиво, ясно
По пальцам доказал, что в мире быть... опасно.
«Что ж делать?»— закричал с досадою народ.
«Что делать?..— сомневаться.
Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.
Я вам советую, граждáне, колебаться —
И не мириться и не драться!..»
Народ всегда нетерпелив.

Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,
Шушуканье, а там поближе громкий хохот,
А там... Но он стоит уже ни мертв ни жив,
Разинув рот, потупив взгляды,
Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.
Еще проходит миг —
«Ну что же? *продолжай!*»— Оратор всё ни слова:
От страха — где язык!
Зато какой в толпе поднялся страшный крик!
Какая туча там готова!
На кафедру летит град яблоков и фиг,
И камни уж свистят над жертвой...
И жалкий Филалет, избитый, полумертвый,
С ступени на ступень в отчаянье летит
И падает без чувств под верную защиту
В объятия отверсты... к Клиту!
Итак, тщеславного спасает бедный Клит,
Простяк, неграмотный, презренный,
В Афинах дни влачить без славы осужденный!
Он, он, прижав его к груди,
Нахальных крикунов толкает на пути,
Одним грозит, у тех пощады просит
И брата своего, как старика Эней,
К порогу хижины своей
На раменах доносит.
Как брата в хижине лелеет добрый Клит!
Не сводит глаз с него, с ним сладко говорит
С простым, но сильным чувством.
Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!
В три дни страдалец наш оправился и встал
И брату кинулся на шею со слезами;
А брат гостей назвал
И жертву воскурил пред отчими богами.
Весь домик в суетах! Жена и рой детей
Веселых, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих,
На пиршество несут для радостных гостей
Простой, но щедрый дар наследственных полей,
Румяное вино, янтарный мед Гимета,—
И чаша поднялась за здравье Филалета!
«Пей, ешь и веселись, нежданный сердца гость!»—
Все гости заодно с хозяином вскричали.

И что же? Филалет, забыв народа злость,
Беды, проказы и печали,
За чашей круговой опять заговорил
В восторге о тебе, великолепный Нил!
А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть всё одно и то же поле,
Всё те же лица всякий день,
Наш грек,— поверите ль?— как в клетке стосковался.
Он начал по лесам прогуливать уж лень,
На горы ближние взбирался,
Бродил всю ночь, весь день шатался;
Потом Афины стал тихонько посещать,
На милой площади опять
Зевать,
С софистами о том, об этом толковать;
Потом... проведав он от старых грамотеев,
Что в мире есть страна,
Где вечно царствует весна,
За розами побрел — в снега гипербореев.
Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:
«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве немило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»

Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

Между июлем 1814 и 10 января 1815



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕЙН

1814

Меж тем как воины вдоль идут по полям,
Завидя вдалеке твои, о Реин, волны,
Мой конь, веселья полный,
От строя отделясь, стремится к берегам,
На крыльях жажды прилетает,
Глотает хладную струю
И грудь, усталую в бою,
Желанной влагой обновляет...

О радость! я стою при Реинских водах!
И, жадные с холмов в окрестность брося взоры,
Приветствую поля и горы,
И замки рыцарей в туманных облаках,
И всю страну, обильну славой,
Воспоминаньем древних дней,
Где с Альпов вечною струей
Ты льешься, Реин величавый!

Свидетель древности, событий всех времен,
О Реин, ты поил несчетны легионы,
Мечом писавшие законы
Для гордых Германа кочующих племен;
Любимец счастья, бич свободы,
Здесь Кесарь бился, побеждал,
И конь его переплывал
Твои священны, Реин, воды.

Века мелькнули: мир крестом преображен,
Любовь и честь в душах суровых пробудились.
Здесь витязи вооружились
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен;
Тут совершались их турниры,
Тут бились храбрые — и здесь
Не умер, мнится, и поднесь
Звук сладкой трубадуров лиры.

Так, здесь под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,
В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще средь избранных сынов.
Здесь все питает вдохновенье:
Простые нравы праотцов,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.

Всё, всё — и вид полей, и вид священных вод,
Туманной древности и бардам современных,
Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую, и крылья придает.
Свободны, горды, полудики,
Природы верные жрецы,
Тевтонски пели здесь певцы...
И смолкли их волшебны лики.

Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,
Ты сам, до наших дней спокойный, величавый,
С падением народной славы,
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...
Давно ли брег твой под орлами
Аттилы нового стенал
И ты уныло протекал
Между враждебными полками?

Давно ли земледел вдоль красных берегов,
Средь виноградников заветных и священных,
Полки встречал иноплеменных
И ненавистный взор зареинских сынов?
Давно ль они, кичася, пили
Вино из синих хрусталей
И кони их среди полей
И зрелых нив твоих бродили?

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..

Стеклись, нагрянули за честь своих граждан
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян,
Где ангел мирный, светозарный
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной.

Мы здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
«Ура» победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят
И вот — коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами.
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжелой конницы строи
И легких всадников рои —
В текучей влаге отраженны!

Там слышен стук секир — и пал угрюмый лес!
Костры над Реином дымятся и пылают!
И чащи радости сверкают,
И клики воинов восходят до небес!
Там ратник ратника объемлет;
Там точит пеший штык стальной;
И конный грозною рукой
Крылатый дротик свой колеблет.

Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на береге высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...

Но там готовится по манию вождей,
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев,
И богу сильных Маккавеев
Коленопреклонен служитель алтарей:
Его, шумя, приосеняет
Знамен отчизны грозный лес;
И солнце юное с небес
Алтарь сияньем осыпает.

Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке вышней силы,
Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.

И се подвигнулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется всё войско;
И эхо вторит крик геройской,
Досель неслыханный, о Реин, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимный,
И мост под воями дрожит!
И враг, зазидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

1816 — февраль 1817



УМИРАЮЩИЙ ТАСС

Элегия

...E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!

Che piú spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all'alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

«Torrismondo», tragedia di T. Tasso[1]

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?

[1] ...Подобно горному, быстрому потоку, подобно зарнице, вспыхнувшей в ясных ночных небесах, подобно ветерку или дыму или подобно стремительной стреле, проносится наша слава; всякая почесть похожа на хрупкий цветок! На что надеешься, чего ждешь ты сегодня? После триумфа и пальмовых ветвей одно только осталось душе — печаль и жалобы и слезные пени. Что мне в дружбе, что мне в любви? О слезы! О горе! *«Торрисмондо», трагедия Т. Тассо. (ит.).— Ред.*

Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима?
Кому триумф? — Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар... певец Ерусалима!
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато,
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатый.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды —
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнию прощаясь, восклицает:

«Друзья, о, дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище!
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенны, —
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!

Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?

Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Сорренто! Колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний,—
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...

Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара... фурии... и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!
Вот слезы их и сладки лобызанья...
И в Капитолии — Вергилиев венец!
Так, я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;

Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей.
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель.
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил.
Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель...

И Тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцов, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел — и вы не будете забвенны, —
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою муз и славы соплетенный.
Но поздно! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»

Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У парки взять триумфа день единый,
Он взором всё искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите, — он сказал рыдающим друзьям, —
Как царь светил на западе пылает!

Он, он зовет меня к безоблачным странам,
    Где вечное светило засияет...
Уж ангел предо мной, вожатай оных мест;
    Он осенил меня лазурными крылами...
Приближьте знак любви, сей таинственный крест...
    Молитеся с надеждой и слезами...
Земное гибнет всё... и слава и венец...
    Искусств и муз творенья величавы,
Но там всё вечное, как вечен сам творец,
    Податель нам венца небренной славы!
Там всё великое, чем дух питался мой,
    Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
    Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
    Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о счастие!.. средь непорочных жен,
    Средь ангелов, Элеонора встретит!»

И с именем любви божественный погас;
    Друзья над ним в безмолвии рыдали,
День тихо догорал... и колокола глас
    Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! — воскликнул с плачем Рим, —
    Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым;
    И трауром покрылся Капитолий.

Февраль — май 1817

ПРИМЕЧАНИЕ К ЭЛЕГИИ «УМИРАЮЩИЙ ТАСС»

Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности: мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой Элегии.

Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому: («magnanimo Alfonso!..»[1]); и великодушный покровитель без вины, без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 году. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели сожалением; он пережил себя; не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его, напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший, и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменило. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков; одним словом, все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии: «Я вам предлагаю венок лавровый,— сказал ему папа,— не он прославит вас, но вы его!». Со времен Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии) Рим не видал подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там — окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучений ожидал кончины. К несчастию, вернейший его приятель Константини не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца «Иерусалима»: «Что скажет мой Константини, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Ни-

[1] «О великодушный Альфонс!» (*ит.*).— *Ред.*

щим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия, не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников, начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни, и в будущей — которая есть настоящая — не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости! — Рим. — Св. Онуфрий». Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христианский с истинным благочестием.

Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию — говорит Женгене в «Истории литературы италиянской» — тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздние, печальные почести!..

Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи, одну латинскую, другую италиянскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent»[1]. Она красноречива.

Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын угрюмого севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принесть скудную горсть цветов в ее воспоминание!

[1] Здесь лежат кости Торквато Тассо *(лат.)* — *Ред.*



БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и муз и граций,
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принесть цветы и ульев сот янтарный,
И нежны первенцы полей:
Да будет сладок им сей дар любви моей
И гимн поэта благодарный!

Не злата молит он у жертвенника муз:
Они с фортуною не дружны,
Их крепче с бедностью заботливой союз,
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

Не молит славы он сияющих даров:
Увы! талант его ничтожен.
Ему отважный путь за стаею орлов,
Как пчелке, невозможен.

Он молит муз — душе, усталой от сует,
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть — вянущим беспрестанно чувствам.

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет

И время жадное в сей тайной сени муз
Любимца их не тронет.

Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.

Май 1817

Стихотворения, не вошедшие в книгу «Опыты в стихах и прозе»





МЕЧТА

⟨Первая редакция⟩

О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!
Ты, в душу нежную поэта
Лучом проникнув света,
Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,
И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает.
То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
То с чашей радости в руках
Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь,
Зефиром по цветам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны
Самим невольникам в слезах.
Цепями руки отягченны,

Замки чугунны на дверях
Украшены мечтой... Какое утешенье
Украсить заключенье,
Оковы променять на цепь веселых роз!..
Подругу ль потерял, источник вечных слез,
Ступай ты в рощицу унылу,
Сядь на плачевную могилу,
Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, стройным станом,
Как нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков
Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.
А ты, любимец Аполлона,
Лежащий на цветах
В забвенье сладостном, меж нимф и нежных граций,
Певец веселия, Гораций,
Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
Всю жизни бренной сладость?
От них эфирна радость
Летит, как бабочка от терновых кустов,
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,
Веселья на крылах
Дни юности стремятся:
Не долго на цветах
В беспечности валяться.
Весеннею порой
Лишь бабочка летает,

Амуров нежный рой
Морщин не лобызает.
Крылатые мечты
Не сыплют там цветы,
Где тусклый опытность светильник зажигает.

Счастливая мечта, живи, живи со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой
Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойства,
Души поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

1802 или 1803

ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ МОИМ

Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères.
Voltaire[1]

Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!
С тех пор как с музами, к несчастью, обращаюсь.
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!
Во сне и наяву Кастальский льется ток!
Но с страстию писать не я один родился:
Чуть стопы размерять кто только научился,
За славою бежит — и бедный рифмотвор
В награду обретет не славу, но позор.
Куда ни погляжу, везде стихи марают,
Под кровлей песенки и оды сочиняют.

[1] Освистывайте меня без стеснения, собратья мои, я отвечу вам тем же. *Вольтер (фр.).— Ред.*

И бедный Стукодей, что прежде был капрал,
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет
И грациям стихи голодный сочиняет;
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»
Потом, возвысив тон, героев воспевает:
В стихах его и сам Суворов умирает!
Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!
Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:



Все пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.
Безрифмин говорит о милых... о сердцах...
Чувствительность души твердит в своих стихах;
Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и Глазунов в газетах выхваляет.
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,
И даже он готов поэмой уморить.
Иному в ум придет, что вкус восстановляет:
Мы верим все ему — кругами утверждает!
Другой уже спешит нам драму написать,
За коей будем мы не плакать, а зевать.
А третий, наконец... Но можно ли помыслить —
Все глупости людей в подробности исчислить?..
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:
Сатирою нельзя переменить нам свет.
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?
Он также на меня готов вооружиться.
Зачем Безрифмину бумагу не марать?

Всяк пишет для себя: зачем же не писать?
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;
Глас разума — увы! — к несчастию, не внятен.
Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.
Давно я сам в себе, давно уже признался;
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,
Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться?..
Когда не любят нас, хотим их презирать,
Но всё не престаем прекрасных обожать!

1804 или 1805

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастли́в — одну минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастье сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила,
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,

И должно мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

1804 или 1805

ПОСЛАНИЕ К ХЛОЕ

Подражание

Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой.
За счастьем мы бежим, но редко достигаем,
Бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!
Как путник, огнь в лесу когда блудящий зрит,
Стремится к оному, но призрак прочь бежит,
В болота вязкие его он завлекает
И в страшной тишине в пустыне исчезает,—
Таков и человек! Куда ни бросим взгляд,
Узрим тотчас, что он и в счастии не рад.



Довольны все умом, фортуною — нимало.
Что нравилось сперва, теперь то скучно стало;
То денег, то чинов, то славы он желает,
Но славы посреди и денег он — зевает!

Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа — и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать,— а куда?— беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
«Постой!»— она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах — и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платье и дворе.
Окончив разговор, который истощился.
От скуки уж поет. Глупонов тут явился,
Надутый, как павлин, с пустою головой,
Глядится в зеркало и шаркает ногой.
Вдруг входит Брумербас, все в зале замолкает.
Вступает в разговор и голос возвышает:
«Париж я верно б взял,— кричит из всех он сил,—
И Амстердам потом, гишпанцев бы разбил...»
Тут вспыхнет, как огонь, затопает ногами,
Пойдет по комнате широкими шагами;
Вообразит себе, что неприятель тут,
Что режут, что палят, кричат «ура!» и жгут.
Заплюет всем глаза герой наш плодовитый,
Но вдруг смиряется и бросит взгляд сердитый;
Начнет рассказывать, как турка задавил,
Как роту целую янычаров убил,
Турчанки нежные в него как все влюблялись,
Как турки в полону от злости запыхались,
И битые часа он три проговорит!..
Никто не слушает, а он кричит, кричит!
Но в зале разговор тут общим становится,
Всяк хочет говорить и хочет отличиться,
Какой ужасный шум! Нельзя ничто понять,
Нельзя и клевету от правды различать.
Но вдруг прервали крик и вдруг все замолчали,
Ни слова не слыхать! Немыми будто стали.
Придите, карты, к нам: все спят уже без вас!
Без карт покажется за век один и час.
К зеленому столу все гости прибегают
И жадность к золоту весельем прикрывают.
Окончили игру и к ужину спешат,
Смеются за столом, с соседом говорят:
И бедный человек живее становится,

За пищей, кажется, он вновь переродится.
Какой я слышу здесь чуднейший разговор!
Какие глупости! какая ложь и вздор!
Педант бранит войну и вместе мир ругает,
Сердечкин тут стихи любовные читает,
Тут старые Бурун нам новости твердит,
А здесь уже Глупон от скуки чуть не спит!
И так-то, Хлоя, век свой люди провождают,
И так-то целый день в бездействии теряют,
День долгий, тягостный ленивому глупцу,
Но краткий, напротив, полезный мудрецу.
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

1804 или 1805

ПЕРЕВОД 1-й САТИРЫ БОАЛО

Бедняга и поэт и нелюдим несчастный,
Дамон, который нас стихами все морил,
Дамон, теперь презрев и славы шум напрасный,
Заимодавцев всех своих предупредил.
Боясь судей, тюрьмы, он в бегство обратился,
Как новый Диоген, надел свой плащ дурной,
Как рыцарь, посохом своим вооружился
И, связку навязав сатир, понес с собой.
Но в тот день, из Москвы как в путь он собирался,
Кипя досадою и с гневом на глазах,
Бледнее, чем Глупон, который проигрался,
Свой гнев истощевал почти что в сих словах:
«Возможно ль здесь мне жить? Здесь честности не знают!
Проклятая Москва! Проклятый скучный век!
Пороки все тебя лютейши поглощают,
Незнаем и забыт здесь честный человек.
С тобою должно мне навеки распроститься,
Бежать от должников, бежать из всех мне ног
И в тихом уголке надолго притаиться.
Ах! если б поскорей найти сей уголок!..

Забыл бы в нем людей, забыл бы их навеки.
Пока дней парка нить еще моих прядет,
Спокоен я бы был, не лил бы слезны реки.
Пускай за счастием, пускай иной идет,
Пускай найдет его Бурун с кривой душою,
Он пусть живет в Москве, но здесь зачем мне жить?
Я людям ввек не льстил, не хвастал и собою,
Не лгал, не сплетничал, но чтил, что должно чтить.
Святая истина в стихах моих блистала
И музой мне была, но правда глаз нам жжет.
Зато фортуна мне, к несчастью, не ласкала.
Богаты подлецы, что заполняют свет,
Вооружились все против меня и гнали
За то, что правду я им вечно говорил.
Глупцы не разумом, не честностью блистали,
Но золотом одним. А я чтоб их хвалил!..
Скорее я почту простого селянина,
Который пóтом хлеб кропит насущный свой,
Чем этого глупца, большого господина,
С презреньем давит что людей на мостовой!
Но кто тебе велит (все скажут мне) браниться?
Немудрено, что ты в несчастии живешь;
Тебе никак нельзя, поверь, с людьми ужиться:
Ты беден, чином мал — зачем же не ползешь?
Смотри, как Сплетнин здесь тотчас обогатился,
Он князем уж давно... Таков железный век:
Кто прежде был в пыли, тот в знати очутился!
Фортуна ветрена, и этот человек,
Который в золотой карете разъезжает,
Без помощи ее на козлах бы сидел
И правил лошадьми,— теперь повелевает,
Теперь он славен стал и сам в карету сел.
А между тем Честон, который не умеет
Стоять с почтением в лакейской у бояр,
И беден, и презрен, ступить шага не смеет;
В грязи замаран весь, он терпит холод, жар.
Бедняга с честностью забыт людьми и светом:
Итак, не лучше ли в стихах нам всех хвалить?
Зато богатым быть, в покое жить нагретом,
Чем добродетелью своей себя морить?
То правда, государь нам часто помогает
И музу спящую, лишь взглянет,— оживит,
Он Феба из тюрьмы нередко извлекает.

Чего не может царь!.. Захочет — и творит.
Но Мецената нет, увы! — и Август дремлет.
Притом захочет ли мне кто благотворить?
Кто участь в жалобах несчастного приемлет,
И можно ли толпу просителей пробить,
Толпу несносную сынов несчастных Феба?
За оду просит тот, сей песню сочинил,
А этот — мадригал. Проклятая от неба,
Прямая саранча! Терпеть нет боле сил!..
И лучше во сто раз от них мне удалиться.
К чему прибегнуть мне? Не знаю, что начать?
Судьею разве быть, в приказные пуститься?
Судьею?.. Боже мой! Нет, этому не быть!
Скорее Стукодей бранить всех перестанет,
Скорей любовников Лаиса отошлет
И мужа своего любить как мужа станет,
Скорей Глицера свой, скорей язык уймет,
Чем я пойду в судьи! Не вижу средства боле,
Как прочь отсюдова сейчас же убежать
И в мире тихо жить в моей несчастной доле,
В Москву проклятую опять не заезжать.
В ней честность с счастием всегда почти бранится,
Порок здесь царствует, порок здесь властелин,
Он в лентах, в орденах повсюду ясно зрится,
Забыта честность, но фортуны милый сын,
Хоть плут, глупец, злодей, в богатстве утопает,
И даже он везде... Не смею говорить...
Какого стоика сие не раздражает?
Кто может, не браня, здесь целый век прожить?
Без Феба всякий здесь хорошими стихами
Опишет город вам, и в гневе стихотвор
На гору не пойдет Парнас с двумя холмами.
Он правдой удивит без вымыслов убор.
«Потише, — скажут мне, — зачем так горячиться?
Зачем так свысока? Немного удержись!
Ведь в гневе пользы нет: не лучше ли смириться?
А если хочешь врать, на кафедру взберись,
Там можно говорить и хорошо и глупо,
Никто не сердится, спокойно всякий спит.
На правду у людей, поверь мне, ухо тупо».
Пусть светски мудрецы, пусть так все рассуждают!
Противен, знаю, им всегда был правды свет.
Они любезностью пороки закрывают,

Для них священного и в целом мире нет.
Любезно дружество, любезна добродетель,
Невинность чистая, любовь, краса сердец,
И совесть самая, всех наших дел свидетель,
Для них — мечта одна! Постой, о лжемудрец!
Куда влечешь меня? Я жить хочу с мечтою.
Постой! Болезнь к тебе, я вижу, смерть ведет,
Уж крылия ее простерты над тобою.
Мечта ли то теперь? Увы, к несчастью, нет!
Кого переменю моими я словами?
Я верю, что есть ад, святые, дьявол, рай,
Что сам Илья гремит над нашими главами.
А здесь в Москве... Итак, прощай, Москва, прощай!..

1804 или 1805

К ФИЛИСЕ

Подражание Грессету

Qu' heureux est le mortel qui, du monde ignoré,
Vit content de lui-même en un coin retiré,
Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée,
N'a jamais enivré d'une vaine fumée...[1]

Что скажу тебе, прекрасная,
Что скажу в моем послании?
Ты велишь писать, Филиса, мне,
Как живу я в тихой хижине,
Как я строю замки в воздухе,
Как ловлю руками счастие.
Ты велишь — и повинуюся.

Ветер воет всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — все разбросано:
Тут Вольтер лежит на Библии,
Календарь на философии.

[1] Блажен смертный, который, неведомый миру, живет, довольный самим собой, в укромном уголке, которому любовь к тому тлену, что зовется славой, никогда не кружила головы своим суетным угаром *(фр.).— Ред.*

У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний, кто взойдет ко мне,
Верно, скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».



Правда, что воображение
Убирает все рукой своей,
Сыплет розаны на терние,
И поэт с душой спокойною
Веселее Креза с золотом.
Независимость любезную
Потерять на цепь золочену!..
Я счастлив в моей беспечности,
Презираю гордость глупую,
Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются
Твари подлые, презренные,
Пусть слова его оракулом
Чтут невежды и со трепетом
Мановенья ждут руки его!

Как пылинка вихрем поднята,
Как пылинка вихрем брошена,
Так и счастье наше чудное
То поднимет, то опустит вдруг.
Часто бегал за фортуною
И держал ее в руках моих:
Чародейка ускользнула тут
И оставила колючий терн.

Славу, почести мы призраком
Называем, если нет у нас;
Но найдем — прощай, мечтание!
Чашу с ними пьем забвения
(Суета всегда прелестна нам),
И мудрец забудет мудрость всю.
Что же делать нам?.. Бранить людей?..
Нет, найти святое дружество,
Жить покойно в мирной хижине;
Нелюдим пусть ненавидит нас:
Он несчастлив — не завидую.

Страх и ужас на лице его,
Ходит он с главой потупленной,
И спокойствие бежит его!
Нежно дружество с улыбкою
Не согреет сердца хладного,
И слеза его должна упасть,
Не отертая любовию!

Посмотри, Дамон как мудрствует.
Он находит зло единое.
«Добродетель,— говорит Дамон,—
Добродетель — суета одна,
Добродетель — призрак слабых душ.
Предрассудок в мире царствует,
Людям всем он ослепил глаза».
Он недолго будет думать так,
Хладна смерть к нему приближится:
Он увидит заблуждение,
Он увидит. Совесть страшная
Прилетит к нему тут с зеркалом;
Волоса ее растрепаны,
На глазах ее отчаянье,
А в устах — упреки, жалобы.
Полно! Бросим лучше дале взгляд.

Посмотри, как здесь беспечная
В скуке дни влечет Аталия.
День настанет — нарумянится,
Раза три зевнет — оденется.
«Ах!.. зачем так время медленно!»—
Скажет тут в душе беспечная,
Скажет с вздохом и заснет еще!
Бурун ищет удовольствия,
Ездит, скачет... увы!— нет его!

Оно там, где Лиза нежная
Скромно, мило улыбается?..
Он приходит к ней — но нет его!..
Скучной Лиза ему кажется.
Так в театре, где комедия
Нас смешит и научает вдруг?
Но и там, к несчастью, нет его!
Так на бале?.. Не найдешь его:
Оно в сердце должно жить у нас...

Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Всё затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие,
Совесть чистая — сокровище,
Вольность, вольность — дар святых небес.

Но уж солнце закатилося,
Мрак и тени сходят на землю,
Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный,
Тихо льет, но черно облако
Помрачает светлый луч луны,
Как печальны вспоминания
Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя
Как люблю с тобой беседовать!
Как приятно мне в молчании
Вспоминать мечты прошедшие!
Мы надеждою живем, мой друг,
И мечтой одной питаемся.
Вы, богини моей юности,
Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,
Так теперь, мой друг, я думаю.
Я счастлив — моим спокойствием,
Я счастлив — твоею дружбою...

1804 или 1805

ПЕРЕВОД ЛАФОНТЕНОВОЙ ЭПИТАФИИ

Иван и умер, как родился, —
Ни с чем; он в жизни веселился
И время вот как разделял:
Во весь день — пил, а ночью — спал.

1804 или 1805

К МАЛЬВИНЕ

Ах! чем красавицу мне должно,
Как не цветочком, подарить?
Ее, без всякой лести, можно
С приятной розою сравнить.

Что розы может быть славнее?
Ее Анакреон воспел.
Что розы может быть милее?
Амур из роз венок имел.



Ах, мне ль твердить, что вянут розы,
Что мигом их краса пройдет,
Что, лишь появятся морозы,
Листок душистый опадет.

Но что же, милая, и вечно
В печальном мире сем цветет?

Не только розы скоротечно,
И жизнь,— увы! — и жизнь пройдет.

Но грации пока толпою
Тебе, Мальвина, вслед идут,
Пока они еще с тобою
Играют, пляшут и поют,

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

⟨1805⟩

ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях
И что в стихах
Украдкой от друзей на лире воспеваешь?
С Фингаловым певцом мечтаешь
Иль резвою рукой
Венок красавице сплетаешь?
Поешь мечты, любовь, покой,
Улыбку томныя Корины
Иль страстный поцелуй шалуньи Зефирины?
Все, словом, прелести Цитерских уз —
Они так дороги воспитаннику муз —
Поешь теперь, а твой на Севере приятель,
Веселий и любви своей летописатель,
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.
Терпенье и труды ведь любит Аполлон —
А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой, смеясь, гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей — на пестрых кукл — мечтал:
«Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,
Чем исполинскими шагами
За славой побежать и в яму поскользить?»

Охоты, право, не имею
Чрез то я сделаться смешным
И умным, и глупцам, и злым,
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым,
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля, со мною!
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою!
Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал:
Ведь я Пиндару подражал!»
Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь,
Но с светом вовсе не простясь:
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы, право, не живем
На месте всё одном,
Но мыслями летаем;
То в Африку плывем,
То на развалинах Пальмиры побываем,
То трубку выкурим с султаном иль пашой,
Или, пленяся вдруг султановой женой,
Фатимой томной, молодой,
Тотчас дарим его рогами;
Смеемся муфтию, деремся с визирями,
И после, убежав (кто в мыслях не колдун?),
Увидим стройных нимф, услышим звуки струн,
И где ж очутимся? На бале и в Париже!
И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастие лишь там живет,
Где нас, безумных, нет.
Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.
Ах, должно ль запретить и сердцу забываться,
Поэтов променя на скучных мудрецов!
Поэты не дают с фантазией расстаться,
Мы с ними посреди Армидиных садов,
В прохладе рощ тенистых,
Внимаем пению Орфеев голосистых.
При шуме ветерков на розах нежных спим
И возле нимф вздыхаем,

С богами даже говорим,
А с мудрецами лишь болтаем,
Браним несчастный мир да рассердясь... зеваем.
. . . .
Так, сердце может лишь мечтою услаждаться!
Оно всё хочет оживить:
В лесу на утлом пне друидов находить,
Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну;
Услышать барда песнь священну,
С Мальвиною вздохнуть на берегу морском
О ратнике младом.
Всё сердцу в мире сем вещает.
И гроб безмолвен не бывает,
И камень иногда пустынный говорит:
«Герой здесь спит!»

Так, сердцем рождена, поэзия любезна,
Как нектар сладостный, приятна и полезна.
Язык ее — язык богов;
Им дивный говорил Омир, отец стихов.
Язык сей у творца берет Протея виды.
Иной поет любовь: любимец Афродиты,
С свирелью тихою, с увенчанной главой,
Вкушает лишь покой,
Лишь радости одни встречает
И розами стезю сей жизни устилает.
Другой,
Как славный Тасс, волшебною рукой
Являет дивный храм природы
И всех чудес ее тьмочисленные роды:
Я зрю то мрачный ад.
То счастия чертог, Армидин дивный сад;
Когда же он дела героев прославляет
И битвы воспевает,
Я слышу треск и гром, я слышу стон и крик...
Таков поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?
Я чересчур болтлив, я с Фебом подружился,
А с ним ли бедному поэту сдобровать?
Но, чтоб к концу привесть начатое маранье,
Хочу тебе сказать,
Что пременить себя твой друг имел старанье,

Увы, и не успел! Прими мое признанье!
Никак я не могу *одним* доволен быть,
И лучше розы мне на терны пременить,
Чем розами всегда одними восхищаться.
Итак, не должно удивляться,
Что ветреный твой друг —
Поэт, любовник вдруг
И через день потом философ с грозным тоном,
А больше дружен с Аполлоном,
Хоть и нейдет за славы громом,
Но пишет всё стихи,
Которы за грехи,
Краснеяся, друзьям вполголоса читает
И первый сам от них зевает.

Первая половина 1805

⟨НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА⟩

Que vois-je, c'en est fait; je t'embrasse, et tu meurs.
Voltaire[1]

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло всё под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник мира!
Нет друга нашего, его навеки нет!
Недолго мир им украшался:
Завял, увы, как майский цвет,
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.
Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

[1] Что вижу я, все кончено; я тебя обнимаю, и ты умираешь. *Вольтер (фр.).— Ред.*

И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
Объемлем только хладный прах,
Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!

Когда в последний раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

Сентябрь 1805

* * *

Безрифмина совет:
Без жалости все сжечь мое стихотворенье!
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье
Своею смертию умрет!

⟨1805⟩

СОВЕТ ДРУЗЬЯМ

Faut-il être tant volage,
Ai-je dit au doux plaisir...[1]

Подайте мне свирель простую,
Друзья! и сядьте вкруг меня
Под эту вяза тень густую,
Где свежесть дышит среди дня;
Приближьтесь, сядьте и внемлите
Совету музы вы моей:
Когда счастливо жить хотите
Среди весенних кратких дней,
Друзья! оставьте призрак славы,

[1] Нужно ли быть столь мимолетным? — сказал я сладостному наслаждению. *(фр.)*. — *Ред.*

Любите в юности забавы
И сейте розы на пути.
О юность красная! цвети!
И, током чистым окропленна,
Цвети хотя немного дней,
Как роза, миртом осененна,
Среди смеющихся полей;
Но дай нам жизнью насладиться,
Цветы на тернах находить!
Жизнь — миг! не долго веселиться
Не долго нам и в счастье жить!
Не долго — но печаль забудем,
Мечтать во сладкой неге будем:
Мечта — прямая счастья мать!
Ах! должно ли всегда вздыхать
И в майский день не улыбаться?
Нет, станем лучше наслаждаться,
Плясать под тению густой
С прекрасной нимфой молодой,
Потом, обняв ее рукою,
Дыша любовию одною,
Тихонько будем воздыхать
И сердце к сердцу прижимать.

Какое счастье! Вакх веселый
Густое здесь вино нам льет,
А тут в одежде тонкой, белой
Эрата нежная поет:
Часы крылаты! не летите,
Ах! счастье мигом хоть продлите!

Но нет! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они;
Ни лень, ни сердца наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Губит и радость и покой!

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
Ужель вкушать не буду боле?

Ужели скоро в тихом поле
Под серым камнем стану спать?
И лира, и свирель простая
На гробе будут там лежать!



Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Прах хладный мой не окропится!
Ах! Должно ль мне о том крушиться?
Умру, друзья! — и всё со мной!
Но парки темною рукою
Прядут, прядут дней тонку нить...
Коринна и друзья со мною, —
О чем же мне теперь грустить?

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать.

⟨1806⟩

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Любимец строгой Мельпомены,
Прости усердный стих безвестному певцу!
Не лавры к твоему венцу,
Рукою дерзкою сплетенны,
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам
Творцу «Димитрия», кому бессмертны музы,
Сложив признательности узы,
Открыли славы храм?
А храм сей затворен для всех зоилов строгих,
Богатых завистью, талантами убогих.
Ах, если и теперь они своей рукой
Посмеют к твоему творенью прикасаться,
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,
Захочешь с музами расстаться
И боле не писать,
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.

Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
С высокого холма вокруг себя смотрел,
Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая,
Как в рощах липовых чуть легким ветерком
Листы колеблемы шептали
И светлые ручьи, почив с природой сном,
Едва меж берегов струей своей мелькали.
Из рощи соловей
Долины оглашал гармонией своей,
И эхо песнь его холмам передавало.
Всё душу пастуха задумчиво пленяло,
Как вдруг певец любви на ветвях замолчал.
Напрасно наш пастух просил о песнях новых.
Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:
«Недолго в рощах сих дубовых
Я радость воспевал!
Пройдет и петь охота,
Когда с соседнего болота
Лягушки кваканьем как бы назло глушат;

Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!» —
«Пой, нежный соловей, — пастух сказал Орфею, —
Для них ушей я не имею.
Ты им молчаньем петь охоту придаешь:
Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

Весна 1807

К ТАССУ[1]

Позволь, священна тень, безвестному певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей авзонской музы,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить![2]

Среди Элизия близ древнего Омира
Почиет тень твоя, и Аполлона лира
Еще согласьем дух поэта веселит.
Река забвения и пламенный Коцит
Тебя с любовницей, о Тасс, не разлучили[3]:
В Элизии теперь вас музы съединили,
Печали нет для вас, и скорбь протекших дней,
Как сладостну мечту, объемлете душей...
Торквато, кто испил все горькие отравы
Печалей и любви и в храм бессмертной славы,
Ведомый музами, в дни юности проник, —
Тот преждевременно несчастлив и велик![4]

---

[1] Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода «Освобожденного Иерусалима».
[2] Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах.
[3] Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его.
[4] Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму Иерусалима, написал «Аминту», много рассуждений о словесности и пр.

Ты пел, и весь Парнас в восторге пробудился,
В Феррару с музами Феб юный ниспустился,
Назонову тебе он лиру *сам* вручил,
И гений крыльями бессмертья осенил.
Воспел ты бурну брань, и бледны эвмениды
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:
Бегут среди полей и топчут знамена,
Светильником вражды их ярость разжена,
Власы растрепанны и ризы обагренны,
Я сам среди смертей... и Марс со мною медный...
Но ужасы войны, мечей и копий звук
И гласы Марсовы как сон исчезли вдруг:
Я слышу вдалеке пастушечьи свирели,
И чувствия душой иные овладели.
Нет более вражды, и бог любви младой
Спокойно спит в цветах под миртою густой.
Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!
Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,
Какой чудесный бог чрез дивные мечты
Рассеял мрачные и нежны красоты?
То скиптр в его руках или перун зажженный,
То розы юные, Киприде посвященны,
Иль факел эвменид, иль луч златой любви.
В глазах его — любовь, вражда — в его крови;
Летит, и я за ним лечу в пределы мира,
То в ад, то на Олимп! У древнего Омира
Так шаг один творил огромный бог морей
И досягал другим краев подлунной всей.
Армиды чарами, средь моря сотворенной,
Здесь тенью миртовой в долине осененной,
Ринальд, младой герой, забыв вои́нский глас,
Вкушает прелести любови и зараз...
А там что зрят мои обвороженны очи?
Близ стана воинска, под кровом черной ночи,
При зареве бойниц, пылающих огнем,
Два грозных воина, вооружась мечом,
Неистовой рукой струят потоки крови...
О, жертва ярости и плачущей любови!..
Постойте, воины!.. Увы!.. один падет...
Танкред в враге своем Клоринду узнает,

И морем слез теперь он платит, дерзновенный,
За каплю каждую сей крови драгоценной...[1]



Что ж было для тебя наградою, Торкват,
За песни стройные? Зоилов острый яд,
Притворная хвала и ласки царедворцев,
Отрава для души и самых стихотворцев.
Любовь жестокая, источник зол твоих,
Явилася тебе среди палат златых,
И ты из рук ее взял чашу ядовиту,
Цветами юными и розами увиту,
Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру и себя поверг пред красотой.
Но радость наша — ложь, но счастие — крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишен и вольности, и Фебовых лучей.
Печаль глубокая поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб! О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
Придитё! Вот поэт превыше смертных хвал,
Который говорить героев заставлял,
Проникнул взорами в небесные чертоги,—
В железах стонет здесь... О милосерды боги!
Доколе жертвою, невинность, будешь ты
Бесчестной зависти и адской клеветы?

---

[1] Gli occhi tuoi pagheran...
Di guel sangue ogni stilla un mar di pianto.
«La Gierusalemme». Canto XII.
(За каждую каплю этой крови твои глаза заплатят морем слез. *«Иерусалим». Песнь* XII*) (ит.).— Ред.*

Имело ли конец несчастие поэта?
Железною рукой печаль и быстры лета
Уже безвременно белят его власы,
В единобразии бегут, бегут часы,
Что день, то прежня скорбь, что ночь — мечты ужасны...
Смягчился наконец завет судьбы злосчастной.
Свободен стал поэт, и солнца луч златой
Льет в хладну кровь его отраду и покой:
Он может опочить на лоне светлой славы.
Средь Капитолия, где стены обветшалы
И самый прах еще о римлянах твердит,
Там ждет его триумф... Увы!.. там смерть стоит!
Неумолимая берет венок лавровый,
Поэта увенчать из давних лет готовый.
Премена жалкая столь радостного дни!
Где знамя почестей, там смертны пелены,
Не увенчание, но лики погребальны...
Так кончились твои, бессмертный, дни печальны!

Нет более тебя, божественный поэт!
Но славы Тассовой исполнен ввеки свет!
Едва ли прах один остался древней Трои,
Не знаем и могил, где спят его герои,
Скамандр божественный вертепами течет,
Но в памяти людей Омир еще живет,
Но человечество певцом еще гордится,
Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!

Между маем и началом августа 1808

〈ОТРЫВОК ИЗ I ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»〉

Пустынник Петр говорил в верховном совете.
Он предложил Готфреда в вожди.

Скончал пустынник речь... Небесно вдохновенье!
Не скрыто от тебя сердечное движенье,
Ты в старцевы уста глагол вложило сей
И сладость оного влило в сердца князей,
Ты укротило в них бушующие страсти,

Дух буйной вольности, любовь врожденну к власти:
Вильгельм и мудрый Гелф, первейший из вождей,
Готфреда нарекли вождем самих царей.

И плески шумные избранье увенчали!
«Ему единому,— все ратники вещали,—
Ему единому вести ко славе нас!
Законы пусть дает его единый глас;
Доселе равные, его послушны воле,
Под знаменем святым пойдем на бранно поле,
Поганство буйное святыне покорим.
Награда неба нам: умрем иль победим!»

Узрели воины начальники избранна
И властию почли достойно увенчанна.
Он плески радостны от войска восприял,
Но вид величия спокойного являл.
Клялися все его повиноваться воле.
Наутро он велел полкам собраться в поле,
Чтоб рать под знамена священны притекла
И слава царское веленье разнесла.

Торжественней в сей день явилось над морями
Светило дня, лучи лиющее реками!
Христово воинство в порядке потекло
И дол обширнейший строями облегло.
Развились знамена, и копья заблистали,
Скользящие лучи сталь гладку зажигали;
Но войско двигнулось: перед вождем течет
Тяжела конница и ей пехота вслед.

О память светлая! тобою озаренны
Протекши времена и подвиги забвенны,
О память, мне свои хранилища открой!
Чьи ратники сии? Кто славный их герой?
Повеждь, да слава их, утраченна веками,
Твоими возблестит небренными лучами!
Увековечи песнь нетлением своим,
И время сокрушит железо перед ним!

Явились первые неустрашимы галлы:
Их грудь облечена в слиянные металлы,
Оружие звенит тяжелое в руках.
Гуг, царский брат, сперва был во́ждем в сих полках;

Он умер, и хоругвь трех лилий благородных
Не в длани перешла ее царей природных,
Но к мужу, славному по доблести своей:
Клотарий избран был в преемники царей.

Счастливый Иль-де-Франс, обильный, многоводный,
Вождя и ратников страною был природной.
Нормандцы грозные текут сим войскам вслед:
Роберт их кровный царь, ко брани днесь ведет.
На галлов сходствует оружье их и нравы;
Как галлы, не щадят себя для царской славы.
Вильгельм и Адемар их войски в брань ведут,
Народов пастыри за веру кровь лиют.

Кадильницу они с булатом сочетали
И длинные власы шеломами венчали.
Святое рвение! Их меткая рука
Умеет поражать врагов издалека.
Четыреста мужам, в Орангии рожденным,
Вильгельм предшествует со знаменем священным
Но равное число идет из Пуйских стен,
И Адемар вождем той рати наречен.

Се идет Бодоин с болонцами своими:
Покрыты чела их шеломами златыми.
Готфреда воины за ними вслед идут,
Вождем своим теперь царева брата чтут.
Корнутский граф потом, вождь мудрости избранный,
Четыреста мужей ведет на подвиг бранный;
Но трижды всадников толикое число
Под Бодоиновы знамена притекло.

Гелф славный возле них покрыл полками поле,
Гелф славен счастием, но мудростию боле.
Из дома Эстского сей витязь родился,
Воспринят Гелфом был и Гелфом назвался;
Каринтией теперь богатой обладает
И власть на ближние долины простирает,
По коим катит Рейн свой сребряный кристалл:
Свев дикий искони там в детстве обитал.

Между маем и началом августа 1808

⟨ОТРЫВОК ИЗ XVIII ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»⟩

Адские духи царствуют в очарованном лесе; Ринальд по повелению Готфреда шествует туда, дабы истребить чары Исменовы.

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слиялся мрак ночной,
Восток румяными огнями весь пылает,
И утрення звезда во блесках потухает.
Оставя по траве, росой обмытой, след,
К горе Оливовой Ринальд уже течет.
Он в шествии своем светилы зрит небренны,
Руками вышнего на небесах возжженны,
Зрит светлый свод небес, раскинут как шатер,
И в мыслях говорит: «Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день солнце, образ твой, течет под небесами,
В ночь тихую луна и сонм бессчетных звезд
Лиют утешный луч с лазури горних мест.
Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор влюбленный,
Улыбка страстная и вредные мечты
Приятнее для нас нетленной красоты».
На твердые скалы в сих мыслях востекает
И там чело свое к лицу земли склоняет.
Но духом к вечному на небеса парит.
К востоку обратясь, в восторге говорит:
«Отец и царь благий, прости мне ослепленье,
Кипящей юности невольно заблужденье,
Прости и на меня излей своей рукой
Источник разума и благости святой!»
Скончал молитву он. Уж первый луч Авроры
Блистает сквозь туман на отдаленны горы;
От пурпурных лучей героев шлем горит.
Зефир, спорхнув с цветов, по воздуху парит
И грозное чело Ринальда лобызает;
Ниспадшею росой оружие блистает,
Щит крепкий, копие, железная броня,
Как золото, горят от солнечна огня.
Так роза блеклая, в час утра оживая,
Красуется, слезой Аврориной блистая;

Так, чешуей гордясь, весною лютый змей
Вьет кольца по песку излучистой струей.
Ринальд, блистанием оружья удивленный,
Стопами смелыми — и свыше вдохновенный —
Течет в сей мрачный лес, самих героев страх,
Но ужасов не зрит: в прохладе и тенях
Там нега с тишиной, обнявшись, засыпают,
Зефиры горлицей меж тростников вздыхают,
И с томной сладостью журчит в кустах ручей.
Там лебедь песнь поет, с ним стонет соловей,
И гласы сельских нимф и арфы тихострунной
Несутся по лесу как хор единошумный.
Не нимф и не сирен, не птиц небесных глас,
Не царство сладкое и неги и зараз
Мечтал найти Ринальд, но ад и мрак ужасный,
Подземные огни и трески громогласны.
Восторжен, удивлен, он шаг умерил свой
И путь остановил над светлою рекой.
Она между лугов, казалось, засыпала
И в зеркальных водах брега образовала,
Как цепь чудесная, вкруг леса облегла.
Пространство всё ее текуща кристалла́
Древа, соплетшися ветвями, осеняли,
Питались влагою и берег украшали.
На водах мраморных мост дивный, весь златой,
Явил через реку герою путь прямой.
Ринальд течет по нем, конца уж достигает,
Но свод, обрушившись, мост с треском низвергает.
Кипящие валы несут его с собой.
Не тихая река, но ток сей, что весной,
Снегами наводнен, текущими с вершины,
Шумит и пенится в излучинах долины,
Представился тогда Ринальдовым очам.
Герой спешит отколь к безмолвным сим лесам,
В вертепы мрачные, обильны чудесами,
Где всюду под его рождалися стопами
(О, призрак волшебства и дивные мечты!)
Ручьи прохладные и нежные цветы.
Влюбленный здесь нарцисс в прозрачный ток глядится,
Там роза, цвет любви, на терниях гордится;
Повсюду древний лес красуется, цветет,

Вид юности кора столетних лип берет,
И зелень новая растения венчает.
Роса небесная на ветвиях блистает,
Из толстыя коры струится светлый мед.
Любовь живит весь лес, с пернатыми поет,
Вздыхает в тростниках, журчит в ручьях кристальных,
Несется песнями, теряясь в рощах дальных,
И тихо с ветерком порхает по цветам.
Герой велик и мудр, не верит он очам
И адским призракам в лесу очарованном.
Вдруг видит на лугу душистом и пространном
Высокий мирт, как царь между дерев других.
Красуется его чело в ветвях густых,
И тень прохладная далеко вкруг ложится.
Из дуба ближнего сирена вдруг родится,
Волшебством создана. Чудесные мечты
Прияли гибкий стан и образ красоты.
Одежда у нее, поднятая узлами,
Блестит, раскинута над белыми плечами.
Сто нимф из ста дерев внезапу родились
И все лилейными руками соплелись.
На мертвом полотне так — кистию чудесной
Изображенный — зрим под тению древесной
Лик сельских стройных дев, собрание красот:
Играют, резвые, сплетяся в хоровод,
Их ризы как туман, и перси обнаженны,
Котурны на ногах, власы переплетенны.
Так лик чудесных нимф наместо грозных стрел
Златыми цитрами и арфами владел.
Одежды легкие они с рамен сложили
И с пляской, с пением героя окружили.
«О ратник юноша, счастлив навеки ты,
Любим владычицей любви и красоты!
Давно, давно тебя супруга ожидала,
Отчаянна, одна, скиталась и стенала.
Явился — и с тобой расцвел сей дикий лес,
Чертог уныния, отчаянья и слез».
Еще нежнейший глас из мирта издается
И в душу ратника, как нектар сладкий, льется.
В древнейши, баснями обильные века,
Когда и низкий куст, и малая река
Дриаду юную иль нимфу заключали,
Столь дивных прелестей внезапу не рождали.

Но мирт раскрыл себя... О призрак, о мечты!
Ринальд Армиды зрит стан, образ и черты,
К нему любовница взор страстный обращает,
Улыбка на устах, в очах слеза блистает,
Все чувства борются в пылающей груди,
Вздыхая, говорит: «Друг верный мой, приди,
Отри рукой своей сих слез горячих реки,
Отри и сердце мне свое отдай навеки!
Вещай, зачем притек? Блаженство ль хочешь пить?
Утешить сирую и слезы осушить,
Или вражду принес? Ты взоры отвращаешь,
Меня, любовницу, оружием стращаешь...
И ты мне будешь враг!.. Ужели для вражды
Воздвигла дивный мост, посеяла цветы,
Ручьями скрасила вертеп и лес дремучий
И на пути твоем сокрыла терн колючий?
Ах, сбрось сей грозный шлем, чело дай зреть очам,
Прижмись к груди моей и к пламенным устам,
Умри на них, супруг!.. Сгораю вся тобою —
Хоть грозною меня не отклони рукою!»
Сказала. Слез ручей блестит в ее очах,
И розы нежные бледнеют на щеках.
Томится грудь ее и тягостно вздыхает;
Печаль красавице приятства умножает.
Из сердца каменна потек бы слез ручей —
Чувствителен, но тверд герой в душе своей.
Меч острый обнажил, чтоб мирт сразить ударом;
Тут, древо защитив, рекла Армида с жаром:
«Убежище мое, о варвар, ты разишь!
Нет, нет, скорее грудь несчастныя пронзишь,
Упьешься кровию твоей супруги страстной...»
Ринальд разит его... И призрак вдруг ужасный,
Гигант, чудовище явилося пред ним,
Армиды прелести исчезнули, как дым.
Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовой главою.
Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма и огня.
Все нимфы вкруг его циклопов вид прияли,
Щитами, копьями ужасно застучали.
Бесстрашен и велик средь ужасов герой!
Стократ волшебный мирт разит своей рукой:
Он вздрогнул под мечом и стоны испускает.

Пылает мрачный лес, гром трижды ударяет,
Исчадья адские явились на земле,
И серны молнии взвились в ужасной мгле.
Ни ветр, ни огнь, ни гром не ужаснул героя...
Упал волшебный мирт, и, бездны ад закроя,
Ветр бурный усмирил и бурю в облаках,
И прежняя лазурь явилась в небесах.

Между августом 1808 и первой половиной 1809

ВОСПОМИНАНИЕ[1]

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала.
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зе́ркальных водах являл весь стан и рощи:
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! О хо́лмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! в то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну. —
И буря дней моих исчезла, как мечта!..
Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
Нас сблизит с ним одно мечтанье.
Да оживлю теперь я в памяти своей
Сию ужасную минуту,

[1] Полный вариант стихотворения. — *Ред.*

Когда, болезнь вкушая люту
И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!
Но небо, вняв моим молениям усердным,
Взглянуло оком милосердным;
Я, Неман переплыв, узрел желанный край,
И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами
Спокойный домосед, земной вкушает рай,
И, шага не ступя за хижину убогу,
К себе богиню быстроногу
В молитвах не зовет!
Не слеп ко славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».
Семейство мирное, ужель тебя забуду
И дружбе и любви неблагодарен буду?
Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,
В сени домашних где богов
Усердный эскулап божественной наукой
Исторг из-под косы и дивно исцелил
Меня, борющегось уже с смертельной мукой!
Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою,
Как утешителя, как ангела небес!
На ложе горести и слез
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, хо́лмы и леса.
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви еще прелестнее весна).
Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!»

Тут, грудь ее кропя горючими слезами,
Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.

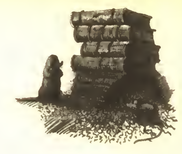
Увы, исчезло все, как прелесть сладка сна!
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..
Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу,
Воспоминания, лишь вами окрыленный,
К ней мыслию лечу,
И в час полуночи туманной,
Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею...
Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом...
«Души моей супруг!» —
Мне шепчет горний дух, —
«Там в тереме готовом
За светлою Двиной
Увижуся с тобой!..
Теперь прости»... И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

Между июлем 1807 и ноябрем 1809

КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну, зачем
На пыльном чердаке своем
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:

Ты крошки в них ума и пользы не сбираешь?»
— «Не об уме и хлопочу,
Я есть хочу».



Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист.
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

Июль или август 1809

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ВЕРГИЛИЯ

Вдали от храма муз и рощей Геликона
Феб мстительной рукой Сатира задавил[1];
Воскрес урод и отомстил:
Друзья, он душит Аполлона!

Июль или август 1809

СТИХИ Г. СЕМЕНОВОЙ

E in si bel corpo più cara venia[2].
Тасс. V песнь «Освобожденного Иерусалима»

Я видел красоту, достойную венца,
Дочь добродетельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастного слепца;

[1] Всем известна участь Марсия.
[2] В прекрасном теле прекраснейшая душа *(ит.)*.— *Ред.*

Я видел, я внимал ее сердечну стону —
И в рубище простом почтенной нищеты
Узнал богиню красоты.

Я видел, я познал ее в Моине страстной,
Средь сонма древних бард, средь копий и мечей,
Ее глас сладостный достиг души моей,
Ее взор пламенный, всегда с душой согласный,
Я видел — и познал небесные черты
Богини красоты.

О дарование, одно другим венчанно![1]
Я видел Ксению, стенящу предо мной:
Любовь и строгий долг владеют вдруг княжной.
Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно,
Я видел, чувствовал душевной полнотой
И счастлив сей мечтой!

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно съединен —
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.

6 сентября 1809

ВИДЕНИЕ НА БЕРЕГАХ ЛЕТЫ

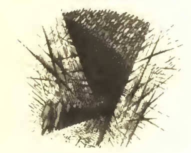
Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел странный сон!
Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек;
Изрек — и все упали мертвы,
Невинны Аполлона жертвы!
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком
В издранном шлафроке широком,

[1] Дарование поэта и актрисы.

Наг, голоден и утомлен
Упрямой рифмой к *светлу небу*.
Другой, в Цитеру пренесен,
Красу, умильную, как Гебу,
Хотел для нас насильно... петь
И пал без чувств в конце эклоги;
Везде, о милосерды боги!
Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!
Меж тем в Элизии священном,
Лавровым лесом осененном,
Под шумом Касталийских вод,
Певцов нечаянный приход
Узнал почтенный Ломоносов,
Херасков, честь и слава россов,
Самолюбивый Фебов сын,
Насмешник, грозный бич пороков,
Замысловатый Сумароков
И, Мельпомены друг, Княжнин.
И ты сидел в толпе избранной,
Стыдливо грацией венчанный,
Певец прелестныя мечты,
Между Психеи[1] легкокрылой
И бога нежной красоты;
И ты там был, наездник хилый
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов «Телемахиды»,
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков!
И ты, о мой певец незлобный,
Хемницер, в баснях бесподобный! —
Все, словом, коих бог певцов
Венчал бессмертия лучами,
Сидели там олив в тени,
Обнявшись с прежними врагами;
Но спорили еще они

[1] Психею — душу или мечту — древние изображали в виде бабочки или крылатой девы, обнявшейся с Купидоном.

О том, о сем — и не без шума
(И в рае, думаю, у нас
У всякого своя есть дума,
Рассудок свой, и вкус, и глаз).
Садились все за пир богатый,
Как вдруг Майинин сын крылатый,
Нисланный вышним божеством,
Сказал сидящим за столом:
«Сюда, на берег тихой Леты,
Бредут покойные поэты;
Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут вмиг: так Феб судил!»—
Сказал Эрмий — и силой крыл
От ада к небу воспарил.
«Ага! — Фонвизин молвил братьям,—
Здесь будет встреча не по платьям,
Но по заслугам и уму».—
«Да много ли,— в ответ ему
Кричал, смеяся, Сумароков,—
Певцов найдется без пороков?
Поглотит Леты всех струя,
Поглотит всех, иль я не я!»—



«Посмотрим,— продолжал вполгласа
Поэт, проклятый от Парнаса,—
Егда прийдут...» Но вот они,
Подобно как в осенни дни
Поблекли листия древесны,

Что буря в долах разнесла[1], —
Так теням сим не весть числа!
Идут толпой в ущелья тесны,
К реке забвения стихов,
Идут под бременем трудов;
Безгласны, бледны, приступают,
Любезных детищей купают...
И более не зрят в волнах!
Но тут Минос, певцам на страх,
Старик угрюмый и курносый,
Чинит расправу и вопросы:
«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
По счастью очень плодовитый
(Был тени маленькой ответ),
Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Вергилья,
Окоротил Алкею крылья.
Я здесь! *Сего бо хощет бог*
И долг священныя природы...»[2]
«Кто ж ты, болтун?» — «Я... Верзляков!» —
«Ступай и окунися в воды!» —
«Иду... во мне вся мерзнет кровь...
Душа... всего... душа природы,
Спаси... спаси меня, любовь!
Авось...» — «Нет, нет, болтун несчастный,
Довольно я с тобою выл!» —
Сказал ему Эрот прекрасный,
Который тут с Психеей был.
«Ступай!» Пошел, — и нет педанта.
«Кто ты?» — спросил допросчик тень,
Несущу связку фолианта.
«Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать... всё прозой, *без еров.*
Невинен я. На эту груду
Смотри, здесь тысячи листов,
Священной пылию покрытых,
Печатью мелкою убитых
И нет *ера* ни одного.

---

[1] Смотри VI песнь «Энеиды».
[2] Смотри «Тень Кука».

Да, я!..»—«Скорей купать его!»
Но тут явились лица новы
Из белокаменной Москвы.
Какие странные обновы!
От самых ног до головы
Обшиты платья их листами,
Где прозой детской и стихами
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журнал души своей,
Другой Меланию, Зюльмису,
Луну, Веспера, голубков,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Баранов, кошек и котов[1]
Воспел в стихах своих унылых
На всякий лад для женщин *милых*
(О, век железный!..). А оне
Не только въяве, но во сне
Поэтов не видали бедных.
Из этих лиц уныло-бледных
Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей,
На суд явил творенья новы.
«Кто ты?»—«Увы, я пастушок,
Вздыхатель, завсегда готовый;
Вот мой венок и посошок,
Вот мой букет цветов тафтяных,
Вот список всех красот упрямых,
Которыми дышал и жил,
Которым я насильно мил.
Вот мой баран, моя Аглая»,—
Сказал и, тягостно зевая,
Спросонья в Лету поскользнул!
«Уф! я устал, подайте стул,
Позвольте мне, я очень славен.
Бессмертен я, пока забавен».—
«Кто ж ты?»—«*Я Русский и поэт.*
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравый.
Для Русских прав мой толк кривой,
И в том клянусь моей сумой».—

[1] Это всё, даже и кошки, воспеты в Москве — ссылаюсь на журналы.

«Да кто же ты?—«Жан-Жак я Русский,
Расин и Юнг, и Локк я Русский,
Три драмы Русских сочинил
Для Русских; нет уж боле сил
Писать для Русских драмы слезны;
Труды мои все бесполезны!
Вина тому — разврат умов»—
Сказал — в реку! и был таков!
Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости бог эту даму!—
Несла уродливую драму,
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены.
«Вот мой Густав, герой влюбленный...»—
«Ага!— судья певице сей,—
Названья этого довольно:
Сударыня! мне очень больно,
Что вы, забыв последний стыд,
Убили драмою Густава.
В реку, в реку!» О, жалкий вид!
О, тщетная поэтов слава!
Исчезла Сафо наших дней
С печальной драмою своей;
Потом и две другие дамы,
На дам живые эпиграммы,
Нырнули в глубь туманных вод.
«Кто ты?»—«Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот[1]
Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!»— Иссякнул изувер

[1] Этот стих взят из сочинений Боброва, я ничего не хочу присваивать.

От взора пламенной Эгиды.
Один отец «Телемахиды»
Слова сии умел понять.
На том брегу реки забвенья
Стояли тени в изумленье
От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов»,—
Сказал, не слушая домо́дов,
Угрюмый ада судия.
«Да всех поглотит вас струя!..»
Но вдруг на адский берег дикий
Призра́к чудесный и великий
В обширном дедовском возке
Тихонько тянется к реке.
Наместо клячей запряженны,
Там люди в хомуты вложенны
И тянут кое-как, гужом!
За ним, как в осень трутни праздны,
Крылатым в воздухе полком
Летят толпою тени разны
И там и сям. По слову «Стой!»
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки.
«Кто ты? — спросил ее Минос,—
И кто сии?»— На сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты росски»,—
Сказала тень. «Но кто сии
Несчастны, в клячей превращенны?»—
«Сочлены юные мои,
Любовью к славе вдохновенны,
Они Пожарского поют
И топят старца Гермогена;
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут;
Стихи их хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски».—
«Да кто ты сам?»—«*Я также член;*
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,
Терпеньем, по́том и трудами;
Аз есмь зело *славенофил*»,—
Сказал и про́лог растворил.
При слове сем в блаженной сени

Поэтов приподнялись тени;
Певец любовныя езды
Осклабил взор *усмешкой блудной*
И рек: «О муж, умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей «Деидамии»,
Се ты! се ты!..»—«Слова пустые»,—
Угрюмый судия сказал
И в Лету путь им показал.
К реке подвинулись толпою,
Ныряли всячески в водах;
Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжищу с собою.
Один, один славенофил,
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с косматой головой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох,— она сказала,—
В обед нарочно смерть застала,
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать,
Я — вам знакомый, я — Крылов!»[1]
«Крылов, Крылов»,— в одно вскричало
Собранье шумное духóв,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый!
Здоров ли ты?»—«И так и сяк».—
«Ну, что ж ты делал?»—«Всё пустяк —
Тянул тихонько век унылый,
Пил, сладко ел, а боле спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:

[1] Крылов познакомился с духами через «Почту».

Комедии, стихотворенья
Да басни, — всё купай, купай!»
О, чудо! — всплыли все, и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.
Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!

1809

ЭПИТАФИЯ

Не нужны надписи для камня моего,
Пишите просто здесь: он был и нет его!

Конец ноября 1809

* * *

Пафоса бог, Эрот прекрасный
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь, у несчастной
Златые крылья оборвал.



«К чему ты мучишь так, жестокий?» —
Спросил я мальчика сквозь слез.
«Даю красавицам уроки», —
Сказал — и в облаках исчез.

1809

⟨П. А. ВЯЗЕМСКОМУ⟩

Льстец моей ленивой музы!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу «Лету»
В Иордан преобратил
И, смеяся, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон:
Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милый,
На́ берег реки унылой
Со стихами потащил
И *в забвенье* потопил!

Конец декабря 1809 или начало 1810

* * *

На крыльях улетают годы:
Дни наши, как, пенея, воды
Теснятся в глубине морской;
Смерть идет быстрыми стопами
И хладными уже перстами
Снег сыплет над моей главой.
Как цвет весенний вянет радость...
Итак, пускай среди друзей
Меня застанет хладна младость
В объятьях Делии моей
Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный оставляет пир,
Так я, любовью упоенный,
Усну... при сладком звуке лир.

⟨1809⟩

* * *

Приближьтесь, музы, и цветами
Почтите хладный прах его.
Приближьтесь, други, и слезами
Почтите друга своего.

С лучами розовой денницы
Приближьтесь, музы, и кошницы,
Исполненны млечных лилей,
В символ души его небесной.—
Расцвети вкруг.— Но друг прелест⟨ной⟩!
Рыдает с нами Гименей.

Утешься, плачуща вдовица!
Сия безвременна гробница,
Могила радости твоей,
Сии вокруг ее березы,
Сии в рук⟨ах⟩ поблекши розы,
Надгробья лик и плач друзей,—

Суть неизбежна дань Сатурну.
Но вера, наклонясь на урну,
Тебе вещает глас небес:
«Ничтожна жизнь и скоротеч⟨на⟩—
Награда праведника вечна
Супруг твой для тебя воскрес».

⟨1810⟩

НА ПЕРЕВОД «ГЕНРИАДЫ», ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

«Что это! — говорил Плутон,—
Остановился Флегетон
Мегера, фурии и Цербер онемели,
Внимая пенью твоему,
Певец бессмертный Габриели?
Умолкни!.. Но сему
Безбожнику в награду
Поищем страшных мук, ужасных даже аду,

Соделаем его
Гнуснее самого
Сизифа злова!»
Сказал и превратил — о ужас! — в Ослякова.

Начало 1810

СТИХИ НА СМЕРТЬ ДАНИЛОВОЙ, ТАНЦОВЩИЦЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА[1]

Вторую Душеньку или еще прекрасней,
Еще, еще опасней,
Меж Терпсихориных любимиц усмотрев,
Венера не могла сокрыть жестокий гнев:
С мольбою к паркам приступила
И нас Даниловой лишила.

Между 8 января и апрелем 1810

ОТЪЕЗД

Ты хочешь, горсткой фимиама
Чтоб жертвенник я твой почтил?
Для граций муза не упряма,
И я им лиру посвятил.

Я вижу, вкруг тебя толпятся
Вздыхатели — шумливый рой!
Как пчелы на цветок стремятся
Иль легки бабочки весной.

И Марс высокий, в битвах смелый,
И Селадон плаксивый тут,
И юноша еще незрелый
Тебе сердечну дань несут.

[1] Она представляла Психею в славном балете «Амур и Психея».

Один — я видел — все вздыхает,
Другой как мраморный стоит,
Болтун сорокой не болтает,
Нахал краснеет и молчит.

Труды затейливой Арахны,
Сотканные в углу тайком,
Не столь для мух игривых страшны,
Как твой для нас волшебный дом.

Но я один, прелестна Хлоя,
Платить сей дани не хочу
И, осторожности удвоя,
На тройке в Питер улечу.

⟨Первая половина 1810⟩

НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

Из Петрарки[1]

Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд живет, лучами опаленный,
Ни в хладном Севере для сердца нет отрад!

Всё смерть похитила, всё алчная пожрала —
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем гробовым!

Всё тщетно пред тобой — и власть и волхованья...
Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?
Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья
И слезы вечные на хладный камень лить!

[1] Сонет «Rotta è l'alta colonna é l verde lauro».

Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал,
Там пристань видел я, покой и утешенье —
И всё с Лаурою в минуту потерял!

⟨1810⟩

ВЕЧЕР

Подражание Петрарке

В тот час, как солнца луч потухнет за горою,
Склонясь на посох свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая от бремени годов,
Спешит, спешит с полей под отдаленный кров
И там, пришед к огню, среди лачуги дымной
Вкушает трапезу с семьей гостеприимной,
Вкушает сладкий сон, взамену горьких слез!
А я, как солнца луч потухнет средь небес,
Один в изгнании, один с моей тоскою,
Беседую в ночи с задумчивой луною!



Когда светило дня потонет средь морей
И ночь, угрюмая владычица теней,
Сойдет с высоких гор с отрадной тишиною,
Оратай острый плуг увозит за собою
И, медленной стопой идя под отчий кров,
Поет простую песнь в забвенье всех трудов;
Супруга, рой детей оратая встречают
И брашна сельские поспешно предлагают.
Он счастлив — я один с безмолвною тоской
Беседую в ночи с задумчивой луной.

Лишь месяц сквозь туман багряный лик уставит
В недвижные моря, пастух поля оставит,
Простится с нивами, с дубравой и ручьем
И гибкою лозой стада погонит в дом.
Игралище стихий среди пучины пенной,
И ты, рыбарь, спешишь на брег уединенный!
Там, сети приклонив ко утлой ладие
(Вот всё от грозных бурь убежище твое!),
При блеске молнии, при шуме непогоды
Заснул... И счастлив ты, угрюмый сын природы!

Но сей бледнеет там багряный небосклон,
И медленной стопой идут волы в загон
С холмов и пажитей, туманом орошенных.
О песнопений мать, в вертепах отдаленных,
В изгнанье горестном утеха дней моих,
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!

⟨1810⟩

* * *

Рыдайте, амуры и нежные грации,
У нимфы моей на личике нежном
Розы поблекли и вянут все прелести.
Венера всемощная! Дочерь Юпитера!
Услышь моления и жертвы усердные:
Не погуби на тебя столь похожую!

⟨1810⟩

ЭЛИЗИЙ

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой

В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!
А когда в сени приютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!
Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!



И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестной,
Проведет нас по цветам
В тот Элизий, где всё тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет.
Там, под тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

⟨1810⟩

МАДАГАСКАРСКАЯ ПЕСНЯ

Как сладко спать в прохладной тени,
Пока долину зной палит
И ветер чуть в древесной сени
Дыханьем листья шевелит!

Приближьтесь, жены, и, руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц,
Или, как сидя у пшеницы,
Она пугает жадных птиц.

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь,
Да всюду, с чувствами согласны,
Являют негу и любовь!

Но ветр вечерний повевает,
Уж светлый месяц над рекой,
И нас у кущи ожидает
Постель из листьев и покой.

⟨1810⟩

* * *

Известный откупщик Фадей
Построил богу храм... и совесть успокоил.
И впрямь! На всё цены́ удвоил:
Дал богу медный грош, а сотни взял рублей
С людей.

⟨1810⟩

* * *

«Теперь, сего же дня,
Прощай, мой экипаж и рыжих четверня!
Лизета! ужины!.. Я с вами распрощался
Навек для мудрости святой!»
— «Что сделалось с тобой?»
— «Безделка!.. Проигрался!»

⟨1810⟩

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет!
О милые останки,
Упрямство дедушки и ферези пробабки!
Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами!»
Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там... подвинул стул и сел играть в бостон.

⟨1810⟩

СРАВНЕНИЕ

«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
—«Нималого!»—«Большое».
— «Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
И пекся об одном желудке и покое;
Великий вождь вставал с зарей для ратных дел,
А Клит спал часто по неделе».
— «Все так! да умер он, как вождь сей... на постеле».

⟨1810⟩

ИЗ АНТОЛОГИИ

Сот меда с молоком —
И Маин сын тебе навеки благосклонен!
Алкид не так-то скромен:
Дай две ему овцы, дай ко́зу и с козлом;
Тогда он на овец прольет благословенье
И в снедь не даст волкам.
Храню к богам почтенье,
А стада не отдам
На жертвоприношенье.
По совести! Одна мне честь, —
Что волк его сожрал, что бог изволил съесть.

⟨1810⟩

К МАШЕ

О, радуйся, мой друг, прелестная Мария!
Ты прелестей полна, любови и ума,
С тобою грации, ты грация сама.
Пусть парки век прядут тебе часы златые!
Амур тебя благословил,
А я — как ангел говорил.

⟨1810⟩

СКАЛЬД

«Воспой нам песнь любви и брани,
О скальд, свидетель древних лет,
Твой меч тяжел для слабой длани,
Но глас века переживет!» —
«Отцов великих славны чада! —
Егил героям отвечал, —
Священных скальдов песнь — награда
Тому, кто в битвах славно пал:
И щит его, и метки стрелы —
Они спасут от алчной Гелы.



Ах, мне ли петь? Мой глас исчез,
Как бури усыпленный ропот,
Который, чуть колебля лес,
Несет в долины томный шепот.
Но славны подвиги отцов
Живут в моем воспоминанье;
При тусклом зарева мерцанье
Прострите взор на ряд холмов,
На ветхи стены и могилы,
Покрыты мхом, — там ветр унылый
С усопших прахом говорит;
Там меч, копье и звонкий щит
Покрыты пылью и забвенны...
Остатки храброго священны!
Я их принес на гроб друзей,
На гроб Аскара и Елои!..
А вы, о юноши-герои,
Внемлите повести моей».

Между 1809 и 1811

⟨ОТРЫВОК ИЗ XXXIV ПЕСНИ «НЕИСТОВОГО ОРЛАНДА»⟩

Увы, мы носим все дурачества оковы,
　　И все терять готовы
Рассудок, бренный дар небесного отца!
Тот — губит ум в любви, средь неги и забавы,
Тот — рыская в полях за дымом ратной славы,
Тот — ползая в пыли пред сильным богачом,
Тот — по морю летя за тирским багрецом,
Тот — золота искав в алхимии чудесной,
Тот — плавая умом во области небесной,
Тот — с кистию в руках, тот — с млатом иль с резцом.
Астрономы в звездах, софисты за словами,
А жалкие певцы за жалкими стихами:
Дурачься, смертных род, в луне рассудок твой!

Декабрь 1811

ФИЛОМЕЛА И ПРОГНА[1]

Из Лафонтена

　　Когда-то Прогна залетела
От башен городских, обители своей,
　　В леса пустынные, где пела
　　　Сиротка Филомела,
　　　И так сказала ей
　　　Болтливая певица:
　　«Здорово, душенька-сестрица!
Ни видом не видать тебя уж много лет!
　　　Зачем забыла свет?

[1] Филомела и Прогна — дочери Пандиона. Терей, супруг последней, влюбился в Филомелу, заключил ее в замок, во Фракии находящийся, обесчестил и отрезал язык. Боги, сжалившись над участию несчастных сестер, превратили Филомелу в соловья, а Прогну в ласточку.

Зачем наш край не посещала?
Где пела, где жила? Куда и с кем летала?
Пора, пора и к нам
Залетом по веснам;
Здесь скучно: все леса унылы,
И колоколен нет».—
«Ах, мне леса и милы!»—
Печальный был ответ.
«Кому ж ты здесь поешь,— касатка возразила,—
В такой дали от жила,
От ласточек и от людей?
Кто слушает тебя? Стада глухих зверей
Иль хищных птиц собранье?
Сестра! грешно терять небесно дарованье
В безлюдной стороне.
Признаться... здесь и страшно мне!
Смотри: песчаный бор, река, пустынны виды,
Гора, висяща над горой,
Как словно в Фракии глухой,
На мысль приводят нам Терееву обиды.
И где же тут покой?»—
«Затем-то и живу средь скучного изгнанья,
Боясь воспоминанья,
Лютейшего сто раз:
Людей боюсь у вас»,—
Вздохнув, сказала Филомела,
Потом —«Прости, прости!»— взвилась и улетела
Из ласточкиных глаз.

1811

НА ПОЭМЫ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра — несчастья жертвы:
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

⟨1812⟩

ПЕВЕЦ, ИЛИ ПЕВЦЫ В БЕСЕДЕ СЛАВЕНО-РОССОВ

Балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический гимн

П е в е ц

Друзья! все гости по домам!
От чтенья охмелели!
Конец и прозе и стихам
До будущей недели.
Мы здесь одни. Что делать? пить
Вино из полной чаши!
Давайте взапуски хвалить
Славянски оды наши!

С о т р у д н и к и

Мы здесь одни. Что делать? пить
Вино из полной чаши!
Мы станем взапуски хвалить
Славянски оды ваши!

П е в е ц

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья! почто покойных нет
Певцов среди Беседы?
Их вирши сгнили в кладовых,
Изглоданы мышами;
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями!
Но дух отцов воскрес в сынах!
Мы все для славы дышим;
Давно здесь в прозе и стихах
Как Тредьяковский пишем!

Ч л е н ы и С о т р у д н и к и

Мы все для славы дышим!

Певец

Чья тень парит под потолком
  Над нашими главами?
За ним, пред ним (о страх!) кругом
  Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
  Насаленном, с кудрями,
С «Телемахидою» в руке,
  С Роленем за плечами.
Почто на нас, о муж седой,
  Вперил ты страшны очи?..
Мы все клялись! клялись тобой
  С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить!
  Мы все с рассудком в споре.
Для славы будем пить и жить!
  Нам по колено море!



Члены

Напьемся пьяны Музам в дань,
  Как пили наши деды!
Рассудку гибель, вкусу брань,
  Хвала сынам Беседы!
Пусть Ломоносов был умен
  И нас еще умнее,
За пьянство стал бессмертен он!
  А мы... его пьянее!

Члены и Сотрудники

Для славы будем жить и пить!
  Врагам беда и горе!

На что рассудок нам щадить?
Нам по колено море!

Певец

Друзья! большой бокал отцов
За лавку Глазунова!
Там царство вечное стихов
Шихматова лихова!
Родного крова милый свет!
Знакомые подвалы!
Златые игры первых лет,
Невинны мадригалы,
Что вашу прелесть заменит?
О лавка дорогая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!..

Члены

Там все знакомо для певцов!
Там наши детки милы!
Кладби́ще мирное стихов,
Бумажные могилы!
Там царство тленья и мышей!
Там — Николев почтенный,
И древний прах календарей,
И прах газет священный!

Певец

Да здравствует Беседы царь
Сумбур, твоя держава!
Бумажный трон твой наш алтарь,
Пред ним обет наш, слава!
Не изменим! мы от отцов
Прияли глупость с кровью!
Сумбур, здесь сонм твоих сынов!
К тебе горим любовью!
Наш каждый ратник Славянин,
Галиматьею дышит!
Бежит предатель сих дружин
И галлицизмы пишет!

Члены и Сотрудники

Наш каждый ратник Славянин,
Галиматьею дышит!

Бежит предатель сих дружин
И галлицизмы пишет!

Певец

Тот наш, кто день и ночь кадит
И нам молебны служит;
Пусть публика его бранит,
Но он о том не тужит!
За нас стоит гора-горой!
В Беседе не зевает,
Прямой сотрудник, брат прямой,
И в брани помогает!

Члены

Хвала тебе, Славенофил,
О муж неукротимый,
Ты здесь рассудок победил
Рукой неутомимой!
О сколь с наморщенным челом
В Беседе ты прекрасен!
Сколь холоден перед столом
И критикам ужасен!
Упрямство с ним старинных лет.
Хвала седому деду!
Друзья! он, он родил на свет
Славенскую Беседу!

Члены и Сотрудники

Друзья! он, он родил на свет
Славенскую Беседу!

Сотрудники

Он нас, сироток, воскормил.

Потемкин

Меня читать он учит.

Жихарев

Моих он Бардов похвалил.

Шихматов

Меня в Пиндары крючит!

Хвала тебе, о дед седой!
Хвала и многи лета!
Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клеврет
Шихматов безглагольный,
Как ты, Славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный! —
Хвала тебе, о Шаховской,
Холодных шуб родитель,
Отец талантов, муж прямой,
Ежовой покровитель! —
Телец упитанный у нас,
О ты, болван болванов,
Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов! —
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый!
Стихи твои как барабан
Для слуха нестерпимы,
Везде с стихами — тут и там!
Везде ты волком рыщешь!
Пускаешь притчу в тыл врагам,
Стихами в уши свищешь!
Лишь за поэму — прочь идут,
За оду — засыпают,
Лишь за посланье — все бегут
И уши затыкают! —
Друзья! вишневки поскорей
И выпьем в честь Весталки!
У ней давно семья детей
И детки — очень жалки!
Сегодня оду в свет родит,
А завтра — снова бремя!
Ей перья сам Шишков чинит
От дел в досужно время.
За ней есть много дев других;
Все взапуски плодятся:
Но диво в том, что чада их
Полмертвые родятся.
Хвала, псаломщик наш, старик

Захаров преложитель!
Ревет он, аки вол иль бык,
Лугов пустынных житель.
Хвала тебе, протяжный Львов,
Ковач речений смелый!
И Палицын, гроза чтецов,
В Поповке поседелый!
Хвала, наш пасмурный Гарвей,
Обруганный Станевич,
И с Польской Музою своей
Холуй Анастасевич!

Члены

Друзья! широкий ковш пивной
За здравье Соколова!
Он, право, чтец у нас лихой
И создан для Хвостова!
В его устах стихи ревут,
Как волны пеной плещут:
От грома их невольно тут
Все барыни трепещут!
Хвала тебе, о наш Дьячок,
Бездушный Политковской!
Жуешь, гнусишь — и вдруг стишок
Родишь Варягоросской!
. . . .
. . . .
Их груди каменной хвала!
Хвала скулам железным!

Члены и Сотрудники

Их груди каменной хвала,
Хвала скулам железным!
Но месть тому, кто нас бранит
И пишет эпиграммы,
Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы!

Певец-Сеид

Сей кубок мщенью! други, в строй!
И мигом перья в длани!
Сразить иль пасть, наш роковой
Обет в чернильной брани!

Вотще свои, о Карамзин,
Ты издал сочиненья;
Я, я на Пинде властелин
И жажду лишь отмщенья!

Члены и Сотрудники

Нет Логики у нас в домах,
Грамматик не бывало.
Мы Пролог в руки — гибни враг
С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней —
Рассудок или мщенье!
Пришлец! мы в родине своей.
За глупых — Провиденье!

Певец

Друзья! прощанью сей стакан!
Уж свечки погасили:
Пробили зорю в барабан
И к завтрене звонили.
Пора домой! Пора ко сну!..
От хмеля я шатаюсь!..

Хвостов

Дай, басню я прочту одну
И после распрощаюсь!—

Все

Ах нет, домой, друзья, домой!
Чу!.. петухи пропели!
Прощай, Шишков, наш дед седой,
Прощай — мы охмелели;
Но ты нас в путь благослови!
А вы, друзья — лобзанья!
В завет и верныя любви
И нового свиданья!

Первая половина марта 1813

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НЕМАН 1 ЯНВАРЯ 1813 ГОДА

(Отрывок из большого стихотворения)

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод и берег опустелый
И на брегу покинутые села
Туманный месяц озарял.
Всё пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги.
И всюду тишина... И се, в пустой дали
Сгущенных копий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и брони,
И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена́, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигли Немана — и копья водрузили.
Из снега возросли бесчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Всё небо заревом багровым обложили.
И в стане царь младой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий сединами
И бранной в старости красой.

⟨1813⟩

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:

Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без бального наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут.
Там муж с супругой нежной
В час отдыха от дел
Под кров свой безмятежный
Муз к грациям привел.
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты,
Которые от Леты
Спасли бы образцов,
Когда бы сам Крылов
И Гнедич сочиняли,
Как пишет Тянислов
Иль Балдусы писали,
Забыв и вкус, и ум.
Но мы забудем шум
И суеты столицы,

Изладим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютино с тобою.
Согласны? — По рукам!

Между летом 1812 и летом 1814

‹ХОР ЖЕН ВОИНОВ ИЗ «СЦЕН ЧЕТЫРЕХ ВОЗРАСТОВ»›

О верные подруги!
Свиданья близок час.
Спешат, спешат супруги
Обнять с любовью нас.



Уже, веселья полны,
Летят чрез сини волны...
Свиданья близок час!
По суше рьяны кони
Полки героев мчат.
Звенят златые брони,
В руке блестит булат;
Шеломы их блистают,
Знамена развевают...
Свиданья близок час!

Июль 1814

НОВЫЙ РОД СМЕРТИ

За чашей пуншевой в политику с друзьями
Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор.
Одомаратели все сделались судьями,
И каждый прокричал свой умный приговор,
Как ныне водится, Наполеону:
«Сорвем с него корону!»—
«Повесим!»—«Нет, сожжем!»—
«Нет, это жестоко... в Каэну отвезем
И медленным отравим ядом».—
«Очнется!»—«Как же быть?»—«Пускай истает гладом!»—
«От жажды!..»—«Нет!— вскричал насмешливый Филон.—
Нет! с большей лютостью дни изверга скончайте!
На Эльбе виршами до смерти зачитайте,
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!»

Между маем и октябрем 1814

⟨ЭЛЕГИЯ⟩[1]

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз.
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный из недра ярых волн,
На берег дикий и кремнистый
Встает и с ужасом разбитый видит челн,

[1] Полная редакция стихотворения.— *Ред.*

Валы ревущие и молнии змиисты,
Объявшие кругом свинцовый небосклон;
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...—
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последний сердца друг!
Опора сладкая, надежда, утешенье
Средь вечных скорбей и недуг!
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости творца.
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль гибели, иль славного венца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях:
И в мире и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною;
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою
И Сейна по цветам льет сребряный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен,
Я пенье забывал волшебное сирен
И мыслил о тебе лишь в горести сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные и в дикости своей,
О камни Швеции, пустыни скандинавов,
Обитель древняя и доблестей и нравов!
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальные скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков
Сквозь тонки, утренни туманы
На зéркальных водах пустынной Троллетаны.

Исполненный всегда единственно тобой,
С какою радостью ступил на брег отчизны!
«Здесь будет,— я сказал,— душе моей покой,
Конец трудам, конец и страннической жизни».
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

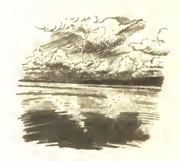
Нет, нет! Мне бремя жизнь! Что в ней без упованья?
Украсить жребий твой
Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами,
Признательность твою и счастье находить
В речах, в улыбке, в каждом взоре,
Мир, славу, суеты протекшие и горе,
Всё, всё у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!
Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви — без идолов моих?..
И муза, сетуя, без них
Светильник гасит дарованья.

⟨Вторая половина 1815⟩

* * *

У Волги-реченьки сидел
    В кручинушке, унылый,
Солдат израненный и хилый.
Вздохнул, на волны поглядел
    И песенку запел:

— Там, там в далекой стороне
Ты, родина святая!
Отец и мать моя родня,
Вас не увидеть боле мне
    В родимой стороне.



О, смерть в боях не так страшна,
    Как страннику в чужбине,
Там пуля смерть, а здесь в кручине
Томись без хлеба и без сна,
    Пока при⟨дет⟩ она.

Куда летите, паруса? —
    На родину святую.
Зачем вы, пташки, в цепь густую,
Зачем взвились под небеса? —
    В родимые леса.

Все в родину летит свою,
А я бреду насилу,
Сквозь слезы песенку унылу
Путем-дорогою пою
Про родину мою.

Несу котомку на плечах,
На саблю подпираюсь,
Как сиро⟨тино⟩чка⟨?⟩ скитаюсь
В лесах дремучих и песках,
На волжских берегах.

Жена останется вдовой,
А дети сиротами,
Вам сердце молвит: за горами,
В стране далекой и чужой,
Знать, умер наш родной.

Зачем, зачем, ре⟨ка⟩ Дунай
Меня не поглотила!
Зачем ты, пуля, изменила
. . . .

⟨1816 или 1817⟩

⟨НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ П. А. ВЯЗЕМСКОГО⟩

Кто это, так насупя брови
Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любови!

9 марта 1817

⟨С. С. УВАРОВУ⟩

Среди трудов и важных муз,
Среди учености всемирной
Он не утратил нежный вкус;
Еще он любит голос лирный,
Еще в душе его огонь,

И сердце наслаждений просит,
И борзый Аполлонов конь
От муз его в Цитеру носит.
От пепла древнего Афин,
От гордых памятников Рима,
С развалин Трои и Солима,
Умом вселенной гражданин,
Он любит отдыхать с Эратой,
Разнообразной и живой,
И часто водит нас с собой
В страны Фантазии крылатой.
Ему легко: он награжден,
Благословен, взлелеян Фебом;
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

Вторая половина 1817

⟨П. А. ВЯЗЕМСКОМУ⟩

Я вижу тень Боброва:
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С заразой и с чумой;
Сугубым вздором дышит
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи,
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает
На гибель для певцов;
Им дышит граф Хвостов,
Шахматов оным дышит,
И друг твой, если пишет
Без мыслей кучу слов.

⟨1817?⟩

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ

1

В обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слез,
И вопль отчаянья над хладною могилой,
И горсть, как ты, минутных роз!
Ах! тщетно все! Из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени;
Добычу не отдаст завистливый Аид.
Здесь онемение, все хладно, все молчит,
Надгробный факел мой лишь мраки освещает...
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, что краса так рано погибает!
Но ты, о мать-земля! с сей данью горьких слез
Прими почившую, поблеклый цвет весенний,
Прими и успокой в гостеприимной сени!

2

Свидетели любви и горести моей,
О розы юные, слезами омоченны!
Красуйтесь в венках над хижиной смиренной,
Где милая таится от очей!
Помедлите, венки! еще не увядайте!
Но если явится,— пролейте на нее
Все благовоние свое
И локоны ее слезами напитайте.
Пусть остановится в раздумьи и вздохнет.
А вы, цветы, благоухайте
И милой локоны слезами напитайте!

3

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все — развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

4

ЯВОР К ПРОХОЖЕМУ

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял... но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен
И пепел твой любил, оставшись на земли.

5

Где слава, где краса, источник зол твоих?
Где стоны шумные и граждане счастливы?
Где зданья пышные и храмы горделивы,
Мусия, золото, сияющие в них?
Увы! погиб навек, Коринф столповенчанный!
И самый пепел твой развеян по полям.
Все пусто: мы одни взываем здесь к богам.
И стонет Алкион один в дали туманной!

6

«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!»
— «Могу ль надеяться?» — «Чего?» — «Ты понимаешь!»
— «Не время!» — «Но взгляни: вот золото, считай!»
— «Не боле? Шутишь! Так прощай».

7

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье,
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любови наслажденье!

8

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры,
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?»
— «Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь».

9

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой.
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.

10

Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
Родят в тебе не чувство состраданья, —
Жестокую улыбку на устах...
Вот горькие плоды любови страстной,
Плоды ужасные мучений без отрад,
Плоды любви, достойные наград,
Нет участи для сердца столь ужасной...
Увы! как молния внезапная небес,
В нас страсти жизнь младую пожирают
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают.
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности, и счастия дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь,
Как был, или еще бодрее и моложе.

11

Улыбка страстная и взор красноречивый,
В которых вся душа, как в зеркале, видна,
Сокровища мои... Она
Жестоким Аргусом со мной разлучена!
Но очи страсти прозорливы:
Ревнивец злой, страшись любви очей!
Любовь мне таинство быть счастливым открыла,
Любовь мне скажет путь к красавице моей,
Любовь тебя читать в сердцах не научила.

12

Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылый.
Я вяну и еще мучения терплю:
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну, но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так, жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает

И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

13

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

Между маем 1817 и началом 1818

К ТВОРЦУ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Когда на играх Олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушал, —
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид!
Любимый отрок аонид,
Надежда крови благородной!
С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!
И я так плакал в восхищеньи,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиленьи...
Пускай талант — не мой удел!
Но я для муз дышал не даром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

Между июлем и сентябрем 1818

КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ

(при получении от него в подарок книги, им переведенной)

Чем заплачу вам, милый князь,
Чем отдарю почтенного поэта?
Стихами? Но давно я с музой рушил связь
И без нее кругом летаю света,
С востока к западу, от севера на юг —
Не там, где вы, где граций круг,
Где Аполлон с парнасскими сестрами,
Нет, нет, в стране иной,
Где ввек не повстречаюсь с вами:
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,
«В картузе с козырьком, с небритыми усами»,
Как Пушкина герой,
Воспетый им столь сильными стихами.
Такая жизнь для мыслящего — ад.
Страданий вам моих не в силах я исчислить.
Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад.
Где ж время чувствовать и мыслить?
Но время, к счастью, есть любить
Друзей, их славу и успехи
И в дружбе находить
Неизъяснимые для черствых душ утехи.
Вот мой удел, почтенный мой поэт:
Оставя отчий край, увижу новый свет,
И небо новое, и незнакомы лица,
Везувий в пламени и Этны вечный дым,
Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим
И прах, священный прах всемирныя столицы.
Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменясь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

11 сентября 1818

* * *

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

Май или июнь 1819

* * *

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них — не знаю.

Июль или август 1819

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ МАЛЫШЕВОЙ

О! милый гость из отческой земли!
Молю тебя: заметь сей памятник безвестный:
Здесь матерь и отец надежду погребли;

Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

Январь 1820

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

1

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурной царь пустыни,
О солнце! чудно ты среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

2

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

3

Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он уединен, осанист и свободен.

4

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет, —
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

5

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
За море жизни треволненной?
Не буди горд: и в ветр попутный опусти
Свой парус, счастием надменный.
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр!
Будь в счастьи — Сципион, в тревоге брани — Петр.

6

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед, или гибель... иль венец.

Июнь 1821

ПОДРАЖАНИЕ АРИОСТУ

La verginella è simile alla rosa[1].

Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сению надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов,
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

⟨1821⟩

[1] Девушка подобна розе *(ит.)*. — *Ред.*

⟨ОТРЫВОК ИЗ ШИЛЛЕРОВОЙ ТРАГЕДИИ «DIE BRAUT VON MESSINA» («МЕССИНСКАЯ НЕВЕСТА»)⟩

Донна Изабелла, дон Эммануил и дон Цезарь (ее дети)

Д. Изабелла

(выступая с сынами)

Приникни с горней высоты,
Заступница печальных смертных,
И сердце удержи мое
В границах должного смиренья!
Я матерь: в радости могу,
Взирая на сынов, забыться
И жертвой гордости упасть.
Ах, в первый жизни раз
Их совокупно обнимаю;
До сей минуты вожделенной
Таила в сердце глубоко
Горячность верную к сынам,
Равно для матери бесценным!
В объятьях одного другой
Мне должен был казаться мертвым;
Два сына мне дала судьба,
Но сердце, их любить, одно...
Ах, дети, молвите: могу ли
Вас обоих равно обнять
В восторгах радости безмерной!
(*К д. Эммануилу*)
Не раню ль ревность я твою,
Сжимая Цезареву руку?
(*К д. Цезарю*)
Скажи, обидели ль тебя
Любви моей ко брату знаки?
Я трепещу: моя любовь
В вас злобы пламень раздувает!

Чего мне ждать? Вещайте, дети!
С какою мыслию стеклись?
Иль древняя вражда воспрянет,
Непримиримая и здесь,
В дому родителей священном?
Или за прагом меч и нож
И гнев, скрежещущий зубами,
Вас ожидают, несчастливцы?
Что шаг от матери, то смерть,
Что шаг, то новы преступленья!

Хор

Мир или злоба? Жребий не вынут;
Скрыто глубоко, что будет, от нас:
Меч иль оливу братья отринут —
Мы не трепещем и станем за вас!

Д. Изабелла

Какие злобны восклицанья!
Что мужи бранные хотят?
Или войну готовят здесь
У алтарей гостеприимных?
К чему мечи, когда с любовью
Здесь матерь обняла детей?
Или в объятиях ее
Страшитесь адския измены
И змий-предателей?.. Враги —
Так, не друзья — толпы наемных,
Слепые слуги мести вашей,
Раздор несущи по следам!
Нет, не друзья, не верьте им:
Не молвят доброго совета!
Одна боязнь и вечный страх
Куют им раболепны руки,
Всегда готовые на зло.
Вы научитесь, дети, знать
Сей род и низкий и строптивый:
Он кровожадный власти червь,
Он силы тайный поядатель!
О дети, сколь опасен мир.
Он полон лести и лукавства.
Какие узы прочны здесь?

Где постоянны человеки,
Поклонники корысти бренной?
Природа лишь одна верна
На якоре своем нетленном,
И счастлив тот, кому дает
Сопутником в сей жизни брата!

Хор

Други, вещала вам правду она!
Ей вся открыта сердец глубина,
Мы же, как снасти лишенные челны,
Летим на погибель в житейские волны!

Д. Изабелла
(К д. Цезарю)

О ты, прижавший меч во длани,
Склонивший ниц ревнивый взор,
Воззри окрест и будь судья:
Кто брату красотой подобен?
(К д. Эммануилу)
Ответствуй мне: из сей толпы
Кто Цезаря затмит красою?
Вы оба, юноши, равно
Наделены рукой природы.
Молю, воззрите на себя,
Уверьтесь в истине очами!
Из тысячи твоя рука
Его, как друга бы, прижала
И братом сердце нарекло!
О, ослепление страстей,
Плод ревности и злости адской!
Когда судьбина в колыбели
Друг другом наделила вас,
Забыв родства и крови узы
В кипящих, как волкан, страстях,
К ногам повергнув дар природы,
Клевретов нарекли друзьями,
Врагам любовью поклялись!

Д. Эммануил

О, выслушай меня!

Д. Цезарь
(вступая в речь)

Дай слово
Мне молвить, матерь...

Д. Изабелла

Нет!
Слова не укротят вражды:
Здесь месть с обидою взаимны,
Здесь ненависть таится глубоко.
Кто знает, где огонь сей адский,
Объявший пламенем сердца,
Огонь ужасный, сокровенный,
Одетый лавой древних дней?
Обида с юной жизни здесь
Растет, мужает беспрестанно,
И муж за юношу — нам враг!
Увы, от младости безумной
Вы, братья, дышите на зло!
Лета б должны обезоружить
Враждующих. Воззрите вспять:
Где ненависти первой семя?
Среди гремушек, детских игр
И лепетания младенцев,
Там зла виновное начало,
Там горести источник вечный!
Но устыдитеся, вы — мужи!

(Берет обоих за руки.)

Желанный мною час настал!
Сойдитесь, милые! Решитесь
Вины взаимные забыть!
В душе великой, благородной
Прощенье выше всех побед.
В могилу древнего отца
Повергните вражды ехидну,
Готовую известь безумных;
Любви и миру дайте жизнь
И обновитеся сердцами!

(Отступает шаг назад, как будто желая дать место братьям приблизиться взаимно; но они оба неподвижны, взоры их устремлены в землю.)

Хор

Братья, почтите матери волю!
Слово святое вам зарекла:
Кончить година мести и зла.
Братья, иль снова к ратному полю?
Слепо мы делим ваши судьбы:
Вы — властелины, мы же — рабы.

Д. Изабелла
(в молчании, несколько минут напрасно ожидая примирения братьев, говорит с чувством глубокой горести)

Довольно! силу слов
И заклинаний истощила!
В могиле тот, кто мог владеть
Строптивыми сынов сердцами.
Что я? Увы, печальная вдова!
Мой глас — бессильный глас молитвы!
Довольно! Полная свобода:
Отдайтесь демону вражды
На гнев, на новые обиды!
Чего стыдиться вам? Жены,
Сих стен, сих алтарей безмолвных?
Под сенью их, где ваши колыбели
На радость некогда стояли,
Братоубийством осквернитесь.
Облейтесь кровию своей
И грудь на грудь, в неистовом пылу,
Как Полиник, как Этеокл проклятый,
Друг друга задушите вы
В объятиях, достойных ада...[1]

Хор

О, ужас, что матерь вам здесь зарекла!
Годину печали, тревоги и зла,
А в жизни грядущей и скрежет и муки!
Да будут же чисты от гибели руки,
Да с миром вас примет родителей дом!
Смиритесь, о братья, есть на небе гром!

[1] Здесь нескольких стихов не достает.— *Прим. П. А. Вяземского.*

Д. Цезарь
(не смотря на брата)

Ты — старший брат, начни же речь,
Я отвечать тебе готов!

Д. Эммануил
(в подобном положении)

Сам молви ласковое слово,
Ты — младший, дай любви пример!

Д. Цезарь

Не потому, что я виновен
Иль брата старшего слабей?

Д. Эммануил

Всем доблесть рыцаря известна:
Ты скромен, следственно, не слаб.

Д. Цезарь

Или так мыслишь ты о брате
Воистину?

Д. Эммануил

Не знаю лжи;
Как ты, душою выше чванства.

Д. Цезарь

Презренья не могу снести;
Но ты в пылу жестокой распри
О брате низко не вещал!

Д. Эммануил

Моей ты смерти не алкал.
Я знаю: ты казнил монаха,
Что мне готовил тайно яд.

Д. Цезарь

О, если б брата прежде знал!
Что было... верно б не случилось!

Д. Эммануил

Не зная сердца твоего,
Я матерь горестно обидел.

Д. Цезарь

Ты мне жестоким был описан.

Д. Эммануил

Несчастие: князей клевреты
Владеют тайно их душой!

Д. Цезарь
(быстро)

Всему виновники они...

Д. Эммануил

Два сердца разлучивши злобой...

Д. Цезарь

Наветом, хитрой клеветой...

Д. Эммануил

И ядом лести и коварства...

Д. Цезарь

Питая яростную рану...

Д. Эммануил

Нас сделали рабами их...

Д. Цезарь

Игралищем страстей чужих.

Д. Эммануил

Так, правда! чуждый друг неверен!

Д. Цезарь

Опасный: матерь нам вещала.

Д. Эммануил

Так дай же руку, милый брат!

Д. Цезарь

Она твоя навеки, брат!

Д. Эммануил

Чем боле на тебя смотрю,
Тем боле, с сладким удивленьем,
Сретаю матери черты...

Д. Цезарь

Вглядись, как сходен ты со мной:
Бесценное для брата сходство!

Д. Эммануил

Ты ль это, брат? Твои ли речь
И ласки к младшему, скажи?

Д. Цезарь

Ты ль это, юноша прелестный,
Столь злобный некогда мне враг?

Д. Эммануил

Как права, требуя коней
Из славного отца наследства,
Ты рыцаря прислал за ними,
И я дал рыцарю отказ.

Д. Цезарь

Они твои, не мыслю боле...

Д. Эммануил

Нет! нет! твои — и колесница...
Прими как брата первый дар!

Д. Цезарь

Приму, но ты сей твердый замок,
Воздвигнутый над морем шумным,
Вражды источник обоюдный,
Прими как дань любви моей!

Д. Эммануил

Я не приму, но вместе там
Как братья станем жить отныне!

Д. Цезарь

Ты прав, к чему добром делиться,
Когда два сердца заодно?

Д. Эммануил

Союзом будем мы сильнее;
Против врагов, против судьбины
Нам дружба неизменный щит!

Д. Цезарь

Отныне мой ты стал навеки!

Хор

Но что мы, клевреты, стоим в неприязни?
Примеры благие дают нам князья;
Сомкнем же десницы без низкой боязни
И будем отныне навеки друзья!

⟨1821⟩

* * *

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

Начало ноября 1821

* * *

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

⟨1821⟩

Статьи





РЕЧЬ
О ВЛИЯНИИ ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ НА ЯЗЫК,

читанная при вступлении
в «Общество любителей русской словесности»
в Москве. Июля ... 1816

Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, милостивые государи, вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые труды и малейшие успехи; ибо имеете в виду важную цель: будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию гражданскою, с просвещением, и следственно — с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не имею права заседать с вами; но если усердие к словесности есть достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования языка нашего, единственно по любви моей к поэзии, я могу смело сказать, что выбор ваш соответствует цели общества. Занятия мои были маловажны, но беспрерывны. Они были пред вами красноречивыми свидетелями моего усердия и доставили мне счастье заседать в древнейшем святилище Муз отечественных, которое возрождается из пепла вместе с столицею царства русского и со временем будет достойно ее древнего величия.

Обозревая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих; но утешаюсь мыслию, что успехи и в малейшей отрасли словесности могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое

искусство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и гражданское требует великих усилий ума, высокого и пламенного воображения. Счастливы те, которые похищают пальму первенства в сих родах: имена их становятся бессмертными; ибо счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества. Особенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и необработанный. Ломоносов тому явный пример. Он преобразовал язык наш, созидая образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людскостию. Но Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и тремя трагиками, велеречием историков своих, убедительным и стремительным красноречием Демосфена: но Вион, Мосх, Симонид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны современниками. Римляне, победители греков оружием, не талантом, подражали им во всех родах: Цицерон, Вергилий, Гораций, Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, потомки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением; но эротическую музу Катулла, Тибулла и Про-

перция не отвергали. По возрождении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великолепного наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, исполненной воображения и неги. Маро, царедворец Франциска I, известный по эротическим стихотворениям, был один из первых образователей языка французского, которого владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец Захариссы, в Германии Гагедорн и другие писатели, предшественники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертвовать грациям и говорить языком страсти и любви, любимейшим языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением,— Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским. По следам сих поэтов, множество писателей отличились в этом роде, по-видимому столь легком, но в самом деле имеющем великие трудности и преткновения, особенно у нас; ибо язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающие даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением.

Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть недостатки и неровности слога, и с жадностию внимает вдохновенному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время представления какой холодный зритель будет искать ошибок в слоге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но сии ошибки, поучительные для дарования, замечает просвещенный критик в тишине своей учебной храмины: каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно

блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом, в каком бы то ни было роде.

Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии восприял у нас начало со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их предшественников были маловажны: язык и общество еще не были образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, которая менее или более принадлежит к важным родам: но заметим, что на поприще изящных искусств, подобно как и в нравственном мире, ничто прекрасное и доброе не теряется, приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами воображения; басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых остроумные, счастливые стихи сделались пословицами, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света, и редкий талант; стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей; горацианские оды Капниста; вдохновенные страстью песни Нелединского; прекрасные подражания древним Мерзлякова; баллады Жуковского, сияющие воображением,

часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; стихотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напитанного чтением древних и германских писателей; наконец, стихотворения Муравьева, где изображается, как в зеркале, прекрасная душа его; послания кн⟨язя⟩ Долгорукова, исполненные живости, некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благородным[1],— все сии блестящие произведения дарования и остроумия менее или более приближались к желанному совершенству, и все — нет сомнения — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют глубокие и обширные озера: благодетельные воды сии не иссякают от времени; напротив того, они возрастают и увеличиваются с веками, и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой!

В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спаслось от общего забвения. Главною тому причиною можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но изменение самого общества; большую его образованность и, может быть, большее просвещение, требующие от языка и писателей большего знания света и сохранения его приличий: ибо сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом. Большая часть писателей, мною названных, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; так заимствовали они эту людскость и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных авторов,

[1] Смотри примечание А.

иные древних, другие новейших, и запаслись обильною жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к лучшему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею сказать, боготворят свое искусство, как лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на земле — мечту прелестную для душ возвышенных!

Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство не любит и старается ограничить наслаждения ума. Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе писателей и готова ему подать полезные советы: она, как говорит поэт, готова обнять

В отважном мальчике грядущего поэта!

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее цель! Вы, милостивые государи, являете прекрасный пример, созывая дарования со всех сторон, без лицеприятия, без пристрастия. Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою

военною, успехи ума с успехами оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим сестрам своим, и алтарь вкуса обогащается их взаимными дарами.

И когда удобнее совершить желаемый подвиг? В каком месте приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного!

Так! с давнего времени все благоприятствовало дарованию в Университете московском, в старшем святилище муз отечественных. Здесь пламенный их любитель с радостью созерцает следы просвещенных и деятельных покровителей. Имя Шувалова, первого мецената русского, сливается здесь с громким именем Ломоносова. Между знаменитыми покровителями наук мы обретаем Хераскова: творец «Россияды» посещал сии мирные убежища; он покровительствовал сему рассаднику наук; он первый ободрял возникающий талант и славу писателя соединил с другою славою, не менее лестною для души благородной, не менее прочною,— со славою покровителя наук. Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах университета, которому в молодости был обязан своим образованием[1]. Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества он приобрел сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы: за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели,— ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних; редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики для разлития практической и умозрительной мудрос-

[1] Смотри примечание В.

ти, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером. Вы наслаждались его беседою; вы читали в глазах его живое участие, которое он принимал в успехах и славе вашей; вы знаете все заслуги сего редкого человека... и — простите мне несколько слов, в его воспоминание чистейшею благодарностию исторгнутых! — я ему обязан моим образованием и счастием заседать с вами, которое умею ценить, которым умею гордиться.

И этот человек столь рано похищен смертию с поприща наук и добродетели! И он не был свидетелем великих подвигов боготворимого им монарха и славы народной! Он не будет свидетелем новых успехов словесности в счастливейшие времена для наук и просвещения: ибо никогда, ни в какое время обстоятельства не были им столько благоприятны. Храм Януса закрыт рукою Победы, неразлучной сопутницы монарха. Великая душа его услаждается успехами ума в стране, вверенной ему святым провидением, и каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награждается. В недавнем времени, в лице славного писателя, он ободрил все отечественные таланты: и нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностию благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, известного и в странах отдаленных, и которым должно гордиться отечество. Правительство благодетельное и прозорливое, пользуясь счастливейшими обстоятельствами — тишиною внешнею и внутреннею государства, — отверзает снова все пути к просвещению. Под его руководством процветут науки, художества и словесность, коснеющие посреди шума военного; процветут все отрасли, все способности ума человеческого, которые только в неразрывном и тесном союзе ведут народы к истинному благоденствию, и славу его делают прочною и незыблемою. Самая поэзия, которая питается учением, возрастает и мужает наравне с образованием общества, поэзия принесет зрелые плоды и доставит новые наслаждения душам возвышенным, рожденным любить и чувствовать изящное. Общество примет живейшее участие в успехах ума —

и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного гражданина. В ожидании сего счастливого времени мы совершим все, что в силах совершить. Деятельное покровительство блюстителей просвещения, которым сие общество обязано существованием; рвение, с которым мы приступаем к важнейшим трудам в словесности; беспристрастие, которое мы желаем сохранить посреди разногласных мнений, еще не просвещенных здравою критикою: все обещает нам верные успехи; и мы достигнем, по крайней мере приближимся к желаемой цели, одушевленные именами пользы и славы, руководимые беспристрастием и критикою.

ПРИМЕЧАНИЯ

А. Похвала или порицание частного человека не есть приговор общественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь некоторую смелость, чтобы порицать дурное в словесности; но едва ли не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы.

В. *Добро никогда не теряется,* особливо добро, сделанное Музам: они чувствительны и благодарны. Они записали в скрижалях славы имена Шувалова, графа Строганова и графа Н. П. Румянцева, который и поныне удостоивает их своего покровительства. Какое доброе сердце не заметит с чистейшею радостью, что они осыпали цветами гробницу Муравьева? Ученый Рихтер, почтенный сочинитель Истории медицины в России, в прекрасной речи своей, говоренной им в Московской медико-хирургической академии, и г. Мерзляков, известный профессор Московского университета, в предисловии к вергилиевым Эклогам упоминали о нем с чувством, с жаром. Некоторые стихотворцы, из числа их г. Воейков в послании к Эмилию, и г. Буринский, слишком рано похищенный смертию с поприща словесности, говорили о нем в стихах своих. Последний, оплакав кончину храброго генерала Глебова, продолжает:

> О Провидение! Роптать я не дерзаю!..
> Но — слабый — не могу не плакать пред тобой:
> Там в славе, в счастии злодея созерцаю,
> Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!
> Слез горестных поток еще не осушился,

Еще мы... Злобный рок навеки нас лишил
Того, кто счастием Парнаса веселился.
. . . .
Где ты, о Муравьев! прямое украшенье,
Парнаса русского любитель, нежный друг?
Увы! зачем среди стези благотворенья,
Как в добродетелях мужал твой кроткий дух,
Ты рано похищен от наших ожиданий?
Где страсть твоя к добру? сей душ избранных дар?
Где рано собранно сокровище познаний?
Где, где усердия в груди горевший жар
Служить Отечеству, сияя средь немногих
Прямых его сынов, творивших честь ему?
Любезность разума и прелесть нравов кротких —
Исчезло все!.. Увы!.. Честь праху твоему!

Первая половина 1816

НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ

Поэзия — сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой — сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности — поэзия нередко составляет и муку и услаждение людей, единственно для нее созданных. *Вдохновением гения тревожится поэт,* сказал известный стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и, более всех, поэту: ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои, в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы

образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы — суть сокровища истинные... «Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою»,— говорил Монтань; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костра, зажженных суеверием, писал «Опыты» свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников.

Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный — рдеется, закипает и клокочет: снятый с огня, в одну минуту успокаивается и упадает. Вот прекрасное изображение поэта, которого вся жизнь должна приготовлять несколько плодотворных минут: все предметы, все чувства, все зримое и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные минуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута поэзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, владеющих языком богов.

Люди, счастливо рожденные, которых природа щедро наделила памятью, воображением, огненным сердцем и великим рассудком, умеющим давать верное направление и памяти и воображению,— сии люди имеют без сомнения дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека; ибо посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на него сильное влияние. Без него не было бы ничего продолжительного, верного, определенного; и то, что мы называем бессмертием на земле, не могло бы существовать. Веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают, но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы почерпаем истины утешительные или печальные! что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее — искусство выражения.

Сей дар выражать и чувства и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека.*

Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику;* одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым научаемся избегать ошибок; но как творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь. Talis hominibus fuit oratio, qualis vita[1]. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. К чему произвела тебя природа? Что вложила в сердце твое? Чем пленяется воображение, часто против воли твоей? При чтении какого писателя трепетал твой гений с неизъяснимою радостию, и глас, громкий глас твоей пиитической совести восклицал: проснись, и ты поэт! — При чтении творцов эпических? Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству: да будут мысли твои важны и величественны, движения души твоей нежны и страстны, но всегда покорены рассудку, спокойному властелину их. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать, *обе фортуны*. Подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем; подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы, дикие и просвещенные, вопрошать все памятники искусства, всю природу, которая говорит

[1] Речь людей такова, какова была их жизнь. *(лат.) — Ред.*

всегда красноречиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаниями. Одним словом, надобно, забыв все ничтожные выгоды жизни и самолюбия, пожертвовать всем — славе; и тогда только погрузиться (не с дерзостию кичливого ума, но с решимостию человека, носящего в груди своей внутреннее сознание собственной силы), тогда только погрузиться в бурное и пространное море эпопеи...

Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения. Пример тому французы: их словесность, столь богатая во всех родах, не имеет ни эпопеи, ни истории. Их писатели по большей части жили посреди шумного города, посреди всех обольщений двора и праздности; а история и эпопея требуют внимания постоянного, и сей важности и сей душевной силы, которую общество не только что отнимает у человека рассеянного, но уничтожает совершенно. «Хотите ли быть красноречивыми писателями? — говорит красноречивая женщина нашего времени: будьте добродетельны и свободны, почитайте предмет любви вашей, ищите бессмертия в любви, божества в природе; освятите душу, как освящают храм, и ангел возвышенных мыслей предстанет вам во всем велелепии!» Прелестные строки, исполненные истины! вас рассеянные умы или не поймут или прочитают с гордым презрением.

Взглянем на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали. Тибулл не обманывал ни себя, ни других, говоря покровителю своему, Мессале, что его не обрадуют ни триумфы, ни пышный Рим; но спокойствие полей, здоровый воздух лесов, мягкие луга, родимый ручеек и эта хижина с простым, соломенным кровом — ветхая хижина, в которой Делия ожидает его с распущенными власами по высокой груди. Петрарка точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный

в глубокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи:

Sott' un gran sasso
In una chiusa valle, ond'esce Sorga,
Si stá: nè chi lo scorga
V'è, se no Amor, che mai no'l lascia un passo
E l'imagine d'una che lo strugge[1].

Счастливый Шолье мечтал под ветхими и тенистыми древами Фонтенейского убежища; там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви. Богданович жил в мире фантазии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изображение Душеньки[2]. Державин на диких берегах Суны, орошенный кипящею ее пеною, воспевал водопад и бога в пророческом исступлении. И в наши времена, более обильные славою, нежели благоприятные музам, Жуковский, оторванный Беллоною от милых полей своих, Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностию передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной,— в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы.

Если образ жизни имеет столь сильное влияние на произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых, сладостных впечатлений юности! Время украшает их и дает им восхитительную прелесть. В среднем возрасте зримые предметы слабо врезываются в памяти, и душа, утомленная ощущениями, пренебрегает ими: ее занимают одни страсти; в преклонных летах человек не приобретает, и последним его сокровищем остается то единственно, чем он запас себя в молодости. Таким

[1] Под большой скалой
В замкнутой долине, откуда вытекает Сорга,
Стоит он: и того, кто бы видел его, там нет,
Кроме Амура, который никогда не оставляет его ни на шаг,
И образа той, которая его сокрушает. *(ит.)* — *Ред.*

[2] Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину.

образом природа соединяет вечер с утром жизни, как вечерняя заря сливается с утреннею в долгие дни лета под нашим северным небом.

Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни; то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностию.

Утешно вспоминать под старость детски леты,
Забавы, резвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли нас!

Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелестных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что в последствии времени, рассказывая битву Мандрикара с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Вергилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе; стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.

Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотвор-

цах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию, в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера: напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя.— У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительной человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодной и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами,— Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:

Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
. . . .
...Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход.
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где, в влажных берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна...
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло;

Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лице солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов,— суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:

Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.

1815

О ХАРАКТЕРЕ ЛОМОНОСОВА

По слогу можно узнать человека, сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо.— Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека; познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждавшийся величественными понятиями всеобщего порядка, не может быть соединен с сердцем холодным»,— говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели.

Сия истина утверждена жизнию Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, не известных, не изъяснимых обыкновенным людям.— Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?

Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом,— все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем; или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастия в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба: он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какою чувствительностью (возвратясь в Петербург) прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой! могу ли ее оставить!»— Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь

глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и беспрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и все, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучий, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна — к удивлению, к смирению слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения.

По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения; с каким восхищением он певал на крилосе священные песни и пожирал духовные книги! С каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику: *врата учености своей!* Как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних!

Как трепетало от радости, вступая в обширную Москву!.. К сожалению, немного подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов — нет сомнения — казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредияковский с *братиею* быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?

Но, к счастью нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Людовика XIV: но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносову, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно Музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него — Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше,— благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец, и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища Ломоносова. *Рихман умер прекрасною смертию*, и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай *не был перетолкован противу наук*, вечно ему любезных! Часто в письмах своих он

жалуется на Тредияковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину — что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то они же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщения,— говорит он,— но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних...» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений — о не совершенных трудах своих. «Я умираю,— говорил он Штелину,— я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно: сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и Академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною...»

Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.

ВЕЧЕР У КАНТЕМИРА

Антиох Кантемир, посланник русский при дворе Людовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Вергилия: «Счастлив, кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:

. . . . с вами, Греки и Латины...
Исследуя всех вещей действа и причины...

Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто, углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истины и — подобно мудрецу Сиракуз — забывал

мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков: нет! он любил науки для наук, поэзию для поэзии,— редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир... писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Д' Аламберт: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; второй перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их; следственно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностию. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его *русскими* стихами?— В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени и обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным — равно как и ученый, но истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии,—

С последним вздохом он издаст последний стих,—

почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоэнс писал «Лузияду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час пред смертию, хладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?.. Но возвратимся к Кантемиру.

Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своею музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к кн⟨язю⟩ Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молнии, щеки разгорелись, и рука его ударяла такту по отверстой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головой и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся — и бросился обнимать неожидаемых гостей. «Мы вам помешали: мы пришли не в пору».—«Нимало!»—«Вы читали важные бумаги?»—«Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения».—«Но какие? мы ни слова не поняли».—«Русские».—«Русские стихи!»— восклицал аббат, пожимая плечами от удивления: «русские стихи! это любопытно...»

Кантемир

Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям: она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином, или — как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, г. президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?

Монтескье

Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов: когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом — хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни перекодившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов. Ювенала перечитываю с удовольствием; прямый римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю тво-

рения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного: почтенного родителя языков новейших.

Аббат В.

И г. президент сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.

Монтескье

Сожалею и удивляюсь, как можно писать, скажу более, как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация — еще в пеленах.

Кантемир

Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями: принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: Академия петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.

Аббат В.

Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?

Кантемир

Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурный ваятель; в Скифии не было ни

паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их — соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы — мои соотечественники; Праксителева статуя — книга бессмертного Фонтенеля; а я — сей грек, неискусный ваятель.

Аббат В.

О! вы слишком скромны, почтенный князь!

Кантемир

Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».

Аббат В.

«Персидские письма» по-русски!

Монтескье

Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?

Аббат В.

Теперь гиперборейцы узнают, как ветрены и малодушны обитатели берегов Сейны.

Кантемир

И как остроумны.

Аббат В.

Я давно на вечерах г-жи Жофрень — которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит — давно предсказывал вашу славу, г. Монтескье!

В земле своей никто пророком не бывал.

Но мое пророчество сбылось, как видите. Легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии — читают ваши остроумные письма, и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов.

Монтескье

Читают «Персидские письма» при свете лампады, налитой рыбьим жиром...

Аббат В.

Или при свете северного сияния... Конечно странно, чудесно! — А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!

Кантемир

Калмыки и самоеды не читают философических книг, и, конечно, долго читать не будут. Но в Москве многолюдной, в рождающейся столице Петра, в монастырях малой и великой России есть люди просвещенные и мыслящие, которые умеют наслаждаться прекрасными произведениями муз.

Монтескье

Число таких людей должно быть весьма ограниченно. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка, — все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

Аббат В.

Я с вами согласен; и полагаю, что все усилия исполинского царя, все, что он ни сотворил железною рукою, — все разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным; и вся полудикая Московия — снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

Кантемир

Я осмелюсь спорить с великим творцом книги о существе законов, и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснослов-

ному Эпимениду. Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!

Аббат В.

Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты.

Монтескье

Остроумный аббат сказал великую истину. Положим — трудное предположение, едва ли сбыточное дело! — положим, что правительство откроет все пути к просвещению, что будет беспрестанно призывать иностранцев для воспитания юношества, построит теплые дома для училищ, и из сих парников и теплиц просвещения соберет несколько незрелых и несочных плодов; положим, что правительство образует военных людей, довольно искусных, несколько мореходцев, небольшое число артиллеристов, инженеров и проч. Но скажите, может ли правительство вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным? Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?

Аббат В.

И новое солнце? Как можно сеять науки там, где осенью серп земледельца пожинает редкие класы на браздах, пóтом его орошенных; где зимою от холода чугун распадается и топор жидкости рубит? —

Caeduntque securibus humida vina[1]!

Монтескье

Холодный воздух сжимает железо; как же не действовать ему на человека? Он сжимает его фибры; он дает им силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душе. Она внушает ей храбрость в опасности, решительность, бодрость, крепкую надежду на себя; она есть тайная пружина многих прекрасных свойств характера; но она же лишает чувствительности, необходимой для наук и искусств. Теплота, напротив того, расширяя тончайшую плену

[1] Они рубят секирами влажные вина! *(лат)*.

кожи, раскрывает оконечности нервов и сообщает им чудесную раздражительность. В землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы, так сказать, лишены жизни, и редко, очень редко сообщают слабые ощущения свои мозгу. Вы знаете, что от бесчисленного количества слабых ощущений зависят воображение, вкус, чувствительность и живость. Надобно содрать кожу с гиперборейца, чтоб заставить его что-нибудь почувствовать[1].

Аббат В.

Что можете отвечать на это? Вы станете защищать соотечественников ваших, как министр, и на сильные, неотразимые силлогизмы президента отвечать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

Кантемир

Я родился в Константинополе. Праотцы мои происходят от древней фамилии, некогда обладавшей престолом восточной Империи. Следственно, во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечнозеленые оливы стран полуденных. В молодости я странствовал с отцом моим, неразлучным сопутником, искренним другом Петра Великого, и видел обширные долины России от Днепра до Кавказа, от Каспийского моря до берегов величественной Москвы. Я знаю Россию и обитателей ее. Хижина земледельца и терем боярина мне равно известны. Руководимый наставлениями отца моего, просвещеннейшего человека в Европе, с ранних лет воспитанный в училище философии и опытности, будучи обязан по званию моему иметь беспрестанные и тесные сношения с иностранцами всех наций, я не мог сохранить предрассудков *варварских* и привык смотреть на новое отечество мое оком беспристрастного наблюдателя. В Версали, в кабинете короля вашего, в присутствии министров я — представитель великого народа и всемогущей его монархини: но здесь, в обществе дружеском, с великим гением Европы, поставляю обязанностию говорить

[1] Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment. Надобно содрать кожу с жителя Московии, чтобы дать ему что-либо почувствовать *(фр.)*.

откровенно; и вы, г. аббат, скорее обличите Кантемира в невежестве, нежели в пристрастии или нечистосердечии. Вот мой ответ: вы знаете, что Петр сделал для России; он создал людей,— нет! он развил в них все способности душевные; он вылечил их от болезни невежества; и русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты *свойственны всему человечеству*. Не прошло пятнадцати лет — и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные науки военного дела процвели внезапно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии?— Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума. Вы говорите, что власть климата есть первая из властей. Не спорю: климат имеет влияние на жителей; но это влияние, как вы сами заметили в бессмертной книге своей, это влияние уменьшается или смягчается образом правления, нравами, общежитием. Самый климат России разнообразен. Иностранцы, говоря о нашем отечестве, полагают вообще, что *Московия* покрыта вечными снегами, населена — дикими. Они забывают неизмеримое пространство России; они забывают, что в то время, когда житель влажных берегов Белого моря ходит за куницею на быстрых лыжах своих,— счастливый обитатель устьев Волги собирает пшеницу и благодатное просо. Самый Север не столь ужасен взорам путешественника; ибо он дает все потребное возделывателю полей. Плуг есть основание общества, истинный узел гражданства, опора законов; а где, в какой стране России не оставляет он благодетельных следов своих? С успехами людскости и просвещения Север беспрестанно изменяется, и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе. Скажите: когда Тацит описывал германцев, думал ли тогда Тацит, что в диких лесах ее возникнут города великолепные, что в древней Паннонии и Норике родятся светильники ума человеческого? Нет, конечно! Но Петр Вели-

кий, заключив судьбу полумира в руке своей, утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под тению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими. Вы, г. Монтескье, наблюдаете беспрестанно мир политический: на развалинах протекших веков, на прахе гордого Рима и прелестной Греции вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и непременным образом все формы правления: вы заметили сии изменения в земле русской. Время все разрушает и созидает, портит и усовершает. Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее, благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра — и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законам, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды! вы сбудетесь, конечно. Благодетель семейства моего, благодетель России — почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух — не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, все оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу; он, кажется мне, беспрестанно вещает России — иди вперед! Не останавливайся на поприще, мною отверстом, и достигнешь великой цели, мною назначенной!

Монтескье

Но искусства? Могут ли они процветать в туманах невских или под суровым небом московским?

Аббат В.

Искусства... Ах! им-то нужен прозрачный воздух и яркое солнце Рима, древней Эллады или умеренный климат нашей Франции.

Кантемир

Полуденные страны были родиною искусств; но сии прелестные дети воображения были часто вытес-

няемы из родины своей варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные. Но поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует,— там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...

Аббат В.

Так! Но оно, признайтесь, не столь чувствительно на Севере.

Монтескье

Я видел оперу в Англии и в Италии. От музыки, которую англичане слушают спокойно, италиянцы бывают вне себя и прыгают, как пифия на пророческом треножнике.

Кантемир

Что доказывает это? Что чувствительность народов южных раздражительнее, сообщительнее: но едва ли столь глубока, столь сильна, как чувствительность народов северных. В бытность мою в Лондоне ученый шотландец Н. Н. показывал мне песни своих горных соотечественников: они напоминают древнего Омера и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы италиянской.

Аббат В.

Невероятно!

Кантемир

Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца; в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музы.

Аббат В.

Чудесно! по чести, невероятно!

Кантемир

...Скажите, если грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?

Аббат В.

Но... почтенный защитник Севера... вы знаете, что народные песни... лепетание младенцев!

Кантемир

Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений? Что он прошел исполинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если...

Аббат В.

Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!!! *Впрочем, для чудес нет законов,* говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве Луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но, простите моему чистосердечию... признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже — на земле Расина и Корнеля — писать русские стихи?

Кантемир

Это напоминает: как можно быть персиянином?

Монтескье

Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу: следственно, пишете сатиры,— сатиры на нравы... которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля, в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое от пороков, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих; в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом: как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно; другим — бесполезно.

Кантемир

Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить

древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством, и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и — исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противоположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью, и с Горацием в руках, мог отыскать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе его, и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролик (оба достойные пастыря), Никита Трубецкий и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят: я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому,— и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля: в них они найдут изображение верное нравов и языка русского, в славном периоде для России — от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елисаветы,— и имя мое (простите мне авторское самолюбие) будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.

А б б а т

Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.

М о н т е с к ь е

Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но... вот и аббат Гуаско, ваш приятель...

— Вы очень кстати навестили нас! — сказал Кантемир, обнимая аббата.— Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение г. президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения...

Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались... довольны ли им? не знаю.

Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско: «Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель... но...»

— Но говорит о России, как невежда,— прибавил аббат Гуаско. Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СНУ

〈ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ〉

Письмо к редактору «Вестника Европы»

Пускай утверждают, что хотят, прихотливые люди и строгие умы, а я утверждаю, милостивый государь, что науки и словесность у нас в самом блистательном состоянии. Укажу вам на книгопродавцев. Посмотрите, как они разживаются: *то домик выстроят, то купят деревеньку*. Чем же? Торговлею. Какою? Книжною. Следственно, у нас пишут, у нас читают, и из одного следствия к другому я могу вывести, что словесность русская в самом цветущем состоянии. Вот что хотел я доказать и что вы знаете без моих доказательств; ибо вы, милостивый государь, наблюдаете постоянно ход наших успехов, как астроном наблюдает течение любимой планеты. Вы заметили, конечно,

что мы заняли все пути к славе и многие материи исчерпали до дна, так что нашим потомкам надобно будет умирать от жажды. Простите мне это выражение и сосчитайте со мною эпические поэмы, в честь Петра Великого написанные. Считайте от Ломоносова до Сл......ского и далее, от кедра до иссопов и заметьте, что все поэмы исполнены красот, что в них все было сказано, кроме того только, что Ломоносов намеревался сказать и не успел: но это сущая безделка! Теперь прошу взглянуть на обширную область Талии и наконец Мельпомены, которая беспрестанно обогащается новыми приобретениями и скоро истощит всю священную древность от сотворения мира. У французов одна «Аталия»; у нас, благодаря усердию писателей, не одна трагедия переносит нас в землю Иудейскую. Я ни слова не скажу о «Российском Феатре», на котором основана слава наших праотцев, о журналах, романах и проч., изданных назад тому двадцать лет и более. Их мало читают; но время доказало, что они бессмертны: они уцелели в пожаре столицы. Добро не горит, не тонет — говорит пословица. Сердце мое дрожит от радости, когда я начинаю исчислять на досуге все наши сокровища. Тогда я похожу на антиквария, который, не делая никакого употребления из своего золота, любуется им и говорит: вот червонец! вот рубль! вот старинная монета! такого-то года! при таком-то царе! кто ее отливал? из какого рудника это золото? кто употреблял эту монету? А я говорю: вот трагедия 1793 года! кто ее писал? кто читал ее? — творца не мудрено отыскать по творению; но читателей найти не легко: мы еще не любим *отечественного*. Что нужды мне до других! Я день и ночь роюсь в моих книгах, расставляю их по порядку хронологическому и горжусь моим богатством. Чего у нас нет? Боже мой! Найдите хотя один предмет, одну отрасль ума человеческого, которую бы мы не *обработали* посвоему? Поэзии — море! и поле красноречия необозримое! Загляните только в журналы, но без предубеждения, и вы найдете — сокровища! Здесь похвальное слово такому-то, там надгробное слово такому-то; здесь приветствие, там благодарный глас

общества: *и все-то благо, все добро!* Все герои, все полководцы, все писатели увенчаны пальмами красноречия и шагают торжественно в храм бессмертия. Мы не ограничили себя великими людьми; мы хвалили даже блох[1] и будем хвалить все, что пресмыкается и ползает в царстве животных. Итак, мудрено ли, что какому-то чудаку вздумалось написать «Похвальное слово сну»? Случай мне доставил исправный список и вовсе не похожий на тот, который напечатан в вашем «Вестнике». Если вы найдете, что читатели ваши не заснут над этим панегириком, то покорнейше прошу напечатать его в журнале и сохранить для потомства, которое, конечно, благодарнее современников, завистливых, строгих и вовсе не способных ценить дарования. Это не мои слова, милостивый государь, а моего приятеля Н. Н., который пишет стихи и прозу, но только не печатает их в вашем журнале и потому вам неизвестен.

Имею честь быть и проч.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 18... году, лет несколько до нашествия просвещенных и ученых вандалов на Москву, жил на Пресненских прудах некто N. N., оригинал, весьма отличный от других оригиналов московских. Всю жизнь провел он лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно было, душевном. Ум его, хотя и образованный воспитанием и прилежным чтением, не хотел или не в состоянии был победить упрямую натуру. Имея большой достаток при счастливых обстоятельствах (которые единственно могут сохранить в полноте характер человека), он не имел нужды покоряться условиям общества и требованиям должностей. Он делал, что хотел; а хотел одного спокойствия. Великий Конде говаривал: «Если бы я был царем моей постели, то никогда бы с нее не

[1] Смотри «Вестник Европы» 1810 года.

вставал». Наш оригинал был совершенный царь своей постели. Целый день он лежал то на одном боку, то на другом, и всю ночь лежал! Редко, очень редко мы видели его сидящего у окна с длинною турецкою трубкою, в татарском или китайском шлафроке, и то когда он занимался домашними делами. Два чтеца попеременно читали ему книги; ибо лень не позволяла заниматься самому чтением: но лень не мешала делать добро. Он сыпал золото нищим и под непроницаемою корою бесстрастного спокойствия таил горячее сердце. В уединенном квартале города он воспитывал на свой счет двенадцать бедных девушек, кормил и одевал несколько заслуженных воинов и — странное дело! — не ленился посещать их по воскресным дням. «От этого лучше спится!» — говаривал он тем, которые выхваляли его благотворительность. Равнодушный ко всему, он слушал спокойно самые важнейшие новости; но при рассказе о несчастном семействе, о страдании человечества вдруг оживлялся, как разбитый параличом от прикосновения электрического прутика. В прочем он был самый бесстрастный *автомат*: никого не обижал, ни с нем не заводил тяжбы, ни над кем не смеялся, никому не противоречил, не имел никаких страстей: страсть его была лень. Скучал ли он? Утвердительно отрицать не могу; но заключаю, что скука ему была известна, и вот по какому обстоятельству. Однажды он послал за мною. «Садись или ложись на диван, — сказал он, указывая на турецкую постелю, — я намерен ехать в деревню и воспользоваться первым весенним воздухом. Снег растаял, и стук по мостовой карет и дрожек начинает меня беспокоить. Но в деревне нельзя быть .без общества; соседи мои люди деятельные; с ними надобно говорить, ездить на охоту, заводить тяжбы, мирить, ссорить и проч. и проч... о! Это меня расстроит совершенно! Двери на крюк соседям. С кем же я буду убивать время? С такими друзьями, как ты, например!» Я привстал и хотел благодарить за учтивость; но ленивец мой замахал обеими руками и продолжал: «Я знаю в Москве человек до шести людей приятных в обществе и совершенно праздных.

Двое из них могут назваться по справедливости добрыми людьми. Леность не позволяет другим пускаться на злые дела: и это хорошо! Мы пригласим их к себе. Но теперь надобны женщины: вот истинное затруднение. Без женщин общество мужчин скоро наскучит... А где найти женщин ленивых?» — «Боже мой! как не найти!» — вскричал я. — «То есть ленивых по моему образу мыслей, — возразил N. N., покачав головою и насупя брови, — их язык вечно деятелен, в вечном движении: это ртуть, это белка на привязи у колеса, это маятник, который..., — леность или доброта сердца не дозволяли кончить сравнений. — Но так и быть, — продолжал лентяй с глубоким вздохом, — я согласен пригласить вдову приятеля моего генерала А. с двумя дочерьми, добрыми и любезными девушками. Дружба меня сделает снисходительным. Толстая жена откупщика нашего Ж. с племянницею; ленивая Софья, ее дородная сестра не будут лишние. Впрочем, мы не наскучим друг другу: свобода все украсит. Общество мое пусть называют, как хотят, московские насмешники; но оно будет приятно мне и гостям. Возьми же лист бумаги, милый друг, и пиши учреждение общества ленивых». Я взял перо и бумагу и написал под диктатурою нашего лентяя условия, под коими все члены согласились подписать свои имена, и мы накануне 1-го мая отправились в подмосковную...

В шестидесяти верстах от города, на конце густого соснового леса, которого спокойствие ничто не может нарушить, стоит большой господский дом, архитектуры изрядной. К нему примыкает озеро, усеянное островами. Вдали синеет колокольня уездного городка и несколько деревень. Кажется, что все было пожертвовано тишине в сей мирной обители: все службы, начиная с кухни до конюшни, расположены в некотором расстоянии одна от другой и закрыты рощицами. Перед окнами большие *плакущие* ивы, березы и цветники, засеянные китайским маком. Здесь

все посвящено лени, все питает ее, все приглашает ко сну: под каждым старинным деревом дерновая скамья; в каждой беседке канапе, или постель с большими занавесами и со всеми предосторожностями от комаров и мошек; а на дверях надпись из нашего Пиндара-Анакреона:

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу, перловом
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть!
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь!

Ни крик петухов, ни стук топора, ни топот, ни конское ржание — ничто не нарушает глубокого молчания. Кроме ручья, журчащего под навесом берега, кроме озера, которое ласкает тихим плесканием пологие берега свои, вы ничего не слышите. Сия тишина бывает прервана, или очарована роговою музыкою, которая при закате солнца провожает умирающий день и нежными сладостными и протяженными звуками приготовляет сладкое усыпление и веселые мечты хозяину поместья. Но это редко случается; ибо он боится беспокоить своих музыкантов. У него нет ни одного деятельного или суетливого человека: все подчинено каким-то правилам особенного порядка; один повар имеет право разнообразить наслаждения эпикурейца. Я не стану описывать его дома. Каждый угадает, что он покоен, тепел и не слишком светел, ибо архитектором располагал по своей воле прихотливый хозяин. Но одна зала достойна вашего замечания. Ее большие полуовальные окна осенены со всех сторон густыми ветвями вязов и лип, которые в июне наполняют бальзамическим испарением своих цветов окрестный воздух. Все стены обширной залы украшены картинами. Две изображают идиллии из золотого века; другие — рождение Морфея, его пещеру и владычество его над небом и землею. Здесь видите Смерть в виде усыпленного гения; там Эрминию, отдыхающую у пастухов; спящего Эндимиона, который, кажется, весь осребрен сиянием

влюбленной Дианы, и во сне вкушает сладости неизъяснимые языком смертного. Здесь вы видите мальчика, уснувшего на краю колодца; фортуна поддерживает его рукою, но так осторожно, что, кажется, боится разбудить беспечного: прелестное изображение счастливцев и баловней слепой богини, которые забываются на краю своей гибели! Наконец, на колоннаде, украшающей преддверие залы, вы читаете имена знаменитых ленивцев: Лукулла, Сарданапала, Анакреона, Лафонтена, Шолио, Лафара; тут же имена русских стихотворцев и имя того, который пишет прелестные басни и комедии и необоримую леность свою умеет украшать прочнейшими цветами поэзии и философии.

В этой зале открыто первое заседание Общества ленивых; несколько слов было сказано хозяином; подан им знак, и один из членов, оратор ленивых, произнес похвальное слово сну〈...〉

О ЛУЧШИХ СВОЙСТВАХ СЕРДЦА

Масье, воспитанник Сикаров, на вопрос: «Что есть благодарность?» отвечал: «Память сердца». Прекрасный ответ, который еще более делает чести сердцу, нежели уму глухонемого философа. Эта память сердца есть лучшая добродетель человека, и не столь редка, как полагают некоторые строгие наблюдатели. «Человек добр по природе»,— кричал женевский мизантроп — и клеветал общество, следственно, клеветал человека, ибо он создан жить в обществе, как муравей, как пчела: все его добродетели относительны к ближнему и отвлеченно от оного существовать не могут, как рука, отделенная от тела. «Человек есть создание злое»,— говорят другие моралисты и приводят множество свидетельств о разврате и злобе сердца нашего; но я не верю им и не могу верить, чтобы общество походило на скопище свирепых зверей. Живут ли тигры вместе? Строят ли города? Нет. Ясное доказательство, что злоба не

связывает, но разлучает. Кто живет в обществе? Незлобные создания: голубь, муравей, бобр, умный слон, и каждое из сих созданий имеет какое-нибудь *качество*, которое украшает человека и есть одно из незыблемых оснований общежительности.

Первый наш долг: благодарность к творцу. Но для исполнения его надобно начать с людей. Провидению угодно было связать чрез общество все наши отношения к небу. Быть виновником бытия не есть достоинство перед богом и людьми; но принять младенца из рук матери в минуту его рождения, от колыбели до зрелых лет служить ему защитою и опорою, передать ему в наследие имя, звание, сокровища, землю, праотцами возделанную: вот обязанность отца. Благодарность есть обязанность детей. На подобных взаимных обязанностях основано все благосостояние общества. Все основания его суть *добро*, и чем более добра, тем тверже его основание, ибо одно добро имеет здесь прочность и постоянность. Зло есть насильственное состояние. Под шумом ли бури или при сладостном сиянии солнца зреют нивы? Как сила плодородия имеет свое основание в теплоте, так сила гражданственности основана на добре.

Многие умы наблюдали человека в одном тесном кругу, в котором действовали сами. Ларошфуко, остроумнейший из писателей остроумного века, основал мораль свою на подобных наблюдениях. Но я спрашиваю: если бы натуроиспытатель глядел на муравья во время его странствования за былинкою или за зерном, наблюдал его ссоры с товарищами, а забыл заглянуть в огромное гнездо, где все имеет вид порядка, стройности, где все части относятся совершенно одна к другой и составляют прекрасное целое, то какое произнес бы он суждение о трудолюбивом насекомом? Вот что сделал Ларошфуко, говоря о человеке и наблюдая за ним в прихожей Тюльерийского замка. Но прихожая не есть вселенная, и человек придворный не есть лучший из людей.

Впрочем, меня никто не уверит, чтобы чувство благодарности было следствием нашего эгоизма, и я

не могу постигнуть добродетели, основанной на исключительной любви к самому себе. Напротив того, добродетель есть пожертвование добровольное какой-нибудь выгоды; она есть отречение от самого себя. Есть добродетели уму принадлежащие, другие — сердцу; благодарность, лучшая из наших добродетелей, или, вернее, отголосок многих душевных качеств, принадлежит сердцу. «Ты мне сделал добро: следовательно, я тебя люблю»,— так говорит благородное сердце. Эгоист иначе: «Ты мне сделал добро; но будешь ли мне делать добро и впредь? добро, тобою сделанное, не требует ли пожертвований с моей стороны?» Вот слова эгоиста; они совершенно противны благодарности, которая тем прелестнее, тем святее, чем менее рассуждает, чем менее торгуется с пользою личною и более предается одному сердечному движению.

Сердца, одаренные глубокою или раздражительною чувствительностию, часто не знают средины; для них все есть зло или добро: видят совершенный порядок в обществе — или отсутствие оного, скорее последнее. Чувствительный человек, страдавший в течение всей жизни, делается наконец мизантропом и убегает в дремучие леса от взоров людей неблагодарных. Там возносит он клятвы на все человечество, оскорбившее его сердце, и в гневе своем забывает, что он сам есть человек, то есть создание слабое, доброе, злое и нерассудительное; луч божества, заключенный в прахе; существо, порабощенное всем стихиям, всем изменениям нравственным и физическим. Но пусть мизантроп приведет себе на память всю жизнь свою от колыбельных дней до той страшной эпохи, когда сердце его воскликнуло в гневе: «человек зол и люди подобны тиграм!», пусть приведет он на память и младенчество, и юношество, и зрелый возраст, в котором воля и рассудок начинали заглушать голос страстей; пусть он спросит себя: «Или я не нашел добрых и честных людей в течение целой жизни? Или я лучше и добрее всех людей, имею все добродетели и все качества, и чужд страстей, и чужд всего низкого и порочного?» — «Нет,— скажет

ему рассудок и опыт,— и ты человек, и ты заплатил человечеству дань пороков, слабости и страстей; ты не ангел, ты и не чудовище». Опыт и рассудок показывают нам редкие добродетели, и часто в сердце порочном наблюдатель чудес нравственных с неизъяснимою радостию открывает яркие лучи душевной доблести: великодушие, сострадание, презрение к корысти и тысячу прелестных качеств, которые примиряют его с порочным и с небом, создавшим человека не для одних преступлений.

Кто из нас, отложа все предрассудки и все предубеждения, не сосчитает несколько примерных людей, утешивших собою человечество? Не станем искать героев добродетели в истории; поищем их вокруг себя — и найдем, конечно! Курций бросился в пропасть, но Рим на него смотрел. Леонид обрекает себя смерти, но все отечество (и какое отечество? Спарта!) об нем в страхе и надежде. Долгорукий раздирает роковую бумагу в присутствии разгневанного монарха; но он совершает подвиг свой в сенате, окруженный великими людьми, достойными его и первого владыки в мире. Прекрасные подвиги, достойные подражания и слез удивления — недокупных, сладостных, божественных слез! Теперь спрашиваю: если мы удивляемся великим делам на великом поприще, если веруем добродетели, твердости душевной, бескорыстию в великих обстоятельствах, то почему не веровать им в малых? Добродетель под спудом не есть ли добродетель? Бедный, который делится последними крохами с нищим; сестра милосердия, в душной больнице стоящая с сосудом врачевания при ложе врага ее отечества; смелый и человеколюбивый врач, испытующий свое искусство и терпение в дальней хижине дровосека, без свидетелей своего доброго дела, кроме одного в небесах и другого в груди своей,— все эти люди, обреченные забвению, не суть ли добродетельные люди? И тот, кто беспристрастною рукою начертывает имена их в книге судеб, не напишет ли их наряду с именами Говарда, Лас Казаса, Еропкина и других людей, которых добродетель и человечество называют своими. Монтань за-

метил справедливо, что лучшие подвиги храбрости теряются в неизвестности: один похищает знамя,— имя его гремит в рядах; но сотни неустрашимых погибли перед ним и кругом его... Перенесите сей порядок в мир нравственный. Лас Казас спасает любезных своих американцев от рабства,— он бессмертен. Бедный миссионер в снегах канадских бродит из шалаша в шалаш, из степи в степь, окруженный смертию, проповедует бога и утешает страждущих: каких? Семью дикого или изгнанника, живущего на неизвестном берегу безымянной реки или озера. Сей смиренный воин Христа не есть ли великий человек в полном нравственном смысле? Но к чему нам переноситься в дальные страны? Здесь, кругом нас, кто не испытал, что есть добрые люди, что в обществе есть добродетели редкие, посреди страстей, посреди разврата и роскоши: одно злое сердце может в них сомневаться; одно жестокое сердце не находило сердец нежных.

И в странах отдаленных, и в дебрях, не знакомых взорам человека, родятся цветы: на диких берегах Амура, среди мхов и болот выходит прелестный цветок, до сих пор не известный любопытному испытателю природы; медленно распускается он под кротким веянием летнего ветерка; наконец, украшение пустыни, цветок увядает:

В пустынном воздухе теряя запах свой!

Но семена его, падая на землю, расцветают с первою весною в новой красоте, в новом убранстве. Вот истинная эмблема сей добродетели, не известной человекам, но не потерянной для человечества; ибо ничто доброе здесь не теряется, подобно как ни одна былинка в природе: все имеет свою цель, свое назначение; все принадлежит к вечному и пространному чертежу и входит в состав целого в нравственном мире. В роскошном Париже, в многолюдном Лондоне и Пекине та же самая сумма или то же количество добра и зла, по мере пространства, какое и в юртах кочующих народов Сибири или в землянках лапландцев. Добродетельный старец (Мальзерб) защищает монарха, покинутого друзьями, родствен-

никами, дворянством, целым народом; он защищает его под лезвием мечей, при проклятии озлобленных тиранов (но в виду вселенной, и, так сказать, в присутствии потомства). В ту же самую минуту — сделаем сие предположение — лапландец пробегает на лыжах необъятное пространство в трескучий мороз, посреди ужасной вьюги: зачем? чтобы принести несколько пищи бедному семейству друга своего, утешить больную вдовицу и спасти от явной смерти грудного младенца. Мальзерб и лапландец равны перед тем, кто их создал, равны перед лицем добродетели и правосудия небесного: оба жертвуют жизнию для доброго дела.

Вторая половина 1815

Из записных книжек





РАЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

⟨...⟩ Вот описание роскоши римской, достойное кисти Ювеналово⟨й⟩ и ужасного века, в котором жил стихотворец, века варварства, роскоши, развращения нравов, бесстыдства, пороков, когда они не имеют даже нужды покрываться покровом добродетели.

⟨...⟩ Гораций был всегда болен глазами, а Виргилий имел слабую грудь и прерывистое дыхание. Вот отчего Август говаривал, когда находился в обществе сих поэтов: «Я нахожусь между вздохов и слез».

⟨...⟩ Гораций всегда был осторожным. Глубокое познание людей и света заставило его написать следующие строки, ибо, верно, Меценат с ним был откровенен, когда не Менандр, а поэт его называет просто своим другом. «Меценат,— говорит наш счастливец,— Меценат, когда я с ним бываю в колеснице, спрашивает меня, который час?.. Думаешь ли ты, что Галлина Фракийский единоборец устоит против единоборца Сирийского? Холод утренний становится чувствителен тем, которые не предохраняют себя и пр».

«Сатира VI»— Г⟨ораций⟩

⟨...⟩ Если б я управлял государством, то Г⟨линке⟩ дал бы пенсию. Его журнал можно назвать поли-

тическим. Он же сам похож на проповедника крестового похода: тот же девиз и у него, что у Пустынника Петра: бог, вера, отечество.

Вкус можно назвать самым тонким рассудком. Шиш⟨ков⟩ богат рассудком, то, что называют французы gros bon sens[1]; он видит, чувствует довольно верно. Но все ли он видит, все ли чувствует?

Уродливая поэма к⟨нязя⟩ Ш⟨ихматова⟩.— Есть мозаика славенских слов, говорил М⟨ерзляков⟩.

⟨...⟩ Какой великий писатель Тацит! Какой философ! Какой живописец! Он вовсе не похож на обыкновенных историков. Он рисует фигуры, дает им приличное положение, окружает их природою.— Например, Агрипина, супруга Германика, на острове Корсике (Корфу) представлена летописцем с урною в руках, окруженная детьми, царедворцами, бесчисленным народом, который вместе с вдовицею оплакивает и ее, и собственную трату. Или Тиверий, бледный, растерзанный совестию, входит в Сенат: Консулы, желая изъявить печаль свою о смерти Дрезия (сына Тивериева), встречают его на нижних ступенях, сенаторы плачут — и тиран посреди стона и рыданий начинает речь свою.— Но выпишем лучше два места, которые меня поразили. Первое: смерть Тиверия; другое: Агрипины, матери Нерона.

⟨...⟩ Нет, я не поверю, чтоб Шолио, Шапель и все эти эпикурейцы были так счастливы, как они об этом пишут. Но они были счастливее иногда Паскаля, Ларошфуко, Мольера и проч. А это уже много! Лафонтен их был всех счастливее, оттого что он был совершенный дурак, выключая своего великого таланта.

«Trop de vers emporte trop d'ennui»[2],— сказал любезный Грессет. Это правда. Стихи и хорошее вино

[1] здравый смысл *(фр.)*.

[2] Излишество в стихах приводит к излишеству скуки» (*фр.*).

все то же. Пей, а не упивайся. Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку или правило всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки! Счастлив тот, кто пишет потому, что чувствует.

Прекрасная женщина всегда божество, особливо если мила и умна, если хочет нравиться. Но где она привлекательнее? — За арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в кадрили? — Нет совсем! — а за столом, когда она делает салад.

Терпеть не могу людей, которые все бранят, затем чтоб прослыть глубокомысленными умниками. Правление дурно, войска дерутся дурно, погода дурна, прежде лучше варили пиво, и так далее. Но отчего они сами дурны в своем семействе? отчего домашние их ненавидят?

Мадам Жанлис мерзавка такая подлая, что я ее ненавижу. Можно написать «Les deux réputations»[1] и еще женщине! Можно ли бранить La Harpe, который ее всегда превозносил до небес, был в нее влюблен и поправлял, а может быть, и сочинял ее сочинения? Можно ли ей бранить Мармонтеля за незнание света, который описал его в сказках мастерским пером? Можно ли этой бабе поносить Вольтера и критиковать его как мальчишку? Можно ли, наконец, написать сказку, исполненную соблазнительных сцен, исполненную ужаснейших картин, извлеченных не из света, а из собственного сердца этой целомудренной госпожи, и все это посвятить aux jeuness personnes qui ont déja leurs seize ans?[2] — ???

Некоторые слова должно употреблять с благоговением. Кажется, Франклин снимал шляпу, произнося

[1] «Две репутации» *(фр.)*.
[2] молодым людям, которым уже исполнилось шестнадцать лет *(фр.)*.

имя бога. А у нас бог, вера, отечество, русские, русское — все это, везде, кстати и некстати, в важном и в безделицах, пишут, поют, напевают и, так сказать, по словам Ивана Афанасьевича Дмитревского, без всякого стыда!

Кто-то сказал и сказал правду: «Этот человек умен, да только по-французски» (говоря о N), — т⟨о⟩ е⟨сть⟩ нам кажется, что он умен!

Нет ничего скучнее, как жить с человеком, который ничего не любит, ни собак, ни людей, ни лошадей, ни книг. Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? — Иди в отставку! а не смейся над теми, которые их покупают кровью. Ты не имеешь охоты к ружью! — Но зачем же мешать N ходить на охоту? Ты не играешь на скрипке? — Пусть же играет сосед твой!.. Но отчего есть такие люди на свете? — от самолюбия. Поверьте мне, что эта страсть есть ключ всех страстей.

Женщины меня бесят. Они имеют дар ослеплять и ослепляться. Они упрямы, оттого что слабы. Недоверчивы, оттого что слабы. Они злопамятны, оттого что слабы. У них нет Mezzo termine[1]. Любить или ненавидеть! — им надобна беспрестанная пища для чувств, они не видят пороков в своих идолах, потому что их обожают; а оттого-то они не способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется! — Но можно ли бранить женщин? Можно: браните смело. У них столько же добродетелей, сколько пороков.

Писать и поправлять одно другого труднее. Гораций говорит, чтоб стихотворец хранил девять лет свои сочинения. Но я думаю, что девять лет поправлять невозможно. Минута, в которую мы писали, так будет далека от нас!.. а эта минута есть творческая. В эту минуту мы гораздо умнее, дальновиднее, проницательнее, нежели после. Поправим выражение, слово,

---

[1] Золотой середины *(ит.)*.

безделку, а испортим мысль, перервем связь, нарушим целое, ослабим краски. Вдали предметы слишком тусклы, вблизи ослепляют нас. Итак, должно поправлять через неделю или две, когда еще мы можем отдавать себе отчет в наших чувствованиях, мыслях, соображении при сочинении стихов или прозы. Как бы кто ни писал, как бы ни грешил против правил и языка, но дарование, если он его имеет, будет всегда видно. Но дарования одного, без искусства, мало.

Кто пишет стихи, тому не советую читать без разбору все, что попадется под руку. Чтение хороших стихов заранивает *искру,* которая воспламенит тебя. Чтение дурных, особливо гладких, но вялых стихов охлаждает дарование. Читай Державина, перечитывай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова, но храни тебя бог от Академии, а еще более от Шаликова.

Нам надобны мысли,— говорят одни,— а я говорю: мне надобны звуки. Что мне в мыслях? Что мне...

⟨По каким законам⟩ будет он судить стихотворца? — По законам вкуса! Но вкус не есть закон, ибо он не имеет никакого основания, ибо основан на чувстве изящного, на сердце, уме, познаниях, опытности и пр. Но во вкусе ошибались целые Академии, начиная от нашей и до Парижской. Цензор может сказать: книга ваша не будет напечатана, потому что вы пишете против обрядов, против религии, против системы политики — а я должен повиноваться, ибо это есть закон, ибо цензор в таком случае опирается на закон, ибо всякий человек, который еще в полном разуме, должен необходимо повиноваться законам, или ехать к ирокойзам. Но если этот же самый цензор скажет мне: не печатайте ваши книги, но потому, что у вас не богаты рифмы, 2-е, потому, что вы написали «горизонт», а не «обзор» и пр.,— что ему отвечать? — «Нет!..» Если б воскрес и сам Ломоносов, то я не выбрал бы его в цензоры, ибо и он мог бы ошибиться;

может быть, грубее Ваксина. Теперь спросим мы, какое зло приносят книги, писанные дурным слогом? Кто перенимает у Шаликова? Кто перенимает у Захарова? И кто читает их? — Невежды или те, которые не читали ничего лучшего, или те, которые не в состоянии читать лучшего. Я думаю, что свободы книгопечатания ограничивать никак не должно, особливо в наше время. Мы запрещаем переводы французских книг, а эти же самые книги продаются во всех иностранных лавках, начиная от похабного Аретина, до безбожного Гольбака, начиная от «Орлеанской девки» и до «Метафизики» Д'Аламберта.

Конечно, не должно позволять печатание безбожных книг, не должно позволять переводов декламаций против веры; должно запретить, и весьма строго, все, что может привести в соблазн молодежь; но должно ли положить меру продаже иностранных сочинений? Вот в каком случае цензура должна употребить возможную строгость. Но и это почти невозможно. К чему послужило б запрещение вывоза? — У нас, везде, во всяком доме, найдут сотни этих же самых книг. Французы сделали великое зло изобретением стереотипов, ибо Дидот без зазрения совести перепечатал «La pucelle»[1] и пр., ибо эти книги продаются за безделку везде, во всех лавках. В Риме, в Мадрите и в Вене цензура славилась своею строгостью: какая же польза? — В Риме столько же безбожия и суеверия, сколько и при Боржиях, в Вене распутство превосходит или, по крайней мере, не уступает английскому и парижскому, и даже сия излишняя строгость принесла вред, ибо обратила на себя взоры Германии, и ученые немцы запутали Берлин, Лейпциг, Лейден и проч., обрадовавшись случаю показать свой тяжелый аттицизм, и закидали Венское правительство грубыми, но справедливыми насмешками. Мадрит один устоял, почти невредим: он сохранил нравы. Но и тут какая польза для народа? — Так-то трудно удержать государство от разврата, когда соседние народы оным заражены!

Теперь можно спросить у политиков: что нужно народу для блага общественного? Просвещение или

[1] то же (*лат.*).

невежество? Изберите то, либо другое, и ведите народ ваш к избранной цели, не уклоняясь ни вправо, ни влево. У вас два примера: Англия и Испания.

⟨...⟩ Конечно, *независимость* есть благо, по крайней мере, для меня. Есть люди, которым ничего не стоит торговать своей свободою: эти люди созданы для света. А я во сто раз счастливее как бываю один, нежели в многолюдном обществе, особливо, когда я не в духе; тогда и самая малейшая обязанность для меня тягостна. Человек в *пустыне* свободен, человек в *обществе* раб, бедный еще более раб, нежели богатый. Но иногда богатство — тягостно; покойный Ш.-В. тому пример. Кстати, я вспомнил теперь о каком-то чудаке из «Жилблаза», который хотел быть независим и всегда весел. Он спрятал свое сокровище в стену и из нее ежедневно брал по червонцу, высчитав вперед, сколько ему осталось времени жить. Я бы желал иметь кошелек, и в этом кошельке один рубль, не более. Но чтобы этот рубль всегда *возрождался* для *истинных* нужд.

Я всегда плачу, читая «Аталу» и «Paul et Virginie». «Атала» более стихотворна, нежели роман Ст. Пьера. Смерть Аталы прекрасна. Пустыня, безмолвие ночи, священник, читающий молитвы отходные, любовник, наконец, умирающая прелестная дева.

⟨...⟩ Иные удивляются тому, что ученые люди (под этим названием я разумею не тех, которые навьючили память свою словами) бывают рассеянны в обществе: а я удивляюсь тому, как иные из них могут быть примечательны и всегда осторожны в обществе. Человек, который занимается словесностью, имеет во сто раз более мыслей и *воспоминаний*, нежели политик, министр, генерал.

Я прочитал Монтаня недавно. Вот книга, которую буду перечитывать во всю мою жизнь!

Путешественник, проходя по долине, орошенной ручьями, часто говорит: откуда эти воды? откуда столько ключей? — Идет далее и находит озеро; тогда его удивление исчезает. Это озеро, говорит он, есть источник маленьких речек, ручьев и протоков.

Этот путешественник — я, эти ключи — авторы, которых я читал в молодости, это озеро — Монтань. Все писатели, все моралисты, все стихотворцы почерпали в Монтане мысли, обороты или выражения. Из всякой его страницы делали том. Его книгу можно назвать весьма ученой, весьма забавной, весьма глубокомысленной, никогда не утомительной, всегда новой; одним словом, историей и романом человеческого сердца.

Монтаня можно сравнить с Гомером.

Боже мой, как скучен Д'Аламберт с академической диалектикой! — Я насилу мог прочитать его философию. Все из головы! — ни одной мысли из сердца! А видно, что честный человек, что желает добра людям и любит их, вопреки материализму. Жаль, что он заморозил и высушил себя математикой! — Он писал об музыке, затем что хотел прослыть светским человеком. Лучшее его сочинение есть «Предисловие к Энциклопедии». Я уверен, что если б он жил в средних веках, то был бы схоластиком и ничего более, а Дидерот был бы Кальвином или Лютером, или папистом, то есть ему надобно б было наделать шуму, жечь других или быть повешену.

Обстоятельства образуют великих людей, а потом великие люди образуют обстоятельства. Это старое!

Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? — Оттого, что он пишет о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадою? — Оттого, что он пишет о себе.

Я говорил с одним офицером про М.: «Он пишет хорошо стихи». — «И! быть не может!» — отвечал офи-

цер.— «Почему же быть не может?»—«Потому что я с ним служил в одном полку!»— Каков ответ?

Поверьте мне, что дарование редко, что его надобно уважать, даже баловать. Что б был Вольтер без Нинոны? Марот без François?

Как легко, как трудно написать книгу!— Напр⟨имер⟩, как легко написать грамматику (я не говорю философическую, я не говорю о изобретении или открытии новых истин). Как трудно написать сказку, такую, как напр⟨имер⟩, «Alcibiade»[1]. Как легко написать трактат: о союзах, о упадках государств, о ископаемом царстве, о летучих рыбах, о бобрах, о бумажной фабрике. Как трудно написать песню, такую, как пишет Сегюр. «Быть не может!»— А вот почему. Чтоб написать толстую ученую книгу, вам надобно иметь бумагу, перо и книги. Выбирай и пиши. Чтоб написать умную песню, надобно иметь сердце и ум. Однако ж иные не любят ни певца, ни дарования, а очень любят толстые книги. Я видел людей, которые стояли на коленях перед профессором, сочинителем «Лексикона» (!!!) и те же люди разговаривали с Крыловым как с простяком.

⟨...⟩ О ГОРАЦИИ

Гораций родился в самых счастливейших обстоятельствах для словесности. Латинский язык, образованный великими писател⟨ям⟩и, получил твердое основание. Высокий Лукреций, сладостный Катулл прославили Италию. Саллустий уже обнародовал до сего времени маленькую книгу, которая его поставила наряду с Титом Ливием. Кесарь, удививший сограждан высокими дарованиями, очаровал их чистотою слога своего. Одним словом Цицерон, вознесший римское красноречие на самую высшую степень, украсил прозу возможною ей гармониею. Гораций, образовавший свой вкус в отечестве, на двадцатилетнем возрасте учился философии и словесности в Афинах. На двадцать шестом году он был представлен Меценату

[1] Алкивиад *(фр.)*.

Виргилием и Варием, а вскоре и Августу самим Меценатом. Император дважды его обогащал, но не мог заставить его принять должность секретаря — ибо он дорожил своей свободою. Дарования и людскость (urbanite), отличающие сего поэта, не могли бы всегда удержать его на гряде любимца, когда б он не был исполнен *благоразумия*. Он жил в таком веке, в котором осторожность была единою позволительною добродетелью. Он не был защитником ни одной особенной секты, а пользовался учением и опытностию всех мудрецов.— Тонкий философ, тонкий придворный, Гораций доказал, что человек не может быть совершенно счастлив, что сердце наше есть источник вечных желаний, и всегда новых. Посреди шумного двора Августова, посреди театра славы своей он мечтал о уединении, восклицал: «О милый мой деревен⟨ски⟩й домик, убежище мое, когда увижу тебя!»— Он же написал сие глубокое рассуждение, исполненное чувства: *«Счастие не принадлежит богатым исключительно, и тот, кто от дня своего рождения до последнего часу жизни своей укрывался от взора человеческого, и тот не менее достоин сожаления!»*.

Он был одержим неизлечимою болезнь⟨ю⟩ тех людей, которых фортуна рано осыпает дарами — *пресыщением*. Послушаем, что он пишет к Селоту, другу своему: «Вопреки моим предприятиям, я не могу сделаться ни лучше, ни счастливее; ибо я гораздо здоровее телом, нежели умом. Я не хочу ни слушать, нижé читать то, что меня могло бы успокоить. Сержусь на верных лекарей, которые хотят меня вылечить, сержусь и на друзей моих, желающих извлечь меня из сего пагубного состояния. Одним словом, я все делаю противное моему благосостоянию и противное собственному рассудку. Когда я в Тиволи, мне хочется быть в Риме, когда я в Риме, то мне желается быть в Тиволи».— Вот что писал счастливейший из всех стихотворцев, человек, которого всегда фортуна лелеяла как любимца своего! Не должно ли жалеть об умных людях, о тех, которые своими дарованиями услаждают досуг наш, когда последний поденщик, дровосек, в поте и пыли снискивающий хлеб свой, их стократ счастливее! Если науки услаж-

дают несколько часов в жизни, то не оставляют ли они в душе какую-то пустоту, которая отвлекает нас от всех предметов, которая *разочаровывает их,* которая делает нас недовольными приближающи⟨мися⟩ друзьями и пр.?

⟨...⟩ И. М. М⟨уравьев-Апостол⟩ — любезнейший из людей, человек, который имеет блестящий ум и сердце, способное чувствовать все изящное,— сказывал мне, что он не выпускает Горация из рук, что учение сего стихотворца может заменить целый век опытности, что он всякий день более и более открывает в нем не только поэтических красот, но истин, глубоких и утешительных.

Гораций был льстец Августов. Об этом написаны были целые книги. Одни говорили, что льстить Октавию, рушителю вольности, рушителю всякого права, трусу на войне, коварному изменнику отечества и друзей, есть пятно неизгладимое. Другие, не столь строгие, утверждали, что он должен был быть благодарен императору, который усмирил междоусобную войну, водворил порядок, науки и законы, что Горациева признательность к благодетелю не есть порок и проч. Всякий может оставаться при своем мнении. Мне же кажется, что стихотворец сей, как и все люди, платил дань порокам и слабости, что трудно, очень трудно не ослепиться ласками Владельца, что Владелец, человек с увенчанной главою, есть, по словам Вольтера, волшебник, что самые строгие писатели, что пылкий Ювенал не устоял бы против ласк Августовых; одним словом, что трудно, весьма трудно судить поведение человека умного, которого слава перешла в потомство почти без пятен. Расин, честный, набожный Расин, умер от того, что Лудвиг взглянул на него косо. Но Гораций никогда не хотел продать свою вольность за золото. Он отказался от почестей, страшился забот, любил уединение. Не доказывает ли это, что он имел прекрасную душу, исполненную благородства?

К какой-то книге, которая говорит о материях отвлеченных, метафизических, была приложена кар-

тина, весьма остроумная, следующего содержания. Представлен был ребенок, перед ним зеркало. Ребенок, видя в нем свой образ, хочет его обнять. Философ, стоящий вдали, смеется над его ошибкою, а внизу картины надпись, относящаяся к мудрецу: «Quid rides? — Fabula detenarratur»[1].

⟨...⟩ Я знаю одного человека, который ежедневно влюбляется, потому что он празден. Другой же никогда влюблен не был, потому что ему недосуг. Одного почитают степенным, а другого — помешанным. Но поставьте первого на место последнего... Любовь может быть в голове, в сердце и в крови. Головная всех опаснее и всех холоднее. Это любовь мечтателей, стихотворцев и сумасшедших. Любовь сердечная менее других. Любовь в крови весьма обыкновенна: это любовь бюффона. Но истинная любовь должна быть и в голове, и в сердце, и в крови... Вот блаженство! — Вот ад!

⟨...⟩ Cosner, известный схоластик, говаривал о своих творениях, что они ему не стоили ни малейших усилий. Другие играли в кости, бросая их по столу; он бросал чернила на бумагу — это была его игра. Сколько у нас стихотворцев Cosnerов?

⟨...⟩ ЭЛЕГИЯ

Я заметил, что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда справедливо о своем искусстве. Если вы хотите научиться, то говорите с часовым мастером о часах, с офицером о солдатах, с крестьянином о землепашестве. Если хотите научиться писать, то читайте правила тех, которые подали примеры в их искусстве. Теперь дело идет не о метафизике, о поэзии, которая есть искусство самое *легкое* и самое *трудное*, которое требует прилежания и

[1] «Кто смеется? — Сказание умалчивает» *(лат.)*.

труда гораздо более, нежели как об этом думают светские люди.

〈...〉 Рыдайте, Амуры и нежные грации,
У нимфы моей на личике нежном
Розы поблекли и вянут все прелести.
Венера Всемощная! Дочерь Юпитера!
Услышь моления и жертвы усердные:
Не погуби на тебя столь похожую!

〈...〉 Я уверен в том, что Тасс нередко подражал Петрарку. Вот тому доказательство: Эрминия, начертывая на вязах имя Танкредово, погружается в сладкую задумчивость... все вокруг ее безмолвствует, природа разделяет с ней печаль ее, полуденный зной опаляет долину, козы покоятся под тенью широких ветвей...

Эта картина прелестна...

〈...〉 Мая 1811. Я недавно нашел в Донском монастыре между прочими надписями одну, которая меня тронула до слез; вот она:

НЕ УМРЕ, СПИТ ДЕВИЦА

Эти слова взяты, конечно, из Евангелия и весьма кстати приложены к девице, которая завяла на утре жизни своей, et rose elle a vecu ce que vivent les roses l'espace du matin...[1]

ЧУЖОЕ: МОЕ СОКРОВИЩЕ!

1817

〈...〉 ЧТО ПИСАТЬ В ПРОЗЕ

«Опыт об открытии Исландии» Буле. Поэма «Скандинавы» Монброна. Писарев. Маллет.

[1] роза, она прожила столько, сколько предназначено утренним розам... *(фр.)*.

О сочинении Радищева.

Что-нибудь об искусствах. Например, опыт о русском ландшафте. Смотри Геснера о ландшафте, Гиршфельда и проч. О баталиях. О рисунке карандашем и проч.

О войне и баталиях относительно к живописи и поэзии.

Что-нибудь о немецкой литературе. По крайней мере, отдать себе отчет в том, что я прочитал.

⟨...⟩ Надобно, чтобы в душе моей никогда не погасала прекрасная страсть к *прекрасному*, которое столь привлекательно в искусствах и в словесности; но не должно пресытиться им. Всему есть мера. Творения Расина, Тасса, Вергилия, Ариоста вечно пленительны для новой души: счастлив — кто умеет плакать, кто может проливать слезы удивления за тридцать лет. Гораций просил, чтобы Зевес прекратил его жизнь, когда он учинится *бесчувствен ко звукам лир*. Я очень его понимаю молитву.

⟨...⟩ МОЕ

Я заметил, что посреди великих чувств дружбы и любви имеются какие-то искры эгоизма, которые рано или поздно разгораются и дружбу и любовь пожирают. Одна добродетель, но твердая, и постоянная, и деятельная, может погасить их.

Сенека, разъезжая в дурной повозке в окрестностях пышного Рима, краснел, когда встречал богатых людей. «Кто краснеет от худой повозки,— воскликнул он,— будет гордиться богатою колесницею!» Avis au lecteur, á celui plutôt qui vient de transcrire la passage de Sénéque[1].

У Сенеки было несчетное множество костяных столов: посудите о его богатстве; верить ли похвале его бедности? Лагарп на него жестоко нападает, а из

---

[1] Поучение читателю, особенно, кто только что переписал эпизод из Сенеки *(фр.)*.

комментаторов Юст-Липсий. Справлюсь с ними. Но Лагарпу нельзя во всем верить: он человек пристрастный. Дидерот пожаловал Сенеку в Сократы,— то как не бранить его Лагарпу?

Чем более читаю Сенеку, тем более нахожу, что он похож на Шатобриана: Шатобриан — Сенека в христианстве по слогу, по душе, не смею сказать по поведению.

ПЕТЕРБУРГА ЖИЗНЬ

Квартира	500
Дрова, освещение, чай	500
Трое людей	500
Кушанье	1000
Платье	1000
Экипаж в разные времена	1000
Издержки непредви⟨денные⟩	1000
	5500

Если устрою дела мои, как желается, то могу иметь до семи тысяч: о милая независимость! Но когда, как? Все силы употреблю. Будь мне благоприятно, провидение!

Мая 3-го 1817

Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Кругом мрачное молчание. Дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, даже «Вестник Европы». Давай вспоминать старину. Давай писать набело impromptu[1], без самолюбия, и посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое. Но Монтань писал, как на ум приходило ему: верю. Но Монтань — человек истинно необыкновенный. Я сравниваю его ум с запруженным источником: поднимите шлюзу,

[1] Экспромтом *(фр.)*.

и вода хлынет и течет беспрестанно, пенясь, кипя, течет всегда чистая, всегда здоровая — отчего? Оттого, что резервуар был обилен. С маленьким умом, с вялым и небыстрым, каков мой, писать прямо набело очень трудно; но сегодня я в духе и хочу сделать tour de force[1]. Перо немного рассеет тоску мою. Итак... Но вот уж я и в тупик стал. С чего начать? о чем писать? Отдавать себе отчет в протекшем, описывать настоящее и планы будущего. Но это, признаться, очень скучно. Говорить о протекшем хорошо на старости, и то великим людям или богатым перед наследниками, которые из снисхождения слушают:

On en vaut mieux quand on est écouté[2].

Что говорить о настоящем! Оно едва ли существует. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени! Итак, пиши о чем-нибудь. Рассуждай! Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается: для меня, говорят добрые люди, рассуждать все равно, что иному умничать. Это больно. Отчего я не могу рассуждать?

Первый резон: мал ростом.
2 — не довольно дороден.
3 — рассеян.
4 — слишком снисходителен.
5 — ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами.
6 — не чиновен, не знатен, не богат.
7 — не женат.
8 — не умею играть в бостон и в вист.
9 — ни в шах и мат.
10 —
11 — После придумаю остальные резоны, по которым рассудок заставляет меня смиряться. Но писать надобно. Мне очень скучно без пера. Пробовал рисовать — не рисуется, писать вензеля — теперь ни в кого не влюблен; что же делать? Научите, добрые люди, а говорить не с кем. Не знаю, как помочь горю. Давай —

[1] Героическое усилие (*фр.*).
[2] Когда вас слушают, ваша цена возрастает (*фр.*).

подумаю. Кстати, вспоминаю чужие слова — Вольтера, помнится —

Et voilá comme on écrit l'histoire![1]

Я вспомнил их машинально, почему, не знаю. А эти слова заставляют меня вспомнить о том, чему я бывал свидетелем в жизни моей, и что видел после в описании. Какая разница — боже мой, какая!

Et voilá comme on écrit l'histoire!

Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13 и 14, видел и читал газеты и современные истории. *Сколько лжи!* И вот тому пример в «Северной почте».

Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кой о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце. Он курил, очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку — животное самое гнусное, не тем бы вспомянуть его! — и которое мы, адъютанты, исподтишка били, и ласкали в присутствии генерала: что очень не похвально, скажете вы — но что же делать? Пример подавали свыше, другие генералы, находившиеся под начальством Раев⟨ского⟩. Мало-помалу все разошлись, и я остался один. «Садись!» Сел. «Хочешь курить?» — «Очень благодарен». Я из гордости не позволял себе никакой вольности при его высокопревос⟨ходительстве⟩. «Ну так давай говорить!» — «Извольте». Слово за слово — разговор сделался любопытен. Раев⟨ский⟩ очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Он же меня любил (в это время), и слова лились рекою. Всем доставалось. Silis a cela de bon, c'est que quand il frappe, il assomme[2]. Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается. Но дело теперь о том, что он мне говорил. Кампания 1812 года была предметом нашего болтанья.

«Из меня сделали римлянина, милый Бат⟨юш-

---

[1] И вот как пишут историю! *(фр.)*.

[2] У Силиса то хорошо, что когда он бьет, то наповал *(фр.)*.

ков⟩,— сказал он мне,— из Мил⟨орадовича⟩ великого человека, из Вит⟨генштейна⟩ спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин — но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь всем движет государь. Провидение спасало отечество. Европу спасает государь, или провидение его внушает. Приехал царь — все великие люди исчезли. Он был в Петербурге, и карлы выросли. Сколько небылиц напечатали эти карлы! Про меня сказали, что я под Дашковой принес на жертву детей моих»—«Помню,— отвечал я,— в Петербурге вас до небес превозносили».—«За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадови⟨ча⟩ и Остермана. Вот слава! вот плоды трудов!»—«Но помилуйте, ваше высокопр⟨евосходительство⟩!— не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе — или что-то тому подобное». Раев⟨ский⟩ засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля прострелила ему панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковс⟨кий⟩) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilá ćomme on écrit l'histoire!»

Вот что мне говорил Раев⟨ский⟩.

Но охотникам до анекдотов я могу рассказать другой, не менее любопытный, и который доказывает его присутствие ума и обнажает его душу; он мне не сделал никакого добра, но хвалить его мне приятно, хвалить как истинного героя, и я с удовольствием теперь, в тишине сельского кабинета, воспоминаю старину. Под Лейпцигом мы бились (4-го ч⟨исла⟩) у красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел

неудовольствие на лице его, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною. Писарев летал, как вихорь, на коне по грудам тел — точно по грудам — и Рае⟨вский⟩ мне говорил: «Он молодец».

Французы усиливались. Мы слабели: но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: «Б⟨атюшков⟩, посмотри, что у меня». Взял меня за руку (мы были верхами), и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута — еще другая — пули летали беспрестанно,— наконец, Р⟨аевский⟩, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагом: я ранен жестоко!» Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Казак указал мне на деревню пикою, проговоря: «Он там ожидает вас». Мы прилетели. Р⟨аевский⟩ сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. Помнится, Давыдовым и Медемом, храбрейшими и лучшими из товарищей. На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за вороты на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку — пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно: я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего»,— отвечал Р⟨аевский⟩ (который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш) и потом, оборотясь ко мне: «Чего бояться, г⟨осподин⟩ Поэт (он так называл меня в шутку,

когда был весел): Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie. Il a dans les combats coulé pour la patrie[1].

И это он сказал с необыкновенною живостью. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжко раненного генерала — лучшего, может быть, из всей армии — беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты! одним словом, все обстоятельства придавали интерес этим стихам. Вот анекдот. Он стоит тяжелой прозы «Северной почты»: «Ребята, вперед» и проч. За истину его я ручаюсь. Я был свидетелем, Давыдов, Медем и лекарь Витгенштейновой главной квартиры.

Он тем более важен, сей анекдот, что про Раевск⟨ого⟩ набрать не много. Он молчалив, скромен отчасти, скрыт, недоверчив, знает людей, не уважает ими. Он, одним словом, во всем контраст Милорадовичу и, кажется, находит удовольствие не походить на него ни в чем. У него есть большие слабости и великие военные качества. С лишком одиннадцать месяцев я был при нем неотлучен. Спал и ел при нем: я его знаю совершенно, более нежели он меня. И здесь, про себя, с удовольствием отдаю ему справедливость, не угождением, не признательностию исторгнутую. Раевский славный воин и иногда хороший человек — иногда очень странный.

Вот что я намарал не херя. Слава богу! Часок пролетел так, что я его и не приметил. Я могу писать скоро, без поправок, и буду писать все, что придет на ум, пока лень не выдернет пера из руки.

8 мая.

Я предполагал — случилось иначе — что нынешнею весною могу предпринять путешествие для моего здоровья по России. В половине апреля быть в Москве. Закупить все нужное, книги, вещи, экипаж. Провести три недели посреди шума городского. Посоветоваться с лекарями, и в первых числах мая отправиться на Кавказ. Пробыть там два курса, а на осень в Тавриду. Конец сентября, октябрь и ноябрь

---

[1] У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь.
Она в сраженьях пролита за родину *(фр.)*.

весь пробыть на берегах Черного моря, в счастливейшей стране, и потом через Киев, к Новому году воротиться в Москву.— Но ветры унесли мои желания!

В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научать снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке.

Для того, чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде,— писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами,— надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался: рано или поздно писанное в прозе пригодится.— «Она питательница стиха»,— сказал Альфьери, если память мне не изменила. Кстати, о памяти, моя так упряма, своенравна, что я прихожу часто в отчаяние. Учу наизусть стихи и ничего затвердить не мог: одни италианские врезываются в моей памяти. Отчего? Не оттого ли, что они угождают слуху более других.

Я прежде мало писал от лени, теперь от болезни, и мир ушам!

Сен-Ламбер советует экзаменовать себя по истечении некоторого времени: прекрасный способ. Лучшее средство уничтожать некоторую часть своего самолюбия. Самый ученейший человек без книг, без пособий знает мало и не твердо. Знание профессоров науки есть знание или *искусство* пользоваться чужими сведениями.

В прекрасных садах Швенцина и потом, в трактире местном, я видел в первый раз Ланского и Уша-

кова. Генералы оба, и оба убиты в 1814, под Лаоном, если не ошибаюсь. Блюхера видел в первый раз во Франкфурте-на-Майне, потом в сражении под Бриенном. Клейста в Богемии и под Лейпцигом часто. Цитена в Ноллендорфе часто. Шварценберга — везде. Славного Воронцова я видел в окрестностях Парижа.

«Быть весьма умным, весьма сведущим — не в нашей состоит воле; быть уже героем в деле зависит от каждого. Кто же не захочет быть героем?»— Так говорит Воронцов в приказе 12-й дивизии 1815. Но я здесь в тишине думаю, и, конечно, не ошибаюсь, что эти слова можно приложить и к дарованию; вот как: не в нашей воле иметь дарования, часто не в нашей воле развить и те, которые нам дала природа, но быть честным в нашей воле: ergo![1]. Но быть добрым в нашей воле, ergo! Но быть снисходительным, великодушным, постоянным в нашей воле. Ergo!

Карамзин мне говорил однажды: «Человек создан трудиться, работать и наслаждаться. Он всех тварей живущее, он все перенести может. Для него нет совершенного лишения, совершенного бедствия — я, по крайней мере, не знаю — кроме *бесславия*»,— прибавил он, подумав немного.

Может быть, лучший признак мудрости есть кротость, «*тихий нрав в крови*», как говорит Державин.

Слава богу, еще можно жить и наслаждаться жизнию: прогулка в поле не скучна; это я сегодня с радостию испытал.

С какой стороны ни рассматривай человека и себя в обществе, найдешь, что снисхождение должно быть первою добродетелию. Снисхождение в речах, в поступках, в мыслях: оно-то дает эту прелесть доброты, которая едва ли не любезнее всего на свете. Наморщить лоб и взять Ювеналову дубину не так-то трудно. Но шутить с жизнию, как Гораций,— вот истинный камень философии. Снисхождение должно иметь границы. Брань пороку, прощение слабости. Рассудок отличит порок от слабости. Надобно быть снисходительным и к себе: сделал дурно сегодня — не унывай: теперь упал — завтра встанешь. Не ва-

[1] следовательно *(лат.)*.

ляйся только в грязи. Мемнон хотел быть совершенно добродетельным и очутился без глаза. Александр убил Клита и загладил преступление свое великими делами. Несчастия, болезни часто лишают нас снисхождения или благоволения, но должно стараться вырвать их из рук несчастия и вечно таить в сердце.

⟨...⟩ В 1814, в бытность мою в Париже, я жил у Д⟨амаса⟩ и сделался болен. Послал в ближайшую биб⟨лиотеку⟩ за книгами. Приносят «Paul et Virginie»[1], которую я читал уже несколько раз, читал и заливался слезами, и какие слезы! Самые приятнейшие, чистейшие! После шума военного, после ядер и грома, после страшного зрелища разрушения и, наконец, после всей роскоши и прелести нового Вавилона, которые я успел уже вкусить до пресыщения, чтение этой книги облегчило мое сердце и примирило с миром. Автор оной, Bernardin de St-Pierre, умер незадолго перед нами. Он много странствовал, служил в России офицером и, видно, был несчастлив. Мечтатель, подобный Руссо. Его философия — бред, в котором сияет воображение и всегда видно доброе и чувствительное сердце.

Выслушайте меня, бога ради. Я намекну вам только, каким образом можно составить книгу приятную и полезную. Удивляюсь, что ни один из наших литераторов не принялся за подобный труд. Вот план en grand[2].

Говорить об одной русской словесности, не начиная с Лединых яиц, не излагая новых теорий: но говорить просто, как можно приятнее и яснее для людей светских; и предполагая, что читатели имеют обширные сведения в иностранной литературе, но своей собственной не знают, показать им ее рождение, ход, сходство и разницу ее от других литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших.

[1] «Поля и Виргинию» *(фр.)*.
[2] в целом *(фр.)*.

Дайте форму, какую вздумаете. Но вот изложение материй.

1. О славенском языке. Опять не начинать от Сима, Хама и Афета! А с Библии, которую мы, по привычке, зовем славенскою. О русском языке.

2. О языке во времена некоторых князей и царей. Влияние (пагубное) татар.

3. О языке во времена Петра I. Проповедники. Переводы иностранных книг по именному указу.

4. Тредьяковский и его товарищи. Путешественники и ученые. 5 и 6. Кантемир. Статья интересная. Академия наук. Ученые иностранцы. Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литера⟨туру⟩.

7. *Ломоносов* ⟨рисунок солнца⟩.

8. Сумароков.

9. Современные им писатели.

10. *Фонвизин.* Образование прозы.

11. Болтин, Елагин, историки. Переводчики.

12. Обозрение журналов. Влияние их. Участие Екатерины в издании «Собеседника». Придворный театр. Господствование французской словесности и вольтерианизм. Желание имп⟨ератрицы⟩ воскресить старинный язык русский. Несообразности.

13. Петров, Майков.

14. *Державин:* «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный».

15. Подражатели его. Взгляд на словесность вообще. Успехи. Недостатки.

16. *Богданович.* Влияние его.

17. *Херасков.* Проза его и стихи.

18. *Карамзин.* Ход его. Влияние на язык вообще.

19. *Дмитриев.* Характер его дарования, красивость и точность. Он то же делает у нас, что Буало или Попе у себя.

20. Подражатели их.

21. Княжнин. Взгляд на театр вообще. Княжнина комедия и трагедия. Может быть, климат и конституция не позволяют нам иметь своего, национального театра.

22. *Озеров.*

23. Хемницер. Крылов. Жуковский.

24. *Муравьев.* Книги его изданы недавно. Он первый говорил о морали. Он выше своего времени и духом и сведениями.

25. Бобров. Мерзляков. Востоков. Воейков. Переводы Кострова и Гнедича. Пушкин. Вяземский. Сумароков Панкратий. Нелединский. Взгляд на издание Жуковского и потом Кавелина. Замечание на письма И. М. 〈Муравьева-Апостола〉 из Нижнего.

26. *Шишков.* Его мнения. Он прав, он виноват. Его противники: Макаров, Дашков, Никольский.

27. Обозрение словесности с тех пор, как Карамзин оставил «Вестник». Труды Каченовского.

28. Статьи интересные о некоторых писателях, как то: Радищев, Пнин. Беницки〈й〉. Колычев.

Словесность надлежит разделить на эпохи.

I. Ломоносова.

II. Фонвизина.

III. Державина.

IV. Карамзина.

V. До времен наших.

Сии эпохи должны быть ясными точками. Потом: не должно из виду упускать действие иностранных языков на наш язык. Переводы ученых с греческого и латинского. Что заняли мы у французов, и какое действие имели переводы романов Вольтера и проч.

Новикова труды. Влияние новорожденной немецкой словесности и отчасти английской. В чем мы успели? Почему лирический род процветал и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но не долго? Влияние церковного языка на гражданский и гражданского на духовное красноречие. Все сии вопросы требуют ясного разрешения и должны быть размещены по приличным местам.

Должно представить картину нравов при Петре, Елисавете и Екатерине: до Ломоносова, при нем, при Державине, при Карамзине. Пустословить на кафедре по следам Батте и Бутеверка легко; но какая польза? Здесь надобно говорить дело просто, свободно, приятно.

«Tout vouloir est d'un fou»[1],— сказал Вольтер, который сам погрешил, желая успеть во всех родах словесности: границы есть уму, и даже величайшему. Может ли один человек написать басни Лафонтеновы, Шекспирова «Отелло», Мольерова «Мизантропа» и Д'Аламбертово «Предисловие к Энциклопедии»? Нет, конечно. Зачем же Вольтер... но бог с ним!

Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж и что Москва сожжена — до сих пор сомневаются. Но не надобно вдаваться в другую крайность. Не надобно беспрестанно слоняться из одной литерат⟨уры⟩ в другую или заниматься одною древностию. И те, и другие *шалеют,* как говорит мой чистосердечный Кантемир о сытом и моте. Есть середина.

Какая пучина! Англичане, немцы, итальянцы, португальцы, гишпанцы, французы, восточные полуденные народы, и вечные древние! Кто обнимет все творение ума человеческого! и зачем? Крылов ничего не читает, кроме «Всемирного путешественника», расходной книги и календаря, а его будут читать и внуки наши. Талант нелюбопытен — ум жаден к новости: но что в уме без таланта, скажите, бога ради! И талант есть ум — правда! Но ум сосредоточенный.

Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию. И странно бы было русскому или италиянцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония, не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:

На светло-голубом эфире
Златая плавала луна
и пр.

И оды «*Соловей*» Державина. Но какая гармония в «Водопаде» и в «Оде на смерть Мещерского»: «Глагол времен, металла звон!»

Данте — великий поэт: он говорит памяти, уху,

[1] Всего желать свойственно безумцу *(фр.).*

глазам, рассудку, воображению, сердцу. Есть писатели, у которых слог темен; у иных мутен. Мутен, когда слова не на месте, темен, когда слова не выражают мысли или мысли не ясны от недостатка точности и натуральной логики. Можно быть глубокомысленным и не темным, и должно быть ясным, всегда ясным для людей образованных и для великих душ.

Ученость сушит ум, рассеяние — сердце.

Театральные издержки в Греции были столь высоки, что представление одной трагедии Софокла и Эврипида стоило государству более, нежели война с персами, говорит Плутарх. Мы платим актерам по двести, по триста рублей; лучшему тысячи две в год. Наши декорации не стоят ничего. Зато... у нас и трагики, и комики, и зрители!

⟨...⟩ N.N.N

?

Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, *каких много!* Вот некоторые черты его характера и жизни.

Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнию с чудесною беспечностию, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность; какого бы рода ни было, есть свинцовое бремя. Когда долг призывает к чему-нибудь, он исполняет великодушно, точно так, как в болезни принимает ревень, не поморщившись. Но что в этом хорошего? К чему служит это? Он мало вещей или обязанностей считает за долг, ибо его маленькая голова любит философствовать, но так криво, так косо, что это вредит ему беспрестанно. Он служил в военной службе и в гражданской: в пер-

вой очень усердно и очень не удачно; во второй — удачно и очень не усердно. Обе службы ему надоели, ибо, поистине, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста! Как растолкуют это? Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка.

В нем два человека. Один добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил. Другой человек — не думайте, чтобы я увеличивал его дурные качества, право нет — и вы увидите сами, почему,— другой человек — злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь доброго: надобно только смотреть пристально и долго. За это единственно я люблю его! Горе, кто знает его с профили! Послушайте далее: он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто. Ум его очень длинен и очень узок. Терпение его, от болезни ли или от другой причины, очень слабо; внимание рассеяно, память вялая и притуплена чтением: посудите сами, как успеть ему в чем-нибудь?

В обществе он иногда очень мил, иногда очень нравился каким-то особенным манером, тогда как приносили в него доброту сердечную, беспечность и снисходительность к людям. Но как стали приносить самолюбие, уважение к себе, упрямство в душу усталую, то все увидели в нем человека моего с *профили.* Он иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать — иногда туп, косноязычен, застенчив. Он жил в аде — он был на Олимпе. Это приметно в нем. Он благословен, он проклят каким-то гением. Три дни думает о добре, желает делать доброе дело — вдруг недостанет терпения — на четвертый он сделается зол, неблагодарен; тогда не смотрите на профиль его! Он умеет говорить очень колко; пишет иногда очень

остро насчет ближнего. Но тот человек, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ добрый, любит людей и горестно плачет над эпиграммами черного человека. Белый человек спасает черного слезами перед творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми. Дурной человек все портит и всему мешает: он надменнее сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу-хранителю. Каким странным образом здесь два составляют одно? Зло так тесно связано с добром и отличено столь резкими чертами? Откуда этот человек, или эти человеки, белый и черный, составляющие нашего знакомца? Но продолжим его изображение.

Он — который из них, белый или черный? — он или они оба любят славу. Черный все любит, даже готов стать на колени и Христа ради просить, чтобы его похвалили, так он суетен — другой, напротив того, любит славу, как любил ее Ломоносов, и удивляется черному нахалу. У белого совесть чувствитель⟨на⟩, у другого медный лоб. Белый обожает друзей и готов для них в огонь — черный не даст и ногтей обстричь для дружества, так он любит себя пламенно. Но в дружестве, когда дело идет о дружестве, черному нет места: белый на страже! В любви... но не кончим изображения, оно и гнусно, и прелестно! Все, что ни скажешь хорошего на счет белого, черный припишет себе. Заключим: эти два человека, или сей один человек, живет теперь в деревне и пишет свой портрет пером по бумаге. Пожелаем ему доброго аппетита, он идет обедать.

Это я! Догадались ли теперь?

⟨...⟩ Сен-Ламбер (или Ларошфуко) решительно сказал, что мы вылечиваемся от всех недостатков, если имеем на то добрую волю; но слабость характера — неизлечима. Полно, верить ли этому? *Внимание* есть удивительный рычаг в морали. Оно делает чудеса. Внимание может даровать некоторое последование, некоторый порядок в поступках наших, некоторое равновесие мыслям и делам, и мы уже вылечены от половины слабости. Часто лучшие свойства сердца

называются *слабостию* людьми непрозорливыми. С первого взгляду Сократ казался слабым человеком. Его Ксантиппа делала из него, что хотела, и проливала на его священную голову помои из окна своего. «*После бури бывает дождь*», — повторял мудрец, отряхая с себя воду. Но какую надобно иметь твердость души, чтобы сказать сии слова без гнева, с кротостию и с этою ирониею, исполненною человеколюбия, с этою усмешкою, которой Сократ дал имя свое! От слабого человека требуется вдвое добродетели. Ибо, как говорит седой Державин: «Как бедный часовой тот жалок, который вечно на часах!» Слабому человеку необходимо надобно держать в узде не только порочные страсти, но даже самые благороднейшие. Один поступок твердости дает силу чинить другой подобный. Ничто не дает такой силы уму, сердцу, душе, как беспрестанная честность. Честность есть прямая линия: она ближе к истине, нежели кривые. Как легко развратиться в обществе, но зато какая честь выдержать все его отравы и прелести, не покидая копья! Великая душа находит, отверзает себе повсюду славное и в безвестности поприще: нет такого места, где бы не можно было воевать с собою и одерживать победы над самим собою. Повинуемся судьбе не слепой, а зрячей, ибо она есть не что иное, как воля творца нашего. Он простит слабость нашу: в нем сила наша, а не в самом человеке, как говорят стоики.

⟨...⟩ В армии встречаешь много карикатур, но подобной Кроссару не всякому удастся встретить.

Мы дрались под Гайерсбергом, в горах у Теплица. Раевский стоял в дефилее — пули свистали. Является к нам офицер в свитском мундире, весь в крестах, и в петлице Мария-Терезия. Конь его в поту, у него самого пена у рта, и пот с него градом сыплется, глаза горят, как угли, и толстая нагайка гуляет беспрестанно с правого плеча на левое. «Bonjour, mon général!» — «Ah, bonjour Crossard!»[1] И слово за слово,

[1] «Здравствуйте, мой генерал!» — «А, привет, Кроссар!» *(фр.)*.

вижу — мой Кроссар вынимает толстую тетрадь: отгадайте, что? План будущей кампании, проект, бред, одним словом. Он хочет читать ее, толковать — где? Под пулями, в горячем деле. Раевс⟨кий⟩ оттолкнул его и отворотился. Но Кроссар любил Раевского, как любовник. Где генерал дерется, там и Кроссар с нагайкой и советами. Под Лейпцигом он нас не покидал. Дело было ужасное, и Кроссар утопал в удовольствии. Он вертелся, как белка на колесе, около генерала. Лошадь его упрямилась. Подъезжает ко мне: «Camarade, rendez — moi un service eclatant»[1] — «Что вам угодно?» — «Rossez mon cheval, je vous prie. La! Bon. Encore un coup, mais frapper fort!»[2] Я и товарищи секли его лошадь без жалости под пулями и картечью; всадник на ней прыгал беспрестанно, в пыли, в поту, в треугольной шляпе оборванной, и красный, как рак. Он, австриец, в 1812 году перебежал к нам. Он бросил перчатку Наполеону. Он дышит только в войне, любовник пламенный пуль и выстрелов.

⟨...⟩ МОИ

Читаю Сенеку. Он очень остроумно называет Эпикура, проповедующего науку сладострастия, мужчиною в женском платье. Не можно ли сказать то же о Сенеке, угоднике Нерона, но наоборот? Впрочем, читая его письма, можно с ним примириться; можно решительно сказать, что он имел великую, прекрасную душу и ум необыкновенно проницательный. Он обнимал все сведения современников, и книга его, как история ума человеческого во времена Нерона, весьма интересна. Он удивительный мастер завострить мысль самую обыкновенную и в этом похож более на новейшего писателя, нежели на древнего. Я и в переводах вижу, что Цицерон никогда не прибегал к сим побочным средствам: как же разница меж

[1] «Товарищ, окажите мне важную услугу» *(фр.)*.
[2] «Ударьте мою лошадь, прошу вас. Так! Хорошо! Еще разок, ну, посильней!» *(фр.)*.

ним и Сенекою должна быть чувствительна для тех, которые имеют счастие читать в подлиннике обоих авторов!

⟨...⟩ У Гнедича есть прекрасное и самое редкое качество: он с ребяческим простодушием любит искать красоты в том, что читает; это самый лучший способ с пользою читать, обогащать себя, наслаждаться. Он мало читает, но хорошо. И горе тому, кто раскрывает книгу с тем, чтобы хватать погрешности, прятать их и при случае закричать: «Поймал! Смотрите! Какова глупость!» Простодушие и снисхождение есть признак головы, образованной для искусств. И впрямь, мало таких произведений пера, живописи, искусств вообще, в которых бы ничего занять было невозможно: иногда погрешности самые наставительные. С одной стороны, и ученик опрокинет одним махом руки все здания Шекспира и Державина; с другой стороны, основания их вечны. Станем наслаждаться прекрасным, более хвалить и менее осуждать! Слова спасителя о нищих духом, наследующих царством небесным, можно применить и к области словесности.

Вспоминаю: Дмитриев рассказывал мне следующий анекдот о Державине, который очень любопытен для наблюдателя. Когда вышел «Анахарсис» Бартелеми, то Державин просил неотступно Дмитриева и Петрова (Агатон Карамзина) достать ему эту книгу. Промыслили немецкий перевод. Державин продержал день, два, три, неделю и более. «Прочитали ли вы?» — «Нет еще». Приходят через месяц, требуют книгу. «Возьмите, вот она!» И впрямь, она лежала на столе, но вся в пыли, в пудре. «Как понравился вам «Анахарсис»? Я чаю, вы в восхищении»,— спрашивали Дмитриев и Петров. «Я, виноват, не прочитал ее. Начал и не мог кончить... от скуки». У друзей опустились руки. Они поглядывали друг на друга и не знали, верить ли ушам своим. Но вот что всего удивительнее. Державина зовут на обед — не едет; на ужин, на бал — не поспел и отговорился болезнию. Дмитриев, приглашенный в те же самые дома, узнает о болезни Г⟨аврилы⟩ Р⟨омановича⟩ и спешит навестить его,

и застает растрепанного, в шлафроке, с книгою в руках. «Вы не здоровы?» — «Нет, — отвечал стихотворец, рассмеявшись; я заленился, и эта книжка меня удержала дома; не мог расстаться с нею!» Отгадайте, какая это была книга? Ну, Пиндар! Анакреонт! или проповедь Платонова, или что-нибудь новое о политике? Совсем не то. Сокольничий устав, при царе Алексее Михайловиче изданный.

После того позволено сказать: что может быть страннее и упрямее головы великого человека! Этот анекдот меня поразил и пленил, рассказанный Дмитриевым, который говорит, как пишет, и пишет так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит.

В мире надобно стряхнуть с себя прах воинский у алтаря муз и пожертвовать грациям.

Все почти без исключения, все гишпанские стихотворцы были воины, и что всего удивительнее, посреди варварской войны Карла V, посреди опустошений, пожаров Европы и костров инквизиции они воспевали ...эклоги. Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною, деятельною жизнию воина. Гораций бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни служил адъютантом.

Сервантес потерял руку при Лепанте.

⟨...⟩ Еще одна странность Державина. Когда появились его оды, то появились и критики. Чем более хвалителей, тем более и врагов; это дело обыкновенное! Между прочими г. Неп⟨люев⟩ отзывался о Державине с презрением, не только отрицал ему в таланте, но утверждал решительно, что Державин (которого он лично не знал) должен быть величайший невежда, человек тупой и тому подобное. Пересказывают Державину: он вспыхнул. На другой день поэт отправляется к г. Неп⟨люеву⟩. «Не удивляйтесь, что меня видите. Вы меня бранили, как поэта; прошу вас, познакомьтесь со мною, может

быть, найдете во мне хорошую сторону, найдете, что я не так глуп, не такой невежда, как полагаете; может быть, смею ласкать себя надеждою, и полюбите меня».— Представьте себе удивление хозяина! Он и жена приглашают Гавр⟨илу⟩ Ром⟨ановича⟩ обедать, потчевают, угощают, не знают, что сказать ему, где посадить его. Державин продолжает ездить в дом и остается навсегда знакомым, даже приятелем.

Я принят в общество любителей словесности *Московское,* 1817 — весною.

Того же года — в *Казанское.*

В «Арзамас»— 1816, под именем Ахилла, сына Пелеева.

Письма





Н. И. ГНЕДИЧУ

2 марта 1807 г. Нарва

Портфель моя уехала, и я принужден писать на этой бумаге из Нарвы; устал, как собака, но все пишу, сколько могу. Не забывай, брат, меня; хоть строку напиши в Ригу. Я здоров, как корова. Я чай, твой Ахиллес пьяный столько вина и водки не пивал, как я походом. Пиши ко мне хоть в стихах; Музы меня совсем оставили за Красным Кабаком. Дай хоть в Риге услышать отголосок твоего песнопения.

Ужели слышать все докучный барабан?
Пусть дружество еще, проникнув тихим гласом,
Хотя на час один соединит с Парнасом
Того, кто невзначай Ареев вздел кафтан
И с клячей величавой
Пустился кое-как за славой.

Вот тебе impromtu[1]. Лучше не умею и не хочу.

Пиши, мой друг, ко мне; я тебя, право, люблю душевно, да и как не любить того, с кем мог отводить душу с душой. Хозяин мой — немец, не поколотить ли его? А как не даст кофею? Ну, бог с ним! Пусть и собаки в покое будут.

Я тебе прилагаю записку к сестре, возьми у нее 25 р. и выкупи одни часы, а, выкупив, отдай их ей, другие же пересрочь. Кланяйся всем знакомым в ноги. Я всех люблю. Ей-богу! Лаптевича попроси, чтобы

[1] экспромт *(фр.)*.

приписнул. Какова его горячка? Поход научит всему. Я, как каторжный: люди спят, а я из одного места в другое. Покоя ни на час. Дай кофею напиться.

Что у вас в Питере — на Парнасе и в департаменте? Напиши мне десть кругом. Пусть все пишут, я читать стану. Чем глупее, тем лучше. Прощай.

Можешь письмо сие показать сестре Александре. Сходи к ней.

Н. И. ГНЕДИЧУ

19 марта ⟨1807 г.⟩ Рига

Я получил, любезный Николай, твое письмо и порадовался душевно о том, что ты меня не позабыл и любишь, как прежде. Ты знаешь, что я чудак и не люблю в глаза льстить, но теперь разлука дает мне право сказать тебе, что один у меня друг, и истина сия запечатлена в моем сердце навеки. Доказательство тому, что я тебя люблю, как брата, есть то, что к тебе пишу, одолев и самую лень, и болезнь. Я в Риге остался за болезнию на несколько дней, хотя уже полк и очень впереди. Но теперь легче, и поеду завтра на курьерских догонять дружину. Пиши ко мне, а письма отсылай к сестре Александре чрез купца Ивана Алексеева. Одно утешение — говорить с тобою, хотя на бумаге. Да пиши не на листе, а на трех, не в один присест, а во многие. Всякое слово для меня дорого в разлуке. Вы, петербургские баловни, и не чувствуете цены писем. Закоснели в грязи. Я теперь в Риге, царстве табака и чудаков: немцев иначе называть и не можно. Если меня любишь, то выполни мою просьбу: принеси в жертву какую-нибудь трагедию Шиллера. ⟨...⟩ Мне очень нравится военное ремесло. Что будет вперед, бог весть. Брани меня, а я штатскую службу ненавижу, чернила надоели; а стихи все люблю, хотя они меня не любят, и вопреки тебе буду у тебя просить стихов. Поклонись Меценату-Капнисту. Да скажи ему, что я не только Тасса с собой не взял, но даже нет ни одного полустишия. А сражение опишу верно мерою отца Тредьяковского и прямо буду бессмертен.

Вообрази себе меня едущего на рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и с словом:

О доблесть дивная, о подвиги геройски!

прямо на бок и с лошади долой. Но это не беда! Лучше упасть с Буцефала, нежели падать, подобно Боброву, с Пегаса.

Вот тебе стихи:

По чести мудрено в санях или верхом,
Когда кричат: «марш, марш, слушай» кругом,
Писать к тебе, мой друг, посланья...
Нет, музы, убоясь со мной свиданья,
Честненько в Петербург иль бог знает куда
Изволили сокрыться,
А мне без них беда!
Кто волком выть привык, тому не разучиться
По волчьи и ходить, и лаять завсегда.
Частенько, погрузясь в священну думу,
Не слыша барабанов шуму
И крику резкого осанистых стрелков,
Я крылья придаю моей ужасной кляче
И — прямо на Парнас! Или иначе,
Не говоря красивых слов,
Очутится пред мной печальная корчма:
Где ветер от всех сторон в разбиты окны дует,
И где любовницу нахмурясь кот целует,
Там Финна бедного сума
С усталых плеч валится;
Несчастный к уголку садится
И, слезы утерев раздранным рукавом,
Догладывает хлеб мякинной и голодной...
Несчастный сын страны холодной,
Он с голодом, войной и русскими знаком!

Вот тебе стихи!

Государь только откушал в Риге и поехал далее. Здешняя уморительная немецкая гвардия встречала его верхом. Я этого не видал, но видел сих героев. Они занимают гауптвахты по всему городу. Карикатуры, каких и Брейткопф сам нарисовать не может! Я, увидя их, чуть не умер со смеху. Одеты очень богато и важничают... Уроды!

Поклонись от меня Караулову и попроси, чтоб писал. Лаптевич, если не умер от недугов, то верно также что-нибудь намарает. Скажи этим скотам, что я их люблю, хотя они ни м. ч. не стоят оба.

Что ты делаешь на Исаакиевской площади? Да мир ниспустится на твою сень! Да с миром пребудут твои лары и пенаты, и все домашние боги, и вся утварь, от Гомера до урыльника! Да томная твоя Мальвина, подобно облаку утреннему, ежечасно кропит помост храма твоего чистейшею росою (т. е. .....т), и да ты сам, бард именитый, пиеши чай спокойно с твоей подругою и обо мне, страннике, мыслию в часы вечерней священной меланхолии печально веселитеся и проч.!

Постарайся сам увидеть сестриц и попросить, чтоб чаще ко мне писали. Да и ты меня не забывай. Что твой Гомер? Что Костров? Что греческий язык? Напиши мне об этом. Также играют ли *Донского?* Что противная партия? Что Озеров? Что Капнист? Это знать очень интересно.

Мы идем, как говорят, прямо в лоб на французов. Дай бог поскорее! Хоть поход и весел, но тяжел, особливо в моей должности. Как собака, на все стороны рвусь.

Пожалуйста, не забывай меня и люби, как друга. Ни время, ни расстояние, ни разлука не загладят в душе моей чувства дружбы, которое буду к тебе питать. Может быть, нашел или найдешь людей, которые будут краснее говорить, но верно не найдешь никого, кто бы так любил тебя, как я. Прощай.

Кланяйся своей подруге и всем знакомым. Теперь спать хочется. Ужинал мало: 10 яиц, да курицу скушать изволил.

Константин Батюшков

Н. А. ОЛЕНИНУ

11 мая 1807 г. Шавли

Вы верно удивитесь, когда прочитаете вместо Тельша Шавли; но человек предпринимает, а бог располагает. Пришед в Митаву, мне сказали, что теперь уж войска не идут на Тельш, а на Шавли, потому что дорога прямая очень дурна, о чем я взял от губернатора бумагу для своего оправдания и пошел на Шавли; имев же повеление от его сиятельства

идти на Тельш, пойду туда отсюда, хотя и сделает это крюку около 70 верст. Но я боюсь остаться в Шавли ожидать приказания, как выходить за границу. Признаюсь вам, что я бы очень хотел остаться здесь, чтоб иметь другую дорогу с Тверским баталионом, который я везде нагоняю, за что Елагин сердится. Благодаря бога, больных у меня против других полков очень мало; боюсь теперь, чтоб не случилось чего. Здесь частенько прячут в землю и жидов, и поляков. Ну, уж пришел в землю: ни хлеба, ни лошадей! Принуждены посылать по деревням своих офицеров. Не знаю, как пойду дальше. По обеим сторонам дороги мостовая из лошадей, и всему, как кажется, причина — худое расписание г. губернатора, ибо не дают с других уездов, а все с одного. Вчера, читая газеты, увидел, что *Димитрий* уже в продаже. Нельзя ли прикомандировать Донского на Вислу, чтоб с трепетом сказать иноплеменным:

Языки, ведайте, велик российский бог!

Вы не поверите, с каким удовольствием читал я приказ, отданный государем по прибытии его к армии. Велик российский бог! Здесь есть раненые наши русские: никто не дает им никогда ничего; здесь есть три лакея Бернадота: они везде приняты, и их содержат, как офицеров. Прошу эту посылку решить, куда вся сумма! Часто вспоминаю я наши беседы, и как мы критиковали с вами проклятый музский народ! -- !!!!! Грусть меня давит: скорее бы к армии! Не забуду об Хрущове. Не могу понять, что от вас нет писем ни в Ригу, ни в Митаву. Вы меня забыли. Не ленитесь, хоть строчку, так я и доволен. Поклонитесь барыне и всему вашему семейству, Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому. Напомните, что есть же один поэт,

...которого судьбы премены
Заставили забыть источник Иппокрены,
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье,
Не перушки чинить, но чистить лишь копье;
Заставили, приняв солдатский вид суровой,
Идти, нахмурившись, прескучною дорогой,
Дорогой, где язык похож на крик зверей,
Дорогой грязною, что к горести моей
Не приведет меня во храм бессмертны славы,
А может быть, в корчму, стоящу близ ворот.

Кончу письмо мое, сказав из *Самозванца Димитрия.*

> Завидна участь мне людей и самых нижних!
> И нищий в бедности спокоен иногда,
> А я здесь царствую и мучуся всегда.

Что ваши эскадроны? Я говорю об офицерах. Стрелки бесподобные. Право, могу показать баталион государю. Что ни скажи, все сделают с точностию.

Н. И. ГНЕДИЧУ

(Начало 1808 г. Деревня)

Любезный друг мой Николай Иванович. Я от тебя не получаю писем, но вижу, что ты здоров и берешь участие обо мне, взяв перо за Абрама Ильича. Письмо сие меня истинно утешило. Прочитай другое, которое я у сего прилагаю, и ты можешь явно увидеть разницу чувствований и мыслей, которые должны были во мне произойти при чтении как одного, так и другого. Я Абрама Ильича не виню, ему и времени не было думать. Но виню русского Фрелона, который и при извещении о смерти сестры и друга моего осмелился излить яд не только на меня, но и на сестер моих. Посуди сам, приятно ли это? Скажу еще тебе, что я столько испытал новых горестей и к толиким приготовлен, что и жизнь мне в тягость. Но оставим это и поговорим о петербургских делах.— Будут ли сестрицы? Видишься ли с ними? И что они делают? Напиши мне, любезный друг, и не огорчай меня более упреками. Я еду в Вологду заложить 280 душ. Ныне же расплачусь с долгами, зиму проживу здесь в берлоге один, в сентябре подав просьбу в отставку, а весной бог знает — может быть, меня и долго не увидишь. Я очень скучен; время у меня на плечах, как свинцовое бремя. И что делать? Мне кажется, что и музы-утешительницы оставили; книга из рук падает; вот мое положение. Итак, если бы из сострадания ты укротил перо свое и не делал совсем ненужных упреков! Чтобы судить вещь, а паче человека, должно его видеть со всех сторон, знать все обстоятельно, и тогда

только, подумавши, решиться... Но и тогда я бы боялся суд положить⟨...⟩

Я очень беспокоюсь, не получая известий об Оленине. Постарайся, чтобы выслали медаль. Пришли «Вестник Драматический» и книг, что обещал, на сто рублей. Это и тебе бы было полезно, ибо я тебе могу деньги скоро выслать.

Прощай.

Константин Батюшков.

Если тебе нужны деньги, то прими пособие от друга: у меня будут лишния. Поверь мне: отказ унизит тебя.

Я послал тебе 20. Купи медаль в пряжке. Не худо бы было и с аннинским крестиком.

Н. И. ГНЕДИЧУ

24 апреля 1808 г. ⟨Деревня⟩.

Любезный Николай Иванович. Я получил только теперь письмо твое и удовольствием почитаю тотчас тебе на оное отвечать. Надеюсь, что сестрицы ускорят приездом своим в наши хижины. Вот удары неба, и после того назови меня счастливцем и баловнем фортуны — если хочешь.

Поговорим немного о Тассе. Мне о нем и болтать приятно. Я потерял 1-й том и для того прошу тебя сделать дружбу, купить мне простую эдицию Иерусалима с италианским текстом и прислать не замедля. Я хочу в нем только упражняться. Мерзляков не перевел ли уже без меня? И не лучше ли моего? Это меня мучит. Пришли посвящение мое Олен⟨ину⟩ с поправками твоими. Это докажет, что ты и в отсутствии меня не забываешь. Пришли, бога ради, своего Гомера, хоть начерно; я здесь сам перепишу. Это будет истинное одолжение. Надеюсь, что ты не отговоришься жертвовать музой своей дружбе. Да еще Поликсену, если можешь, и Трумфа.— Праздник будет для меня получение сего.

Что Оленин и медаль моя? Мне больно обидно, что и этого получить не могу, того, что истинно

кровью, трудами заслужил, между тем как и здесь все украшены, только бог весть за что. Постарайся, мой друг, об ней. Le monde est vieux, dit-on: cependant il faut l'amuser comme un enfant[1]. Хоть бы это меня рассеяло. Да попроси от него хоть строчки. Он видно скуп стал на выполнение обещания. О, folla umana mente[2] и пр.! «Вестника Драматического» ожидаю. Дай известие о Капнисте. Я его разлюбить не могу и все помню жучка в эпанечках.

Может быть, мы с тобой и век не увидимся... Пиши, бога ради, не на лоскутках, и измарай хоть десть, я все читать стану с жадностию. Между тем скажем о стихах твоих, которые я Соколову расхвалил,— а он не глуп и чувствовать может,— скажем:

Nous chantons quelquefois et tes vers et les miens,
De ton aimable esprit nous célébrons les charmes,
Ton nom se mêle encore á tous nos entretiens.
Nous lisons tes écrits, nous les baignons de larmes[3].

Ожидаю от тебя хоть словца о нашем полку. Что мне делать? Я болен и не служивый. Оставить имею службу.
Прощай.

К. Б.

П. А. ШИПИЛОВУ

12 июня ⟨1808 г.⟩ Вологда.

Я к тебе пишу из Вологды, любезный брат Павел Алексеевич. Сколько я тебе благодарен за твою дружбу, которую испытываю не словами, а твоими благородными поступками. Горестно было снести смерть сестры. Лизавета, слава богу, здорова и покойна. Я вышлю 500 рубл⟨ей⟩ на будущей почте. Приезжай-

[1] Говорят, мир стар, следственно надо забавляться как детям. *(фр.)*.
[2] О лживая человеческая толпа *(ит.)*.
[3] Мы будем петь порой твои и мои стихи,
Мы будем радоваться очарованию твоего приятного ума,
Твое имя все еще соединяется со всеми нашими удовольствиями.
Мы будем читать твои творения, мы омоем их слезами *(фр.)*.

те, бога ради. В Питере, я вижу, и с тобой прокатят, а обо мне уже и говорить нечего. Будь осторожнее, удивимся письмам, что я получаю. Посоветуй, что делать, и спроси у Александры, я из сил выбился. Ложь и клевета со всех сторон, болтают, как собаки. Мы много одолжены Аркад⟨ием⟩ Апол⟨лоновичем⟩, благодари его. Попроси Алекс⟨андру⟩, чтоб меня уведомляла, я ее люблю душевно; скажи ей, и более беспокоит меня, ⟨что⟩ она думает: дела не сделают, и все покинут ее. В том свидетель была и Лизавета. Мне так надоели сплетни и пиявицы, что боже от них сохрани.

Пиши ко мне, любезн⟨ый⟩ друг. Не вверяйся всем. Прощай, обнимаю тебя заочно

Констант⟨ин⟩ Батюшков.

12 июня

Волков дал еще денег.

Просись в удельную экспедицию в Вологду. Оленин, может быть, тебе услужит ⟨...⟩ твой того желает.

Н. И. ГНЕДИЧУ

1 июля 1808 г. ⟨Вологда⟩.

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего.
Давно ты от ленивой музы,
Давно не слышал ничего.
И можно ль петь моей цевнице
В пустыне дикой и пустой,
Куда никак нельзя царице
Поэзии прийти младой!
И мне ли петь под гнетом рока,
Когда меня судьба жестока
Лишила друга и родни?..

Пусть хладные сердца одни
Средь моря бедствий засыпают
И взор спокойно обращают
На гробы ближних и друзей,

На смерть, на клевету жестоку,
Ползущу низкою змией,
Чтоб рану нанести жестоку
И непорочности самой.
Но мне ль с чувствительной душой
Быть в мире зол спокойной жертвой
И клеветы, и разных бед?..
Увы, я знаю, что сей свет
Могилой создан нам отверстой,
Куда падет, сражен косой,
И царь с венчанною главой,
И пастырь, и монах, и воин!
Ужели я один достоин
И вечно жить, и быть блажен?

Увы! здесь всяк отягощен
Ярмом печалей и цепями,
Которых нам по смерть руками
Столь слабыми, нельзя сложить!
Но можно ль их, мой друг, влачить
Без слез, не сокрушась душевно?
Скорее морем льзя безбедно
На валкой ладие проплыть,
Когда Борей расширит крылы,
Без ветрил, снастей и кормила
И к небу взор не обратить.

Я плачу, друг мой, здесь с тобою,
А время молнией летит.
Уж месяц светлый надо мною
Спокойно в озеро глядит,
Все спит под кровом майской нощи,
Едва ли водопад шумит,
Безмолвен дол, вздремали рощи,
В которых луч луны скользит
Сквозь ветки, на землю склоненны,
И я, Морфеем удрученный,
Прерву цевницы скорбный глас,
И, может, в полуночный час
Тебя в мечте, мой друг, познаю
И раз еще облобызаю...

Вот тебе и стихи. Ожидаю хоть словца от твоей музы; стыдно бы ей было не отвечать, рифмы нам ничего не стоят. Прости, мой друг, пиши мне поболее. Поклонись Дмитриевым; я к ним писать буду, но теперь право не в силах.

Конст. Б.

Н. И. ГНЕДИЧУ

⟨Начало 1809 г. Деревня⟩

У вас, я слышал, много нового — и чудеса. Отпиши мне об этом; да жалея о друге, который принужден жить в уединенном уединении, пиши, любезный Николай, почаще. Это не трудно, если захочешь.

Еще до тебя просьба: вообрази себе меня, стоящего пред камином, в котором погасли дрова, в черном суконном колпаке, в шлафоре атласном и с босыми ногами; — вообрази, что я подхожу к тебе, едва, едва прикасаясь полу концом пальцев... Одна рука делает убедительнейший жест, другая — держит пустую трубку, в которой более месяцу не было турецкого табаку. *А у тебя его много.*

Пришли по почте, возлюбленный, желанный, хоть на одну трубку.

К. Б.

Н. И. ГНЕДИЧУ

4 августа 1809 г. ⟨Деревня⟩

Я не писал к тебе, друг мой, и мог ли писать? Сделался так болен, что хоть брось. Здесь все благополучно. Где ты поживаешь, друг мой? Радищев пишет, что на дачу переезжаешь. Приезжай лучше сюда; решись, и дело в шляпе.

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,
И фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе на встречу прибегут
Из древ гамадриады,
Из рек обмытые наяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,
И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья навострят носасты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки.
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество — погибнет все с тоски!

Вот тебе два мадригала, а приедешь — и целая поэма. Скажи Анне Петровне, что я ехал по следам Бороздина. Его где принимали за шпиона, где за чудака (он часто ночью гулял), а где и за статского советника. Попроси Алексея Николаевича, чтоб он не сердился на меня за то, что я с ним не простился. Вот пятьдесят рублей в уплату крестов; я чаю, ты получил от фон-Менгдена или Протасьева деньги. Перешли и сии письма к Макарову через Радищева. Если заплатил деньги за кресты, то оставь сии деньги у себя кой для каких покупок, да пришли мне с первой почтой плетеный чубук для фарфоровой трубки, купи у голландца также вакштафу два фунта: у меня нет ни крохи. Пожалуйста уведомь поскорее, где ты и что намерен делать. Vale et me amo[1]. Я к Радищеву буду писать, если он здесь в Питере. Попроси Александра Петровича, чтоб он уведомил меня строчкой и прислал бы книгу, что у него есть, о псовой охоте.

Конст. Бат.

Я без табаку пропал.

Н. И. ГНЕДИЧУ

1 ноября 1809 г. кончено и послано. Деревня

Г-жа Севинье, любезная, прекрасная Севинье говорит, что если б она прожила только двести лет, не более, то сделалась бы совершенною женщиною. Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума. Право, жить скучно; ничто не утешает. Вре-

[1] Будь здоров и люби меня *(лат., ит.)*.

мя летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в уме?.. В доме у меня так тихо, собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать? Разве поговорить с тобою?

Я подумал о том, что писал к тебе в последнем письме, и невольно засмеялся. Как иногда человек бывает глуп!

1-ое дурачество: я сравнял себя с Дмитриевым, назначил себе место ступенью ниже его!.. Бога ради, не напечатай этого! Да и не читай никому!.. 2-ое дурачество: говорил тебе о какой-то миссии... Не во сне ли я?.. Надеюсь, что ты это всё прочитаешь хладнокровно, пожмешь плечами, положишь в ящик, замкнешь, и делу квит. Но кто, мой друг, всегда бывал в полном разуме! И что это разум? Что он такое? Не сын ли, не брат ли, лучше сказать, тела нашего? Право, что плели метафизики — похоже на паутину, где мы, бедные мухи, увязаем то ногой, то крылом, тогда как можем благополучно и мимо, то есть и не рассуждать об этом. Послушай Власьевны в «Сбитенщике»:

Ф а д е й. Власьевна, отчего, коли спишь, хотя глаза и зажмурены, а видишь?

В л а с ь е в н а. Это не видишь, а думаешь.

Ф а д е й. А что такое думать?

В л а с ь е в н а. Я и сама не знаю.

Я и сам не знаю — бесподобное слово! И впрямь, что мы знаем? Ничего. Вот как мысли мои улетают одна от другой. Говорил об одном, окончил другим. Немудрено, мой друг... В этой безмолвной тишине голова — не голова. Однако ж, обстоятельства не позволяют выехать. Я бы мог, правда, ехать, например, в Вологду, но что там делать? Здесь я, по крайней мере, наедине, с сестрой Алек⟨сандрой⟩ (Варенька гостит у сестры), по крайней мере, с книгами, в тихой приятной горнице — и я иногда весел, весел, как царь. Недавно читал Державина: «Описание Потемкинского праздника». Тишина, безмолвие ночи,

сильное устремление мыслей, пораженное воображение, всё это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, брильянты... царицу... Потемкина, рыб и бог знает чего не увидел, так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?»... *Оно! они!..* «Перекрестись, голубчик!» Тут-то я насилу опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи! — прочитай, прочитай, ради бога, со вниманием: ничем, никогда я так поражен не был!

Я надеюсь, что ты умен и не прочитал моего последнего письма Анне Петровне. Но если ты совершенно, по симпатии со мной, потерял рассудок? Хорошо, что ей, а не другому, ибо:

Molti consigli della donne sono
Meglio improvviso che a pensarvi usciti
Che questo é speciale e proprio dono
Fra tanti, e tanti lor dal ciel legati.
Ariosto[1].

Если не поймешь, хотя не трудно понять твоей высокопарной латыни, то беды нет. Я писал к Капнисту — нет ответа; писал к Алексею Николаевичу — нет ответа; ныне писал к Ниловым — сердце говорит — будет ответ. Крылов родился чудаком. Но этот человек — загадка, и великая!.. Играть и не проигрываться. Скупость уметь соединить с дарованиями и редкими, ибо если б он более трудился, более занимался... Но я боюсь рассуждать, чтоб опять не завраться. — Гоняются ли за тобой утренние шмели? Мне пришла чудная мысль. Если б, когда я у тебя жил, поутру пришел юноша к *Милому Гению,* и тебя бы не было на ту пору дома, то я так бы отбрил голубчика... «Не вы ли тот великий дух, который сочинил эпитафию на смерть статского советника?» Я отвечаю: «Я»... — «Позвольте мне, пораженному явными чертами Гения, простираться, если возможно, до вашей занимательности»... Я отвечаю всё за тебя, как Скотинин на перекличке: «Я!» — «Вот, милостивый

[1] Многие советы женщин лучше, если они даны внезапно, нежели после раздумья. Это совсем особый дар среди столь многих и многих завещанных им небесами. *Ариосто (ит.).*

государь, моя трагедия... Кто больше вашего, кто справедливее вас оценит слабый, мерцающий луч неопытного Гения?»..—«Я!»... Тут он мне начинает читать; читает, а я зеваю. Наконец,— есть всему конец, и трагедиям также,— ты входишь... и я указываю на переводчика Гомера и «Танкреда».

Вот канва, по которой вышить можно, что хочешь. Я не знаю, как у тебя достает терпения слушать этот весь вздор? Но не слушать, наживешь врагов таких, которые тебя свечой станут жечь... Кстати, спрошу тебя: что Шаховской написал хорошего? Вот еще чудак не из последних. Как он меня выхвалял в глаза! Так что стыдно было за него. Как он меня, я чай, бранит за глаза! Так что стыдно за него. Честь Кодру-Жихареву. Не стыдно делаться Панаром-Водевильщиком? В его лета, дворянину, с состоянием? Он точно с дарованиями: это меня бесит. Измайлов плетет, а не пишет. Без смака вовсе. Однако ж его проза вообще хороша и чиста. Что Беницкий? Продлите ему, боги, веку! Но он уже успел написать много хорошего...

Пусть мигом догорит
Его блестящая лампада;
В последний час его бессмертье озарит:
Бессмертье — пылких душ надежда и награда!

Я еще могу писать стихи! пишу кое-как. Но к чести своей могу сказать, что пишу не иначе, как когда яд пса метромании подействует, а не во всякое время. Я болен этой болезнию, как Филоктет раною, то есть временем. Что у вас нового в Питере? Что делает Полозов? Он не пишет ни слова. Что Катенин нанизывает на конец строк? Я в его лета низал не рифмы, а что-то покрасивее, а ныне... пятьдесят мне било... а ныне... а ныне...

А ныне мне Эрот сказал:
«Бедняга, много ты писал
Без устали пером гусиным.
Смотри, завяло как оно!
Недолго притупить одно!
Вот на, пиши теперь *куриным*».

Пишу, да не пишет, а всё гнется.

Красавиц я певал довольно
И так, и сяк, на всякий лад,
Да ныне что-то невпопад.
Хочу запеть — ан, петь уж больно.
«Что ты, голубчик, так охрип?»
К гортани мой язык прилип.

Вот мой ответ. Можно ли так состариться в 22 года! Непозволительно!

Как тебе понравилось «Видение»? Можешь сжечь, если не годится. Этакие стихи слишком легко писать, и чести большой не приносят. Иным больно досталось. Бобров, верно тебя рассмешит. Он тут у места. Славенофила вычеркни, да и всё, как говорю, можешь предать огню и мечу.

К кому здесь прибегнуть Музе? Я с тех пор, как с тобой расстался, никому даже полустишия, не только своего, но и чужого не прочитал. С какими людьми живу?..

Deux nobles campagnards, grands lecteurs des romans
Qui m'ont dit tout Cyrus dans leur longes compliments[1].

Вот мои соседи... прошу веселиться!

Нет, невозможно читать русской истории хладнокровно, то есть с рассуждением. Я сто раз принимался: всё напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. Подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю,— и сердце чувствует, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших праотцов, читай набеги половцев, татар, литвы и пр., и если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мелкий человек. Нет середины. Великий, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкий, ибо занимаешься пустяками. Жан-Жак говорит: «Car ne vous laissez pas eblouir par ceux qui disent, que l'histoire la plus interessante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas vrai. Il y a des pays, dont l'histoire ne peut pas même être lue au moins qu 'on ne

[1] Два помещика, великих охотника до чтения романов, которые пересказали мне всего «Кира» в своих пространных приветствиях *(фр.)*.

soit imbecile on negociateur»[1]. Какая истина! Да Писареву до этого дела нет. Он пишет себе, что такой-то царь, такой-то князь играл на *скомонех,* был лицом бел, сек рынду батогами и пр.! Есть ли тут малейшее дарование?.. Не труд ли это, достойный Тредьяковского... и Академии наградою!.. Притом от одного слова *русское,* некстати употребленного, у меня сердце не на месте... Скажу тебе ещё, что я читал от великого досуга и метафизику. Многое не понял, а что понял, тем недоволен. Например, сочинитель «Системы природы» похож на живописца, который все краски смешал в одно и после, кажется, говорит: «Отличи, коль можешь, белое от черного, красное от синего?» Наука тщетная и пустая! Это Дедалов лабиринт, в котором быть надобно, но не иначе как с нитью, то есть с рассудком. Жаль, что эта нить тонка и гнила. Сей же самый сочинитель в конце книги, разрушив всё, смешав всё, призывает природу и делает ее всему началом. Итак, любезный друг, невозможно, никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, как хочешь, всё одно; но оно существует, то есть существует бог. А от сего всё заключить можно. Я знаю твои мысли, ты знаешь мои, и потому мимоходом это тебе сказал.

Не знаю, читаешь ли ты «Анахарсиса»? Божественная книга. Не выпускай ее из рук, ибо она не только быть может путеводителем к храму древности или изящного, но исполнена здравой философии...

У меня мало книг, потому-то я одну и ту же перечитываю много раз, потому-то, как скупой или любовник, говорю об них с удовольствием, зная, что тебе этим наскучить не можно.

Писарев еще написал что-то, именно: «Правила для актеров». Я из рецензии вижу, что это вздор, даже в эпиграфе ошибка против языка, непростительная члену Академии. Меня убивает самолюбие этих людей. Если б они хотя языком занимались, если б

[1] Не давайте обмануть себя тем, кто утверждает, что историей, наиболее интересной для каждого, является история его страны. Это не верно. Есть страны, историю которых немыслимо даже читать, не будучи дураком, либо дельцом *(фр.)*.

хотя умели ценить дарования чужие... Но что я говорю? На это надобен ум, а у них этого-то и недостает.

Ещё два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что ещё более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют всё старое? Я умею разрешить эту задачу, знаю, что и ты умеешь — итак, ни слова. Но поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству... Да дело не о том: Глинка называет «Вестник» свой *Русским,* как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!

Я посмеялся твоему толкованию любви. Боюсь, чтоб ты не учредил *суд любви,* который существовал в Провансе в конце одиннадцатого столетия. Там эти полезные задачи разрешали всячески, и всё по-латыни. Красавицы слушали с удовольствием ученых трубадуров, которые так хитро умели угадывать тайные сгибы их сердец. Но нас никто слушать не будет, так останемся всякий в своем расколе. Притом же всякий любит, как умеет, ибо страсть любви есть Протей. Она принимает разные виды, соображаясь с сердцем любовника. Любовь есть... но Je me sauve á la nage, et j'aborde ou je puis[1].

Прощай, до свидания.

Конст. Бат.

Н. И. ГНЕДИЧУ

3 января 1810 г. Москва

Видение пророка Ирмозиасооа.

И я зрел град. И зрел людие и скоты, и скоты и людие. И шесть скотов великих везли скота единого.

---

[1] Я спасаюсь вплавь и пристаю к берегу, где я могу *(фр).*

И зрел храмы и на храмах деревия. И зрел лицы южных стран и северных... И зрел...

Да что ты зрел? — *Москву,* ибо оттуда пишу, восторжен, удивлен, всем и всяческая. Глазам своим не верил, видя, что одного человека тянут шесть лошадей, и в санях!

Видел, видел, видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом: Мерз⟨лякова⟩, Жук⟨овского⟩, Иван⟨ова⟩, всех... и признаюсь тебе, что много видел. Однако ж сказать ли тебе правду? Именно: мне стыдно перед Глинкой, который обласкал меня, как брата, как родного, а я... Боже мой, если б он знал... Но, к счастью, он ничего не знает.

Пришли мне «Видение» скорее.— Кар⟨амзин⟩ был в Твери. Здесь его встретили с кадильницами.

Твое письмо меня так рассмешило! Твоя элегия, и эдак исковеркана! Но не удивляйся: ты знаешь Малиневича; он мне сказывал, что Межаков перевел Заиру, которую ты и Полозов будто выучили наизусть и за свою выдали.— Что Межаков задумывает? Жениться, на Львовой! Правда ли это? А между тем поет Державина. Я получил от Canus[1] — Капниста письмо, и предлинное, где он говорит и повторяет одну фразу: «Я к вам писал и не имел удовольствия получить ответа. Ваш Тасс бесподобен. Я к вам писал... Ваш Тасс...» и проч. Забавно!

Пришли «Видение» и прочитай его Баранову, ибо ему оно известно, но прочитай сам. Впрочем, читай и распусти, если оно и впрямь хорошо. Я не боюсь тебя об этом просить, ибо оно тебе нравится.

Прости мне, что пишу мало. На той почте обо всем уведомлю.

Константин.

«Цветника» нет как нет. Изм⟨айлов⟩ свинтус и неучтивец.

Вот мои замечания на приписание твое.

Поздравляю с Новым годом.

---

[1] Собаки *(лат.).*

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Начало 1810 г. Москва⟩

Я посылаю вам, любезный князь, прибавление к моей «Мечте» после стиха «И эхо по холмам песнь звучну повторяет». Описание, взятое из баснословия скандинавов. Заметьте то, что не хорошо, что не понравится. Надеюсь, что моя доверенность подаст вам повод и мне прислать что-нибудь свое.

Я очень виноват перед вами и сегодня быть не могу, право, потому что провожаю отъезжающего родственника. Итак, до завтра.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

⟨Первая половина 1810 г. Москва⟩

Поэт и судия! — а что еще лучше, любезнейший друг Василий Андреевич! — я опять начну докучать. Поправлен ли мой *таз медяный?* Если нет, то это письмо напомнит вам, что мой милый критик обещал заглянуть в книгу, ему вверенную. Заглянуть! Этого мало: заглянуть и поправить. Ваш труд не будет потерян, поверьте; 1-е: потому, что вы сделаете доброе дело; 2-е: ваше внимание к моим мараньям поощрит меня к продолжению перевода. Вы знаете на опыте, что поэтов поощрять должно, особенно ленивых. А где же они не ленивы? Я говорю о тех, которые с дарованием, даже и себя не исключая. Итак, назначьте день свидания у меня, ибо я желал бы, чтобы пенаты мои увидели любезного Василия Андреевича. Я же имею кое-что прочитать, чего вывозить нельзя, ибо сани мои тесны.

Е. Н. и П. А. ШИПИЛОВЫМ

17 марта ⟨1810 г.⟩ Москва

Благодарю тебя, милый друг Лизавета, за твое письмо, которое я получил назад тому неделю. Серьги

твои отдал я Ка⟨терине⟩ Фед⟨оровне⟩. Она заказала оправить их весьма искусному мастеру, и я их пришлю тебе к святой. Они будут очень невелики, но фасон, кажется мне, довольно криклив, якорь и цепь так, как теперь носят.

Д. О. Баранов женился на княжне Несвицкой, il ne faut pas ebruiter cela[1]. Невеста недурна собой. Я с ней у него обедал в день его рождения. Это и для меня сюрприз, что же для вас??? Приехать, увидеться и жениться! Не верю теперь ни чувствительности, *ни высоким чувствам*... или свет и счастие очень переменяют людей.

Будь счастлив, мой друг, и спокойна, сноси огорчения как можно равнодушнее, люби и не забывай меня — вот желание и совет преданного тебе по гроб

Константина.

Здоров ли ты, любезный брат Павел Алексеевич? — что ты поделываешь? — а я тебе купил кнастеру самого лучшего и теперь ищу оказии отослать его. Не радуйся! — это один только картуз, затем что денег на покупку немного. Кстати об деньгах, не можешь ли ты мне сделать одолжение — продать Ваньку? — Это б очень было хорошо для меня. Мне теперь надобно иметь тысячи две, затем что я *намереваюсь в Петербург*. Помоги мне, любезный друг, в этом случае, ты сам знаешь мои обстоятельства. Оленин говорил Баранову, что есть для меня место очень выгодное, что я могу ездить на лето в отпуск, одним словом, что я сам буду виноват, если упущу случай поправить дела мои. Но без денег как пуститься? По крайней мере уведомь меня, есть ли надежда это устроить. Мне не к кому, кроме тебя, прибегнуть, да если бы и был кто, то я бы просил все-таки тебя, затем что тебя люблю от всего сердца.

Здесь говорят, что сахар и сукно дешевеют, вот и все новости. Государь в Твери. Москва все так, как

---

[1] не нужно это предавать огласке *(фр.)*.

и была. Я недавно говорил и затем не скажу тебе, чтоб не солгать, разумеется,— что здесь скучно. Пиши ко мне.

Весь твой Конст⟨антин⟩.

17 марта.

Вариньку, ленивую девочку, целую самым ленивым манером.

Волоцкой был у меня. Он служит у Кутузова и очень жалеет о Вологде. Я к нему заеду на днях.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

7 июня в полночь ⟨1810 г. Москва⟩

Я совершенно собрался ехать в деревню, но прежде отъезда хотел проститься с тобой, любезный князь, с Кат⟨ериной⟩ Андр⟨еевной⟩ и Ник⟨олаем⟩ Мих⟨айловичем⟩, так верно бы не уехал. Я буду к вам в понедельник или во вторник и притащу девицу Жуковскую, которую я видел сегодня. Здесь нового ничего нет, я же просидел так долго в комнате au cause de mon tic douloureux ou malhereux[1] и ничего не знаю. Кстати, В. Л. Пушкин прислал послание к Жук⟨овскому⟩, которое, как и все его стихи, гладко и хорошо написано — а в мыслях, показалось мне, связи нет никакой — это его обыкновенный манер, да вот что необыкновенно: он тут так бреет Шишкова — без пощады! много забавных стихов.

Чем тебя подарить на отъезд? В бумагах покойного М. Н. Муравьева я отыскал эту рукопись, которую у сего препровождаю — ни слова в ее пользу.

Графиня Панина сказывала Кат⟨ерине⟩ Федор⟨овне⟩, что Катерина Андреевна бралась где-то достать ослицу для молодого Муравьева, который имел нужду в ослином молоке по предписанию лекарей. Возьми на себя труд, любезный князь, спроси у Катерины Андреевны, где этот целебный зверь — доставлением его она чувствительно обяжет Кат⟨ерину⟩ Фед⟨оровну⟩ Муравьеву.

[1] из-за моего болезненного или несчастного тика *(фр.)*.

A propos. Joukovsky a été bien malade. Un mal affreux l'est emparé de son derriere — c'est bien serieux, ce que je vous dis la. Je medicin l'a menacé d'un coup d'apoplexie et lui a fait donné forces-lavements, et le voila de nouveaux rendu a'muses et á ses amis. Je l'ai trouvé ce matin fétant le plat de legumes et un gros morceaux de viande rotu, capable de nourir une dizaine du matlots anglois affaimé. Il est toujours le même, c'est a dire, aussi chaste et plus chaste encore qu'avant sa maladie. Je vous embrasse, mon chere homme de champs, et vous souhaite de tout mon coeur, beaux temps et bon appetit, deux belles choses, dont nous sommes privés a Moscou.

Joukovsky a fait imprimé un long Kyrielle sur le mort de Bobroff, cela quadre á merveille avec votre epigramme qui sera tout a cotê[1].

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

29 июля 1810 г. ⟨Деревня⟩

Как волка ни корми, а он все в лес глядит.

Виноват перед тобой, любезный мой князь, уехал от тебя, как набожный Эней от Элизы, скрылся, как красное солнце за тучами, и за то перед тобой в начале этого письма становлюсь на колени. Il a ri, il est desarmé[2] (см.: «Метроманию» Пирона), и у тебя гнев потух. Я приехал кое-как до жилища моего больной, нет,— мертвый! насилу теперь отдохнул и, облокотясь

---

[1] Кстати. Жуковский был сильно болен. Болезнь подошла к нему сзади. Врач пугал его апоплексическим ударом и, прописав сильный клистир, вернул его музам и друзьям. Сегодня утром я застал его угощающимся тарелкой овощей и огромным куском жареного мяса, достаточным, чтобы накормить десяток голодных английских матросов. Он не изменился, то есть остался столь же целомудренным или стал еще более целомудренным, чем до болезни.

Целую тебя, мой дорогой сельский житель, и от всего сердца желаю тебе приятного времени и хорошего аппетита — двух прекрасных вещей, которых мы лишены в Москве.

Жуковский печатает длинную литанию на смерть Боброва, она прекрасно дополняет твою эпиграмму, которая появится поблизости *(фр.)*.

[2] Он рассмеялся, он обезоружен *(фр.)*.

на старинный стол, который одержим морскою болезнию, ибо весь расшатался, пишу к тебе, любезный князь, эти несвязные строки. Mr le tic douloureux со мной везде, ни на минуту не изволит отставать. Но я постоянно лечусь, пью, упиваюсь декохтом, сижу в ванне, настоянной серой. Эта ванна есть образчик тех вод, в которых мы будем купаться после смерти, она воняет хуже Стикса, хуже Боброва стихов, но приносит пользу. Уведомь меня, как течет время в вашем Астафьеве, что делает деятельный Жуковский, стало ли у тебя чернил и бумаги на этого трудолюбивого жука? Я к нему писал, адресуя письмо в *типографию*. Если это не эпиграмма, то, видно, мне по смерть не писать! Еще прошу тебя, уведомь меня о себе. Кажется, не нужно повторять мне, что знакомство наше, хотя и короткое, основано на взаимной дружбе, которой я никогда не изменю. Je ne sais, si je vous conviens, mais vous me convenez fort[1]. Отпиши мне, любезный князь, что делается на московском Парнасе, и на бульваре, что ты делаешь и что пишешь, а я...

А я из скупости, чернил моих в замену
На привязи углем исписываю стену.

Мараю да мараю, а что выйдет, бог знает. Еще недавно на фабрику Вестника Эвропы отправил несколько тряпиц, превращенных в бумагу, которые я прикосновением волшебного пера моего превратил опять в тряпицы. Но шутки в сторону, я ныне занят: отгадай чем? Перекладываю «Песнь песней» в стихи. Когда кончу, то пришлю тебе, моему Аристарху на растление мою Деву. Не забыл ли ты, князь, обещания переводить французских авторов? Если нет, то отпиши мне, начал ли, и я стану этим же заниматься. Со временем работа сия может нам обратиться в пользу. Я бы перевел несколько отрывков из Шатобриана и Ариоста, которого еще нет вовсе на русском, ибо перевод, который сделан с французского, так похож на оригинал, как Батонди на честного человека. Уведомь меня, но пока жар не поостыл, давай писать.

Отпиши, отпиши мне, как поживаешь, молодой Seigneur Suserain?[2] Не говоришь ли подчас:

[1] Не знаю, подхожу ли я тебе, но ты мне весьма подходишь *(фр.)*.

[2] сеньор Сюзерен *(фр.)*.

«Ah' je m'ennuye!»?[3] И сообщи мне свои тайные мысли о Жуковском, *который, между нами сказано будь, великий* чудак. Где он,в Белеве или у вас? Не влюблен ли, а я — или муза моя изволит теперь странствовать ⟨...⟩ на прохладных холмах Энгадда, то есть, как сказал тебе, я так занят моей «Песней песней», что во сне и наяву вижу жидов и вчера еще в мыслях уестествил Иудейскую Деву. Мечтаю, мечтаю и время тихонько катится!

Недавно перечитал я прошедший год «Вестника» и нашел там две пиесы, которые мне очень понравились: Волкова басня «Малиновка», кажется, в 22 № и твоя пьеса «Лаура», она прекрасна, но я советовал бы начать со второго куплета.

Пришли мне, любезный князь, если что есть новое, и я тебе, с моей стороны, как к повивальной бабке верно и в срок буду ставить моих выкидышей. Поручая себя славному твоему дружеству, остаюсь навсегда преданный

Конст. Батюшков.

В. А. ЖУКОВСКОМУ

⟨Вторая половина мая 1811 г. Москва⟩

Ты едешь, а я по милости князя Вяземского с тобой не увижусь. Скажи мне, куда прислать тебе твои стихи, которые я верно на сих днях получу от Севериной? Что ты будешь делать с сочинениями М. Н.? Будешь ли их печатать? — Я должен об этом известить *Катерину Федоровну*; я удивляюсь, как ты (впрочем, человек весьма рассудительный) уезжаешь, не повидавшись с нею!!! Дай мне по крайней мере ответ. И бог с тобой! — уезжай и будь счастлив, я этого желаю от всей души, потому что люблю тебя, несмотря на твои чудеса.

К. Б.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Конец июня — начало июля 1811 г. Москва⟩

Приехали Муравьевы, которые у меня похитили все время; к тому же прибавь хлопоты об отъезде, которых, право, немало; у меня один человек и тот не надежный. Надобно все делать самому. Если я не был у тебя, то, право, не потому, что не нахожу удовольст-

[1] «Ах, мне скучно!» *(фр.)*.

вия быть с тобою. Признайся сам, милый друг, что Вяземский, проведя в чаду целый месяц, друзьям дает пустое сердце и пустой ум, а я, признаюсь, эпикуреец и в дружестве. Желаю тебе веселиться, от вс⟨ей⟩ души желаю. Но прошу одного: не забывать, что Батюшков тебя любит, как брата, как друга. При отъезде я нахожу некоторое удовольствие повторить тебе, сколько я к тебе привязан! Еду завтра, а если Мурав⟨ьевы⟩ задержат, то послезавтра, и к тебе заверну.

Н. И. ГНЕДИЧУ

27 ноября — 5 декабря 1811 г. ⟨Деревня⟩

Сию минуту получил я твое письмо и сию минуту отвечаю, пока сердце мое не заснуло, пока я могу еще на тебя сердиться. Выслушай и отвечай!

Если я говорил, что независимость, свобода и все, что тебе угодно, подобное свободе и независимости, суть блага, суть добро, то из этого не следует выводить, что Батюшков сходит с ума и читает своего Горация, Балдуса, Скривериуса и Матаназия с Метафрастиком, печатного и рукописанного в Lipsia или в Лейдене, или где тебе угодно. А из этого следует именно то, что Батюшков, живучи один в скучной деревне, где, благодаря судьбе, он, кроме своего Якова да пары кобелей, никого не видит, не слышит и не увидит, и не услышит; Батюшков не хочет и не должен, зная себя столько, сколько человек себя может знать, не должен, говорю я, променять своего места на место канцлера, архиерея или камергера; ибо теперь Батюшков, так как ты его видишь, скучает и имеет право скучать, ибо в 25 лет погребать себя никому неприятно. Но тогда, переменя свое место на другое, несвойственное, неприличное, господин Батюшков был бы вдвое несчастнее и, что всего хуже, вдвое глупее, несноснее для себя, для других и для самого Гнедича. Еще раз, и да будет это в последний, разуверь себя на мой счет и не делай заключений, вредных дружбе, оскорбительных моему сердцу, ибо я всегда думал и думаю, что мечтатели, если и могут иметь пламенную голову, сильное воображение, ум, все, что тебе угодно, за то не имеют души, и в сердце

их холодно, как теперь на дворе; а я чувствую, мой друг, что у меня есть сердце всякий раз, когда я помышляю о тебе и о людях, мне любезных. Еще раз повтори себе, что Батюшков приехал бы в Петербург, если б его дела не задерживали в деревне, если б имел в кармане более денег, нежели имеет, если б знал, что получит место и выгодное, и спокойное — да, спокойное, где бы он мог ничего не делать и не кланяться подьячим, людям ничтожным,— он бы приехал; а если не едет, то это значит то, что судьба не позволяет... и проч. Но нет, ты свое бредишь и всегда, что хуже всего, не своей головой, ибо у тебя ум велик или мал, но благодаря бога, здоров, а бывает болен тогда только, когда страсть или другие умы, умищи и умишки сведут с истинного пути. Их суждением я не дорожу, их советов не хочу, их сожаления не требую, ибо они для меня... только что забавны; но тебе, мой друг, тебе стыдно меня обижать заключениями странными и оскорбительными. Если я тебе не открывал моих чудесных обстоятельств, то это истинно потому, что ты мне пособить не можешь: в слезах твоих я нужды не имею, но в утешении имею нужду. Мы други, и я смею тебя назвать так, мы други не с тем, чтоб плакать вместе, когда один за тысячу мириаметров от другого, не с тем, чтоб писать обоюдно плачевные элегии или обыкновенщину, но с тем,— и это ты на опыте доказываешь, когда не заразишься посторонним чадом,— с тем, говорю я, чтоб меняться чувствами, умами, душами, чтоб проходить вместе чрез бездны жизни, ведомые славою и опираясь на якорь надежды. При имени славы ты верно не засмеешься; а если засмеешься, то загляни в свое собственное сердце. Я писал о независимости в стихах, о свободе в стихах; на судьбу мою никому, кроме тебя, не жаловался, и то в прозе; а служить из тысячи рублей жалования титулярным советником, служить и готовиться к экзамену, подобно Митрофану, твердя «Аз же есмь червь, а не человек... поношение человеков», повторять зады и набивать себе голову римским кодексом, поэтическими подробностями из Зябловского, аксиомами из Эвклида, служить писцом, скрибом в столице, где можно пить, где я пил из чаши наслаждений и горестей радость и пе-

чаль, но всегда оставался на моем месте,— нет, нет, это все свыше меня и свыше тебя!

Что ты делал в жизни своей? Кому ты продал свою свободу? Никому. И я это докажу тебе в двух словах. В департаменте ты мог получить более, нежели получаешь ныне. Служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая, исписывая кругом целые дести, кланяясь налево, а потом направо, ходя ужом и жабой, ты был бы теперь человек, но ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и Гомера. В департаменте ты бы мог быть коллежским советником, получить крест, пенсион, все, что угодно, потому что у тебя есть ум и способности, но ты не хотел потерять независимости и остался бы титулярным советником до скончания века, если б не рука благодетельного гения, не рука великой княгини дала тебе чин и пенсион, звание честного человека и кусок насущного хлеба. Чем же ты хвастаешь передо мною? Какой-то опытностью! Гнедич, Гнедич! Эту опытность — к несчастию моему — и я приобрел, эту опытность, и скучную, и едва ли не пустую. Я привык смотреть на людей и на вещи с надлежащей точки: меня тому научили и годы, и люди, и несчастия. Les malheurs m'ont mis au rang des sages[1],— говорит мудрец. Я не философ, но по крайней мере имею драхму рассудка, а я враль в твоих глазах, потому что мелю вздор на рифмах, враль, потому что говорю то, что мыслю, враль, потому что тебя в том уверили умные люди, которые мастера давать советы, когда их не просят, мастера сожалеть и злословить. Приятель наш Беницкий, который имел сердце и ум, сказал:

Везде встречаются быки
И — поученья.

Ты помнишь эту басню? И он сказал правду! Но дело не о том: мне обидно, любезный друг, не столько душе моей, ибо она всегда согласна с твоею, сколько моему самолюбию,— обидно то, что ты разговариваешь со мною точно так, как с ребенком или постником, который от изможднения плоти видит духов, des anges violets[2], слышит, подобно Пифагору,

[1] Несчастья ввели меня в круг мудрых *(фр.)*.
[2] фиолетовых ангелов *(фр.)*.

пение и гармонические гласы планет небесных, а не видит, не слышит того, что его окружает. Брось, кинь навсегда эту привычку! Друг твой не сумасшедший, не мечтатель, но чудак (la faute en est aux dieux qui m'ont fait si drole)[1], но чудак с рассудком. Я говорю о путешествии: ты пожимаешь плечами. Но я тебя в свою очередь спрошу: Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции; он был там сам, по своей охоте, тогда, когда все ему препятствовало; почему же Батюшкову не быть в Италии? «Это смешно», говорил мне Баранов в бытность мою в Москве. Смешно? А я докажу, что нет! Если Фортуну можно умилостивить, если в сильном желании тлеется искра исполнения, если я буду здоров и жив, то я могу быть при миссии, где могу быть полезен. И еще скажу тебе, что когда бы обстоятельства позволяли, и курс денежный унизился, то Батюшков был бы на свои деньги в чужих краях, куда он хочет ехать за тем, чтоб наслаждаться жизнию, учиться, зевать; но это все одни *если*, и то правда, но *если* сбыточные. А если небо упадет, говорит пословица, то перепелок передавит, если... если...

Но ты сбираешься в Москву? Зачем? Подумай хорошенько! А для меня оставайся в Питере, хоть твой отъезд и будет мне неприятен и весьма неприятен. Сию минуту принесли мне денег. Если еще столько, да еще столько, то я поеду в Питер; прибавь к тому еще одно *если*... Что же до Москвы касается, то я ее люблю, как душу; но там — вот тебе и мой совет — он похож на совет того Гасконца, который говорил архитекторам парижским: «Cadedis, messieurs[2], если вы будете строить мост (Le Pont-Neuf)[3] вдоль реки, то никогда не успеете, а я вам советую строить поперек»,— мой совет: иметь больше денег; в Москве все дорого; нужна, необходима карета четверней и проч., тогда будешь человек! А без того не езди, мой друг; дождись меня, дождись моих замечаний на Гомера и на твою бедную голову; дождись моих мараний и Ариоста, который теперь почивает весьма спокойно. Но нет, поезжай в Москву, если

[1] виноваты боги, сделавшие меня столь странным *(фр.)*.
[2] Мостите, господа *(фр.)*.
[3] Понт-Нёф *(фр.)*. Мост в Париже.— *Ред.*

требует долг и твоя польза, но ради бога не связывайся с вралями: они мне надоели пуще всего.

Еще одно замечание на твое письмо: «Я имею неотъемлемую свободу судить, что мне прилично и не прилично, и действовать таким образом». Эту фразу подари Каченовскому: он тебя поблагодарит. Он, имея не-отъ-ем-ле-му-ю свободу судить, изволит забавляться на счет Мольера, Вольтера и всех умных французов весьма забавным и глупым образом. Там, где он не умничает, он сносен; там, где он начнет умничать, он делается педантом, совершенною фитою. Но дело не о том: по силе неотъемлемой свободы мыслить и замечать, и действовать, пиши ко мне почаще, не отговариваясь ни ленью, ни делами, ни болезнию. Твоих писем я дожидаюсь с нетерпением: это единственное средство с тобою говорить, и было бы слишком бесчеловечно лишать меня твоей беседы за ленью, за делами и за болезнию.

Не видал ли ты Пушкина? Он написал *послание к Дашкову*, Измайлов — басни, сказки, видения и проч., а ты мне этого не присылаешь. Еще повторю тебе: пиши поболее, пиши о себе, о других; но мне не надобно таких истин, какова эта: «Я живу в Петербурге, ты живешь в деревне по свободным обязанностям». Что я живу в деревне, это я знаю; что ты в Петербурге, и это чувствую; но что значат свободные обязанности? «О логика, несть без тебя спасения!» говорит Синекдохос. Заметь, что ты это сказал весьма серьезно.

Открылась ли Беседа? Что делают ваши петухи? Зачем хочешь печатать в Беседе? По крайней мере я не советую: надобно иметь характер и золота в навоз не бросать, истинно в навоз, ибо, кроме *Горация* Муравьева и Крылова басен, там ничего путного я не видел. Львова стихи похожи на Шаликова и напоминают мне «Le ruisseau amant de la prarie»[1], сонет Фонтенелев, над которым со смеху надседался Вольтер. Ни слогу, ни мыслей, ни стихов! Все площадное, вялое! У Шишкова мысли жидкие, а слог черствый. А Штаневич? Бездна премудрости! Совершенный Шатобриан, но без ума, без воображения!

[1] Ручей, влюбленный в луч *(фр.)*.

Нет, я им слуга покорный! *«Вестник Европы»* худ или хорош, а все лучше их мараний. Не печатай в Беседе, не стыди себя! Бога ради поправь стихи в «Унынии» по моим замечаниям, и все будет прелестно.

Ни утро веселостью (ни день красотами
Не радуют чувство его): он умер душой и проч.

Прекрасно! Заметь, что после цезуры в этом размере стихов надобно, чтоб ударения были весьма верны: без того все будет дурно.

Но очи отверзтые зрят одр токмо хладный...
Как с бледных ланит его слез токи струясь...
Равно удаляющась[1] в тень дебрей безмолвных...

Здесь ударения глухи, и потому стихи неплàвны, *скачут,* неприятны. После цезуры должно ставить длинные слова, и стихи будут плавнее, например:

При девах ласкающих, в беседе с друзьями,

или по крайней мере, чтоб слоги были плавны и один другого не съедали, и потому стих вышенаписанный:

Как с бледных ланит его слез токи струясь

не так худ, хотя слова и короткие после цезуры, а все лучше поставить одно длинное.

Впрочем, все хорошо. И стихи из Лагарпа прекрасны. Еще раз переправь, не поленись, а мои замечания справедливы.

Пришли мне замечания на «Мечту»: я ожидаю их с нетерпением, ибо имею в них нужду.

27 ноября 1811 г.

Все писатели, начиная с Аристотеля до Каченовского, беспрестанно твердили: «Наблюдайте точность в словах, точность, точность, точность! Не пишите на место *дом—гром,* на место *печь—меч»* и так далее. А ты, любезный Николай, пишешь не краснея, что мне скоро тридцать лет. Ошиб-

[1] Я не люблю этих глухих усекновений. Если б *удаляясь,* то было бы лучше... Вот безделки, но важные для уха.

ся, ошибся, ошибся шестью годами, ибо 24 ни на каком языке не составляют 30. Где же точность? Я с моей стороны не упущу из рук эти шесть лет и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле... нашей словесности. Я в течение этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц и, в заключение, ровно в тридцать лет, скажу вместе с моим поэтом:

Se a perder s'a liberta, non stimo
Il piu ricco capel, ch'in Roma sia[1],

ибо и в тридцать лет я буду тот же, что теперь, то есть лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит славян и мученика Жоффруа, тибуллит на досуге и учится древней географии, затем чтоб не позабыть, что Рим на Тевере, который течет от севера к югу; и в тридцать лет он будет все тот же, с тою только разницею, что он называет тебя другом десять лет, а тогда к этим десяти прибавит еще пять, но больше любить тебя, больше чувствовать к тебе и дружества, и привязанности, кажется, дело несбыточное. Прощай!

5 декабря 1811 г.

Вот длинное письмо, скажешь ты! Не удивляйся! Завтра ты именинник, и надобно тебя поздравить: вот зачем я еще должен прибавить целый лист. Итак, поздравляю тебя, мой милый друг, будь счастлив, весел, умен, люби меня, стихи и вино, *вино — отраду нашу,* по словам твоего предшественника Кострова. Но что ты всегда будешь любить стихи, вино и меня, твоего друга...

---

[1] Если я должен потерять свободу, то меня не утешит самая богатейшая корона, которая есть в Риме *(ит.)*.

Сей старец, что всегда летает,
Всегда приходит, отъезжает,
Везде живет — и здесь, и там,
С собою водит дни и веки,
Съедает горы, сушит реки
И нову жизнь дает мирам,
Сей старец, смертных злое бремя,
Желанный всеми, страшный всем,
Крылатый, легкий, словом — *время*,
Да будет в дружестве твоем
Всегда порукой неизменной
И, пробегая глупый свет,
На дружбы жертвенник священный
Любовь и счастье занесет!

Вот мое желание: оно одинаково и в прозе, и в стихах. Я тебе позволяю в мои именины написать ко мне столько же стихов и выпить за мое здоровье бутылку... воды, так как я это торжественно сделаю завтра при двух благородных свидетелях, при двух друзьях моих, при двух курчавых собаках.

Я вчера получил собрание стихов Жуковского. Как мои стихи —«Воспоминание» исковеркано! Иные стихи пропущены, и рифмы торчат одни! Впрочем, я этим изданием доволен, доволен твоим «Перувианцом», доволен Воейковым «Посланием о благородстве», доволен Пушкиным, доволен Кантемиром и Петровым, а дряни все-таки целое море! Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за щ? Что за ш, ший, щий, при, тры? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство. Прощай!

«Альцеста» и «Поликсена» Мерзлякова прекрасны. Это ему делает честь. Есть места прелестные и невольно исторгают слезы.

Накануне твоих именин.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

19 декабря 1811 г. ⟨Деревня⟩

Маленький Овидий, живущий в Маленьких Томах, имел счастие получить твою большую хартию. Чудеса, любезный друг, чудеса! Я со смеху помирал, читая описание стычки журналистов. И Шаликов, который, оправляя розу, говорит: «Вы злой!» И Каченовский, который, оправляя зонтик, отвечает: «Вы дурак!» Всё это забавно-прекрасно! Что же касается до меня, любезный Москвич, то я с моей стороны принимаю спасительные меры, и, боясь поражения нечаянного, хочу нарядиться в женское платье или сшить себе броню, изваять шлем, щит и прочее из Шаликова «Аглаи» или, по крайней мере, подбить мой старый мундир лоскутками этой ветошницы, затем что, мой милый друг, этот грузинец опасен — cet autre Alexandre, cet autre Achille[1]. Он чего доброго... но шутки в сторону: он — страшный скотина, и прошу тебя именем дружбы не писать на него эпиграмм. Если б он был человек, а не Шаликов, то стоил бы того, чтоб ему я или ты, или кто случится, проколол ему (sic!) желудок, отрубил его уши и съел живого зубами... но он Шаликов! Ради бога, не отвечай ему. Пусть Каченовский с ним воюет явно на Парнасе и под рукой в полиции, mais nous autres.

N'allons pas imiter les pedants de Moliére[2]

Но каков же этот Шаликов? Что это значит? Родяся мопсом, захотел в Мидасы, и Мидас прогремел кошельком и где же — на рынке...??? Ah, toujours de l'esprit toujours de l'esprit, monsieur Trissotin, monsieur de Trissotin[3]. Но этот Триссотин человек преопасный: я это знал давно. Он готов на тебя жаловаться митрополиту, готов прокричать уши всем встречным и поперечным, что его преследуют, что его

---

[1] Этот второй Александр Македонский, этот второй Ахилл *(фр.)*.

[2] Но мы — не будем уподобляться педантам Мольера *(фр.)*.

[3] Ах, вы всегда находчивы, всегда находчивы, господин Триссотэн, господин де Триссотэн *(фр.)*.

бранят, а потому бранят и бога, что он стихотворец, князь и чурлы-мурлы, то есть грузинец; ergo[1], всех надобно жечь и резать, кто осмелится бранить, поносить, бесчестить его стихотворное сиятельство. Одним словом, мой милый друг, наше дело сделано: nous avons le rieurs pour nous[2]; пусть его лягается, как сивый осел: мы будем молчать. Я заметил, что истинное дарование всегда терпеливее, ибо имеет в себе истинную надеянность: Мерзляков меня любить не может, но я его всегда назову честным человеком: он был обижен мною и молчал. А эти шальные Шаликовы хуже шмелей! И посмотри, чем разродится его «Аглая». Гром и молнию бросит он на нас... гром и молнию!.. Теперь ему помогает мыслить и Бланк неистощимый, и остроумный Макаров, и все за Преснею живущие поэты, кроме Воейкова, разумеется. Теперь он чинит свои перья и понюхивает табак. Теперь он ставит себе промывательные в задницу, чтобы par ricochet[3] очистить свой засоренный мозг... Теперь он ни пьет, ни ест, бедняжка!.. и подобно Пифии, которая пред прорицанием жевала лавровые листья, он жует Фреронов журнал и по капле пьет чернила, разведенные слезами Авроры. Вот что он делает! и пусть делает, что ему угодно. А все-таки в Москву не буду и поручаю тебе велеть выколотить пыльную спину нашего врага... розами! Не буду, мой милый друг, и быть не могу. Клянусь тебе всем, чем тебе угодно, что этого мне сделать невозможно: обстоятельства меня совершенно связывают. У меня хлопот выше ворот! Не мудрено, что я пишу глупые стихи: право, голова кружится. Даю себе слово не писать ничего до тех пор, пока и люди, и фортуна будут ко мне благосклоннее. Впрочем, ты напрасно на меня нападаешь за басни: «Сиротка Филомела» — из Лафонтена; и я нисколько не метил на себя: я еще не Шаликов. Эти обе басни написаны хорошо; я их перечитал и не вижу ничего смешного.

---

[1] следовательно *(лат.)*.

[2] все, обладающие чувством юмора, за нас *(фр.)*.

[3] рикошетом *(фр.)*.

Одна
Сосна
В полглаза взглянет,
Зевнет, еще зевнет, потянется и встанет.

Это изрядно, мой Аристрах! и я сошлюсь в том на Жуковского. Впрочем, если хочешь, я никогда писать басни не стану, чтоб не быть твоею баснею. Послание переписать лень. Твои замечания справедливы. Но почему не назвать тебя внуком Аристиппа? внуком Анакреона или черта, если хочешь? Это, то есть, не значит, что ты внук, то есть взаправду, и что твой батюшка назывался Аристиппычем или Анакреонычем, но это значит то, что ты, то есть, имеешь качества, как будто нечто свойственное, то-есть, любезность, охоту напиться не во время и пр., и пр., и пр. Ну, понял ли? понял ли, Анакреонович?

Когда будет в нашей стороне Жуковский *добрый мой*, то скажи ему, что я его люблю, как душу. Поклонись Давыдову и скажи ему от меня, что я всякий день глупею; это его утешит, потому что он раз из зависти говорил мне: «Батюшков! ты еще не совсем глуп!»

Поутру, в 11 часов

Я просыпаюсь сию минуту, перечитываю твое письмо, твои пачканые стихи, писанные in naturabilis[1], и узнаю тебя, мерзавца, в каждой строке, в каждом слове. Когда возьмешься ты за ум? Когда будешь скромен... как я, например? Когда? Никогда! никогда! И это приводит меня в отчаянье. Пиши ко мне почаще. Если мне будет можно, то я отправлюсь в Питер, где увижу Беседу, Пушкина, Давыдова-Анакреона и несколько людей, которых я люблю, старых приятелей, всегда мне милых, но, к несчастию ни одного Вяземского, ни одного шалуна, подобного тебе и в шалостях, и в душонке, и в умишке. Я буду о тебе сожалеть и в деревне, и в столице.

Je vous regretterais à la table des dieux[2].

Прости и помни, что Батюшков тебя любит, прости и будь счастлив, здоров, весел... как В. Пушкин, когда

---

[1] в первобытной наготе *(лат.)*.
[2] Я сожалел бы о вашем отсутствии и за трапезой богов! *(фр.)*.

он напишет хороший стих, а это с ним случается почти завсегда. Еще желаю:

Чтобы любовь и Гименей
Вам дали целый рой детей,
Прелестных, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих
И на отца — чуть-чуть умом,
А с рожи? — бог избавь!.. Ты сам согласен в том!

Д. Н. БЛУДОВУ

⟨Весна 1812 г. Петербург⟩

Нет ли у вас «Mélomanie»[1] особенно напечатанной, или по крайней мере в «Письмах» Лагарпа? Пришлите мне ее на несколько дней. Мне сегодня получше, но я начинаю чувствовать другую болезнь, стократ опаснее горячки — пиитическую желчь от славянских бредней.

К. Б.

Н. М. МУРАВЬЕВУ

1 мая 1812 г. Петербург

Мой милый и любезный друг и брат, вчерашний день поутру я получил известие о кончине твоего доброго друга. Эта весть меня поразила. Я воображаю себе твою горесть и печаль Катерины Федоровны. Признаюсь, мой милый друг, что я долго не мог верить сему несчастию. Наконец, вспомнив, что г. Галиф равное мне принимает участие в нашем добром и незабвенном друге, я побежал к нему и мы вместе поплакали. Я не стану утешать тебя, мой верный, добрый и чувствительный брат и друг, все, что я ни скажу, будет бесполезно, прошу, однако ж, тебя вспомнить, что есть люди на свете, которые тебя любят от всего сердца. Эта мысль всегда утешительна. Я дорого бы дал, чтоб поплакать с тобой. Но я в службе и отлучиться не могу. Отпиши ко мне, здоров ли

[1] «Меломания» *(фр.)*.

ты? и братцы? и весь дом ваш! Поцелуй ручку у маменьки и попроси ее, чтоб она меня не забывала. Стыдно тебе будет, если ты поленишься уведомить меня о своем здоровье. Г. Галиф тебе кланяется, он очень печален. Прости, еще раз прости, будь счастлив и сноси великодушно горести, которые посылает небо. Сто раз целую тебя, мой любезный брат. Твой верный

Константин.

Скажи маменьке, что Л. М. Оленина в субботу едет в Москву, эта весть ей приятна будет. Поклон всем домашним и Петру Михайловичу, который вас верно в горях не покидает.

Н. М. МУРАВЬЕВУ

30 мая 1812 г. ⟨Петербург⟩

Милый и любезный брат и друг. Я получил твое письмо, которое меня истинно опечалило, и замедлил отвечать, потому что все это время был очень болен. Я чувствую всю цену человека, тобой утраченного, и разделяю от всей души твою горесть. Время, конечно, облегчит ее, но изгладить не должно, ты опытом узнаешь, милый друг, что слезы для нас, бедных странников, имеют свою сладость. Утешай маменьку и сам будешь утешен. Она истинно должна радоваться, и я это смело говорю тебе в глаза, она должна радоваться, видя твои успехи в науках и, что всего лучше, видя твое доброе сердце, которое и мне напоминает лучшего из людей: твоего отца. Письмо твое, кроме малых погрешностей против языка, очень хорошо написано: поверишь ли, любезный брат, я этому радовался, как ребенок. Пиши ко мне почаще, пиши обо всем, что ты делаешь, чем занимаешься и как проводишь свое время. Поцелуй ручку у маменьки и скажи ей, что если ей угодно, чтоб я приезжал в Москву, то она попросила бы об этом Лизавету Марковну, которая поговорит с Алексеем Николаевичем о моем отпуске. Я прилечу на крыльях. Сережа Муравьев тебе кланяется, он у меня часто бывает и в болезни меня не покидал. Поцелуй брата Сашку и мученика лихорадки

Ипполита, попроси их, чтобы они меня не забывали. Был ли у тебя Вяземский? я просил князя, чтобы он навестил тебя и написал мне о твоем здоровье, которое для меня драгоценно, мой милый и любезный друг! Береги себя, ходи более пешком, особливо по утрам. Если можно, и на охоту или, по крайней мере, почаще езди верхом. Книги книгами, а прогулка прогулкой. Пиши более по-русски и читай Нестора и летописи, ты любишь историю. Г. Галифа я давно уж не видал. Поклонись от меня Петру Михайловичу. Будь здоров и счастлив и не забывай своего

Константина.

Д. В. ДАШКОВУ

9 августа ⟨1812 г., Петербург⟩

Я долго ожидал писем от вас, любезнейший Дмитрий Васильевич, и наконец получил одно, которое меня совершенно успокоило. Вы жалуетесь на беспокойное путешествие, на телеги и кибитки, которые нам, конечно, достались от татар, а не хотите пожалеть обо мне. Я и сам на днях отправляюсь в Москву и буду mutar ognora di vettura[1], то есть, поеду на перекладных по почте. Там-то вы найдете вашего покорного слугу в доме К. Ф. Муравьевой. Еще раз пожалейте обо мне; я увижу и Каченовского, и Мерзлякова, и весь Парнас, весь сумасшедших дом, кроме нашего милого, доброго и любезного Василья Львовича, который пишет мне, что какой-то Венев, город вовсе неизвестный на лице земном, будет обладать его особою. Теперь поговорить ли о петербургских знакомых, например, о Батые, о Тамерлане, о Чингисхане — поэте, который уничтожил Расина, Буало, Лафонтена и проч.? Сказать ли вам, что он написал оду на мир с турками; ода, истинно ода, *такого дня и года!* Поговорить ли с вами о нашем обществе, которого члены все подобны Горациеву мудрецу или праведнику, все спокойны и пишут при разрушении миров.

[1] все пересаживаться *(ит.)*.

Гремит повсюду страшный гром,
Горами к небу вздуто море,
Стихии яростные в споре,
И тухнет *дальний солнцев дом*,
И звезды падают рядами,
Они спокойны за столами,
Они покойны. Есть перо,
Бумага есть и — все добро!
Не видят и не слышут
И все пером гусиным пишут!

Пишут, и написали, и напечатали два нумера с вашего отъезда, и бедному доброму или бодрому Лапушнику досталось по ушам. Вот и все наши новости. Все идет по старому. Мы часто бываем, мы то есть, Северин, Трубецкой и Батюшков, мы бываем у Д. Н. Блудова, который дает нам ужины, гулянья на шлюпке, верхом и пр., и мы ужинаем и катаемся, louant dieu de toute chose[1], как мудрец Гаро в Лафонтеновой басне; недостает вас, любезнейший Дмитрий Васильевич, и мы это чувствуем ежедневно; недостает, по крайней мере у меня, спокойствия душевного, и вот почему наши удовольствия не совершенно чисты. Но где они чисты? Разве в доме сумасшедших, или

За синим океаном
Вдали, в мерцании багряном,

или бог знает где! Я очень скучаю и надеюсь только на войну: она рассеет мою скуку, ибо шпага победит тогу, и я надену мундир, и я поскачу маршировать, если... если будет это возможно. Но мы увидимся сперва в Москве, где я надеюсь быть в скором времени: там-то я готов возобновить с доктором Каченовским ваш ученый спор, если не испугаюсь его железного самолюбия и коварно-презрительной улыбки переводчика «Илиады», «Одиссеи», «Энеиды» и г-жи Дезульер, если не испугаюсь словообилию Иванова и калмыцкий глаз Воейкова, и Жан-Жако-Мерсьеровских порывов Глинки, который недавно получил Владимирский крест, с чем его от всей души поздрав-

[1] хваля бога за все *(фр.)*.

ляю. Простите, любезнейший Дмитрий Васильевич, любите меня столько, сколько я вас люблю и уважаю, и вы меня очень любить будете; пишите чаще и адресуйте письма к Северину, который перешлет в Москву, если оно меня здесь не застанет. Батюшков.

Кланяется вам М. А. Салтыков и его жена.

Е. Н. и П. А. ШИПИЛОВЫМ

7 сентября ⟨1812 г. Владимир⟩

Я из Москвы отправился с Катериной Федоровной в Нижний и теперь пишу из Володимира. Она очень нездорова. Я надеялся возвратиться в Петербург, а теперь — и за то благодарю бога! — еду в Нижний. К батюшке писать не успел из Москвы, а почта на Петербург еще не учреждена здесь. Бога ради, успокойте его, мои друзья, и скажите ему, что я буду в деревню из Нижнего́; мне хочется с вами увидеться.

Сколько слез! Два моих благотворителя, Оленин и Татищев, лишились вдруг детей своих. Оленина старший сын убит одним ядром вместе с Татищевым. Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор! Бедные родители!

Пришли мне оброк в Нижний Новгород, я буду иметь крайнюю нужду в деньгах. Приготовьте его, а из Нижнего я писать буду. Будьте здоровы, покойны и неразлучны. Бог с вами со всеми! — Рука не поднимается описывать вам то, что я видел и слышал. Простите.

Сегодня еду в Нижний из Володимира.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Январь 1813 г. Нижний Новгород⟩

По приезде моем в Нижний я был у Карамзиных, которые о тебе очень расспрашивали у меня. Я у них еще вчера обедал. Надеюсь, что они к тебе писали. Твое письмо меня обрадовало; но твои письма меня всегда радуют; пиши мой друг ко мне почаще; пиши

из Москвы, я надеюсь, что ты оставил Вологду, или скоро ее оставишь и это письмо пускаю на всякий страх. Я жалею от всей души о том, что не мог разделить с тобой горестных, неизъяснимых чувств на пепле несчастной и священной Москвы; всё двоим было бы полегче. Благодарю за стихи Жуковского. Они прекрасны. Второе послание к Арб⟨еневой⟩ лучше первого, в нем виден Жук⟨овский⟩, как в зеркале; послание к Бат⟨юшкову⟩ прелестно. Жуковский писал его влюбленный. Редкая душа! редкое дарование! душа и дарование, которому цену, кроме тебя, меня и Блудова, вряд ли кто знает. Мы должны гордиться Жуковским. Он наш, мы его понимаем. И Василий Львович плакал, читая его стихи. Мы перечитывали и твои несколько раз с живым удовольствием. Теперь ни слова не скажу тебе о здешних балах, шарадах, маскарадах, и проч., ибо я на них бываю телом, но не духом. Моя судьба еще не решена. Я расстроен всем и телом и душой и карманом. Желаю ехать в армию поскорее. Отпиши ко мне, на что ты решишься. Прощай, мой милый друг, сегодня душа моя тебя *не допросилась*. Будь здоров и помни скучающего Батюшкова.

Усерднейшее почтение княгине.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

7 декабря ⟨1812 г. Нижний Новгород⟩

Я уверен по собственному сердцу, мой добрый и любезный друг, что ты желаешь меня видеть; и не худо было бы увидеться, хотя еще раз на этом свете. И ты и я улетим бог весть куда. Меня принимает к себе в адъютанты А. Н. Бахметев, и обещал отправить в армию: судьба жестокая! Зачем мы не вместе будем делить и печали и нужду! Как бы то ни было, я желаю с тобой увидеться в армии. Оставить тебе княгиню я не могу советовать. Но если ты принужденным находишься остаться в военной службе, то конечно предпочтешь армию и деятельную жизнь при своем генерале гарнизонной службе в Мамоновом полку, который мне вовсе не нравится. В таком случае, может быть мы увидимся при пушечных выстрелах,

я желаю этого от всего сердца. Теперь, любезный друг, если будет возможность, я приеду хоть на сутки в Вологду, истинно за тем, чтобы с тобой увидеться. Мы много видели, много жили в течение четырех месяцев, и конечно не устанем говорить и не наговоримся. Я тебя всегда любил, и может быть более нежели ты меня: ты делишь свою душу с женой, с редкой женщиной, которой и женщины любят отдавать справедливость; я живу весь для друзей. Теперь прости! если я не смогу приехать в Вологду, что легко может быть, ибо я теперь завишу от обстоятельств, то к тебе писать буду, и напишу длинное письмо. Отвечай мне на это; да пришли твои стихи, послание, о котором мне сказывал мой зять.

Ты ко мне слова не писал о твоем житье-бытье. Как ты время провел в Вологде, которую я очень не люблю. Впрочем и в Нижнем не очень весело: если бог приведет нам увидеться, то я расскажу очень много забавного о наших старых знакомых, которые тебя все помнят. Тебе известны стихи В. Л. Пушкина:

О, волжских жители брегов,
Примите нас под свой покров

Но ты, конечно, не знаешь как А. М. Пушкин их пародировал. Тебе многое неизвестно! И у нас было чудес! чудес!

Где Жуковский? ему дали Владимира? правда ли это? Северин уехал и хорошо сделал; я его очень люблю. Блудова нет — право и в Питере не очень весело; до сих пор ходят, как пьяные.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

9 мая 1813 г. Петербург

Прости мне мое молчание. Все сии дни я был занят или, лучше сказать, не жил дома: вот почему и не успел сделать замечания на твое прекрасное послание. Теперь на досуге приступаю к делу. Вообще весь тон стихов благороден и выдержан за это тебе поклон,— но мне кажется, что:

Прозаик милый мой...

Прозаик — не хорошо, и еще милый! — притом Жуковский, если он прозаик и поэт, то, конечно, и музам

друг: следственно: здесь плеоназм. Все четыре стиха растянуты; надобно было вдруг изъяснить, чего ты требуешь.

Я от тебя хочу...

Я от тебя хочу... Против ударения.— Эти стихи легко поправить.

Все следующие прекрасны, а этот очень счастлив:

В сотрудников число на упокой попасть!

Но что значит:

В храм славы пропуска для будущей субботы?—

Этой субботы я не понимаю и никто не понял.

Кляну...
Бумаги выдумку, и перья, и себя...

Немного холодно! скажи как-нибудь повеселее — ты на это мастер.

Зритель *неучастный* — нельзя; лучше, кажется, непричастный. Но и в таком случае сказать необходимо, в чем?— ибо того требует наше словосочинение.

Благодарю за похвалу (я этого не стою! помилуйте! пощадите!), но *бездумный* — слишком смело; по крайней мере мне так кажется. Потом все стихи прекрасны, кроме растянутых:

Жуковс⟨ки⟩й, просвети ты мрак *недоумений*
И на беду мою воюющих *сомнений*
Ты *прекрати* во мне *всечасную борьбу.*

Холодно, потому что одна мысль в разных словах; я желал бы и здесь поболее комических стихов. Далее все хорошо, прекрасно — а этот стих очень счастлив:

Обидит ли кого он одою своею?

Но...

И музами тройным венком *почтимый* он —

нельзя сказать никак!

Пусть одой ближнего Хлыстов не обижает,
Но я и здравый смысл обидеть не хочу!

Прекрасно, прекрасно! Я доволен остальными, а особливо:

На то и дураки, чтобы дурачить их.

Всего счастливее! Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs[1]. Зачем ты кончишь Вольтером?— тут никакой связи нет ни в мыслях, ни в словах. А этот

[1] Дураки существуют на свете для наших маленьких удовольствий *(фр.)*.

стих очень дурен и холоден, и неприятен для слуха:

Сей запросто себе стих в эпиграфы взял...

Бога ради, поправь его или, лучше, переделай вовсе.

Вот что я заметил важнейшего. Приделай другой конец, дай более жизни иным стихам, и твое послание будет достойно и тебя, и Жуковского. Я слишком люблю тебя и дорожу тобою, чтоб тебя обманывать.— Перевод из Вольтера не так хорош — и далек от послания. Не поленись, еще раз переправь его и пришли сюда поскорее, только ко мне. Я отдам его в печать, если хочешь. Теперь скажу тебе приятную весть. Жуковс⟨ки⟩й в Белеве. Прислал оттуда к Дмитриеву своего «Певца» с поправками и с посвящением государыне Елизавете Алексеевне, которая написала к Ивану Иванов⟨ич⟩у лестный для Жуковского рескрипт и *перстень*. Это его должно обрадовать. Пиши к нему в Белев. На прошедшей почте я послал к тебе письмо Северина, доставленное мне Дашковым. Получил ли ты его?

Я ожидаю сюда Бахметева и буду проситься в армию. Прости, будь здоров и помни твоего

Батюшкова.

Н. И. ГНЕДИЧУ

⟨Сентябрь 1813 г. Теплиц⟩

Отправь это письмо к батюшке на имя сестры Александры в Череповец. Сделай одолжение, из моих денег купи сии карты и пришли немедленно при первой оказии на имя его превосходительства Николая Николаевича Раевского, надписав ко мне, с фельдъегерем или курьером. Приложенные у сего письма доставь сестре и куда следует, не замедля. Я ничего от сестры и родных, ни одного письма до сих пор не получал. Часто мне бывает грустно, и вот причина. Извини меня, что пишу в первый раз. Право, ни времени, ни способа не было. Если получил деньги, то отправь их через Олениных на имя Дамаса; это всего вернее, а Дамас мне доставит. Не столько в деньгах, как в лошадях здесь нуждают-

ся. Лошади дороги, а без коня нельзя служить; на худом вдвое адъютанту опаснее: я это испытал ныне на опыте.

Что делает литература? — Пиши поболее и чаще, а особливо поболее. Яковлев толстеет, ест, пьет и спит исправно. Г⟨рафа⟩ Строгонова вижу часто. Поклонись Трубецкому и скажи ему, что я отдал его письмо.

Эти письма раздай по адресу.

Д. В. ДАШКОВУ

25 апреля 1814 г. Париж

Письмо ваше от 25-го января я получил на марше из Витри-ле-Франсе к Фер-Шампенуазу и не могу вам описать удовольствие, с каким я прочитал его, любезный друг Дмитрий Васильевич! Сто раз благодарю вас за приятное ваше послание к полуварвару Батюшкову, покрытому военным прахом, забывшему и Музу, и ее служителей, но не забывшему друзей, в числе которых вы всегда жили в моем сердце. Столько и столько приятных минут, проведенных с вами на берегах Невской Наяды и в шуме городском, и в уединенных беседах, где мы делали друг другу откровения *не о любимцах счастья*, нет, а о дружбе нашей, о пламенной любви к словесности, к поэзии и ко всему прекрасному и величественному, — дают мне право на ваше воспоминание. В жизни моей я был обманут во многом, кроме дружбы. Ею могу еще гордиться; она примиряет меня с жизнию, часто печальною, и с миром, который покрыт развалинами, гробами и страшными воспоминаниями.

Теперь несколько слов о себе. Вы не будете требовать от меня целой Одиссеи, то есть описания моих походов и странствий: для этого недостает у меня бумаги, а у вас терпения. Скажу вам просто: я в Париже! La messagère indifférente[1], молва известила вас давно о наших победах, чудесных поистине: это всё давным-давно известно и распложено в английском

[1] Равнодушная вестница *(фр.)*.

клубе и в газетах, и в «Сыне отечества», и у Глинки, и в официальных одах постоянного Хлыстова; одним словом — это старина для вас, жителей мирного Питера. Но поверите ли, мы, которые участвовали во всех важных происшествиях, мы едва ли до сих пор верим, что Наполеон исчез, что Париж наш, что Людовик на троне и что сумасшедшие соотечественники Монтескье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Датона и Наполеона поют по улицам: «Vive Henri quatre, vive ce roi vaillant[1]. Такие чудеса превосходят всякое понятие. И в какое короткое время, и с какими странными подробностями, с каким кровопролитием, с какою легкостию и легкомыслием! Чудны дела твоя, господи!

Нет, любезный друг, надо иметь весьма здоровую голову, чтоб понять все дела сии и чтобы следовать за всеми обстоятельствами... Я от этой работы отказываюсь, я, который часто не понимал стихов Шихматова.

Скажу просто: я в Париже. Первые дни нашего здесь пребывания были дни энтузиазма. Теперь мы покойнее. Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля, в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюельри, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и пр., и пр., и пр.,— теперь мы всё это делаем и делать можем, ибо мы отдохнули и телом, и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные. Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным построением; с удовольствием неизъяснимым вижу рус-

---

[1] Да здравствует Генрих IV, да здравствует этот доблестный король *(фр.)*.

ских гренадер перед Траяновой колонной или у решетки Тюельри, перед Arc de triomph[1], где изображены и Ульм, и Аустерлиц, и Фридланд, и Иена. Еще с большим удовольствием смотрю на наших воинов, гуляющих с инвалидами на широкой площади, принадлежащей их дому.

Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг! Они должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но и целой Франции,— и благодарны: это меня примиряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения, особливо народ парижский.

Я вижу отсюда, что Дмитрий Васильевич, читая мое письмо кивает головою. «Бог с ними, что мне до народа французского? Зачем Батюшков не говорит мне о литературе, о Лицее, о славных ученых мужах, об остроумных головах, о поэтах, одним словом — о людях, которым я, живучи на берегах Ладожского озера и Невы, обязан сладостными минутами, которых имя одно пробуждает в голове тысячу воспоминаний приятных, тысячу понятий...» Извольте! Я скажу вам, во-первых, что в шуме военном я забыл, что существовала Академия из сорока членов, точно так, как забыл, что есть Беседа, Академия русская и Палицын, гроза чтецов. Но раз, перейдя за Королевский мост, забрел я случайно к Дидоту, любовался у него изданием Лафонтена и Расина и, разговаривая с его поверенным, узнал ненароком, что завтра в 3 часа пополудни второй класс Института будет иметь торжественное заседание.

Вооружась билетом для прохода чрез врата учености в сие важное святилище Муз, я, ваш маленький Тибулл, или, проще, капитан русской императорской службы, что в нынешнее время важнее, нежели бывший кавалер или всадник римский (ибо, по словам Соломона, «живой воробей лучше мертвого льва»), я, ваш приятель, наступил на горло какому-то члену Общества и вошел в залу, пробираясь сквозь толпу любопытных.

«Вот, садитесь здесь или станьте за моим табуретом,— сказала мне прекрасная женщина,— здесь вы

[1] Триумфальной арки *(фр.)*.

всё увидите, всё услышите». Я стал за табуретом и с удовольствием взглянул на залу и на блестящее собрание отборной публики... парижской! Зала прекрасная: она построена крестообразно. В четырех нишах, составляющих углы ротонды, поставлены четыре статуи — произведение искусства французских художников, статуи великих людей: Сюлли, Монтескье, Боссюета и Фенелона. От ротонды возвышается амфитеатр, посвященный для зрителей: ротонда — для членов и важных посетителей. Члены сбирались мало-помалу, и француз, мой сосед, называл их: «Вот Сюар, вот Буфлер, вот Сикар, а это, с красной лентой, старик Сегюр! Вот Этьен, сочинитель хорошей комедии; возле него Пикар, любимый автор парижский!» С ними были и другие члены прочих классов Института, которые имеют право заседать в торжественных собраниях. Ни Парни, ни Фонтаня я не видел. Шатобриана, кажется, не было. Наполеон не согласен был на принятие его в члены — за несколько строк из речи автора «Аталы» против правления или против его особы. Зато и Шатобриан не пощадил его в последнем сочинении, которое вам, без сомнения, известно. Наконец, при плеске публики, при беспрестанных восклицаниях: «Vive Alexandre, le magnanime Alexandre! Vive le roi de Prusse, vive le general Saken!»[1] вошли наши герои.

Лакретель, секретарь Академии, читал им приветствие. Я с удовольствием слушал его. Лакретель, как писатель, имеет достоинства: вы, кажется, любите его «Историю революции» и «Историю последнего века». За ним — снова рукоплескания, снова восклицания: «Да здравствует император!» и пр.

Они замолкли, и г. Вильмень, молодой человек 22-х лет, начал читать снова приветствие государю и просил публику выслушать рассуждение «О пользе и невыгодах критики», увенчанное Институтом. Молчание глубокое. Все слушали с большим вниманием длинную речь молодого профессора, весьма хорошо написанную, как мне показалось; часто аплодировали

[1] «Да здравствует Александр, великодушный Александр! Да здравствует прусский король! Да здравствует генерал Сакен!» *(фр.)*.

блестящим фразам и более всего тому, что имело какое-нибудь отношение к нынешним обстоятельствам! «Браво! г. Вильмень! Продолжайте!» — говорили женщины. «Он мыслит, Il pense», — говорили мужчины, поправляя галстух с обыкновенною важностию... и все были довольны. «Как он молод!» — шептали женщины. «Как он молод! И два раза увенчан Академией! В первый раз за похвальное слово Монтаню...» «В котором много глубоких мыслей», — прибавил мужчина, мой сосед. «Немудрено», — продолжал другой, — он говорил о Монтане»!

По окончании речи президент обнял два раза молодого профессора и провозгласил его победителем при шумных рукоплесканиях публики. Государь и король прусский сказали ему несколько учтивых слов: молодой автор был на розах.

Нынешний год была предложена к увенчанию «Смерть Баярда», но по слабости поэзии не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предмет назначен для будущего года? *Польза прививания коровьей оспы!!* Это хоть бы нашей Академии выдумать! Поэтому, любезный друг, можете судить о состоянии французской словесности. Ее не любил Наполеон. Математик во всяком случае брал преимущество над членом второго класса Института, что не мало послужило к упадку Академии французской. Правление должно лелеять и баловать Муз: иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться. Впрочем, мирное отеческое правление будет во сто раз благосклоннее для Муз судорожного тиранского правления Корсиканца, который в великолепных памятниках парижских доказал, что он не имеет вкуса, и что «Музы от него чело свое сокрыли».

Теперь вы спросите у меня, что мне более всего понравилось в Париже? Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского. Он выше описания Винкельманова: это не мрамор — бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело!

Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в Музеум единственно за тем, чтобы взглянуть на Аполлона и, как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, *лучшим возвращаюсь*. Ни слова о других редкостях, ни слова о великолепной картинной галерее, единственной в своем роде, ни слова о редкостях парижских, о театрах, о Дюшенуа, о Тальме и пр., и пр. Я боюсь вам наскучить моими замечаниями. Но позвольте, мимоходом, разумеется, похвалить женщин. Нет, они выше похвал, даже самые прелестницы

Пред ними истощает
Любовь златой колчан.
Всё в них обворожает:
Походка, легкий стан,
Полунагие руки
И полный неги взор,
И уст волшебны звуки,
И страстный разговор,—
Всё в них очарованье!
А ножка... милый друг,
Она — Харит созданье,
Кипридиных подруг.
Для ножки сей, о, вечны боги,
Усейте розами дороги
Иль пухом лебедей!
Сам Фидий перед ней
В восторге утопает,
Поэт — на небесах,
И труженик, в слезах,
Молитву забывает!

Итак, мне более всего понравились ноги, прелестные ноги прелестных женщин в мире. De gustibus non disputandum[1]. У английского генерала недавно спрашивали французские маршалы, что ему более всего понравилось в Париже? «Русские гренадеры», отвечал он. Пусть Северин скажет вам теперь, что ему понравилось в столице мира. Северин здесь; мы с ним видимся каждый день, бродим по улицам

[1] О вкусах не спорят *(лат.)*.

и часто, очень часто вспоминаем о Дашкове. Я ему уступаю перо до первого случая.

Теперь простите. Если Иван Иванович в Петербурге, то покорнейше прошу вас засвидетельствовать ему мое почтение. Поклонитесь знакомым; обнимите Блудова и скажите ему, что Батюшков любит его и уважает по-старому. Тургеневу ни слова обо мне:

Ему ли помнить нас
На шумной сцене света?
Он помнит лишь обеда час
И час великий Комитета!

Батюшков.

Д. П. СЕВЕРИНУ

19 июня 1814 г. Готенбург

Исполняю мое обещание, любезный друг, и пишу к тебе из Готенбурга. После благополучного плавания прибыл я вчерашний день на пакетботе «Альбионе» здоров и весел, но в большой усталости от морского утомительного переезда. Усталость не помешает рассказывать мои похождения. Садись и слушай!

Оставя тебя посреди вихря лондонского, я сел с великим Рафаэлем в фиакр и в беспокойстве доехал до почтового двора, боясь, чтобы карета под надписью «в Гарич» не ускакала без меня в урочное время. К счастию, она была еще на дворе, и около неё рой почтовых служителей, ожидающих почтенных путешественников. Дверцы отворены: я пожал руку у твоего италианца, громкого именем, но смиренного званием, и со всей возможной важностию занял первое место, ибо я первый вошел в карету. Другие спутники мои, заплатившие за проезд дешевле, уселись на крышке, на козлах, распустили огромные зонтики и начали, по обыкновению всех земель, бранить кучера, который медлил ударить бичом и спокойно допивал кружку пива, разговаривая со служанкою трактира. Между тем как с кровли каретной сыпались годдемы на кучера, дверцы отворились: двое мужчин сели возле меня, и колымага тронулась. К счастию, то были немцы из Гамбурга, люди приветливые и

добрые. Мы не успели выехать из предместий Лондона, карета остановилась, и в неё вошел новый спутник. Впоследствии я узнал, что товарищ наш был родом швед, а промыслом — глупец, но оригинал удивительный, о котором я, в качестве историка, буду говорить в надлежащее время. Теперь я на большой дороге, прощаюсь с Лондоном, которого может быть, не увижу в другой раз. Карета летит по гладкой дороге, между великолепных лип и дубов; Лондон исчезает в туманах. В Колчестр, знаменитый устрицами, прибыли мы в глухую полночь, а в Гарич — на рассвете. В гостинице толстого Буля ожидал нас завтрак. Товарищи мои — швед, два гамбургца, несколько англичан и шотландцев, все в глубоком молчании и с важностию чудесною пили чай и поглядывали на море, в ожидании попутного ветра. Таможенные приставы ожидали нас. Окончa все дела с ними, честная компания возвратилась к Булю. В большой зале ожидали нас новые товарищи, которые, узнав, что я — русский, дружелюбно жали мне руку и предложили пить за здравие императора. Портвейн и херес переходили из рук в руки, и под вечер я был красен, как майский день, но всё в глубоком молчании. Товарищи мои пили с такой важностию, о которой мы, жители матерой земли, не имеем понятия. Нас было более двенадцати, со всех четырех концов света, и все, казалось мне, люди хорошо воспитанные, все, кроме шведа. Он час от часу более отличался, желая играть роль джентльмена и коверкая английский язык немилосердным образом. Англичане улыбались, пожимали плечами и пили за его здоровье. Ветер был противный, и мы остались ночевать в Гариче. На другой день поутру, шотландец, товарищ мой из Лондона, высокий и статный молодой человек, вошел в мою спальню и ласковым образом на каком-то языке (который англичане называют французским) предложил мне идти в церковь. День был воскресный, и народ толпился на паперти. Двери храма отворились: мы вошли с толпою.

Простота служения, умиление, с которым все молились в молчании, изредка прерываемом или протяжным пением, или важными звуками органа, сделали в душе моей впечатление глубокое и сладостное.

Спокойные ангельские лица женщин, белые одежды их, локоны, распущенные в милой небрежности, рой прелестных детей, соединяющих юные гласа свои с дрожащим голосом старцев, древних мореходцев, поседевших в бурной стихии, окружающей Гарич,— все вместе образовало картину великолепную, и никогда религия и священные обряды ее не казались мне столь пленительными! Самая церковь на берегу моря, в пристани, откуда столько путешественников пускаются в края отдаленные мира и имеют нужду в промысле небесном, сей храм с готическою кровлей, с гербами, с простою кафедрою, на которой почтенный старец изъясняет простыми словами глубокий смысл Евангелия, сей самый храм имеет нечто особенное, нечто пленительное. Около двух часов я просидел с моим шотландцем; он молился с большим усердием, скажу более — с набожностию. Примеру его следовали все молодые люди и граждане мирные, и воины. Так, милый друг, земля, в которой все процветает, земля, так сказать, заваленная богатствами всего мира, иначе не может поддержать себя, как совершенным почитанием нравов, законов гражданских и божественных. На них-то основаны свобода и благоденствие нового Карфагена, сего чудесного острова, где роскошь и простота, власть короля и гражданина в вечной борьбе и потому в совершенном равновесии. Это смешение простоты и роскоши меня поразило всего более в отечестве Елизаветы и Адиссона. В сей день, незабвенный для моего сердца, один из путешественников, узнав, что я — русский, пригласил меня прогуливаться. Мы бродили по берегу морскому посреди благовонных пажитей и лесов, осеняющих окрестности Гарича. Толпы счастливых поселян в праздничных платьях прогуливались вдоль по дороге или отдыхали на траве. Сквозь густую зелень орешника и древних вязов выглядывали миловидные хижины приморских жителей, и солнце вечернее освещало картину великолепную. Меня все занимало, все пленяло. Я пожирал глазами Англию и желал запечатлеть в памяти все предметы, меня окружающие. Сидя на камне с добрым англичанином — такие открытые и добрые физиономии редко встречаются,— сидя с ним в дружественной

беседе, мы забыли, что время летело и солнце садилось. Он прощался надолго с милым отечеством и говорил о нем с восхищением, с радостными слезами. «Как не любить такую землю»,— повторял он, указывая на пленительные окрестности;—«здесь я покидаю жену, детей, родственников, друзей и свободу». Британец пожал крепко мою руку, и мы возвратились в гостиницу.

Слуга извещает нас, что попутный ветер позволяет судам выходить из гавани. Я затрепетал от радости. Прощаюсь с товарищами, расплачиваюсь с услужливым хозяином, сажусь в лодку и с неё на желанный пакетбот Альбион, к капитану Маию. Со мною два пассажира: проказник швед и какой-то богатый еврей из Лондона, великий щеголь и краснобай. Море заструилось; выходим из порта. Но ветер долго принуждает нас плавать около берегов графства Суффолк, которого маяков мы не теряем из виду во всю ночь. Признаюсь тебе, положение мое было незавидно: жить несколько дней с незнакомыми лицами, иметь в виду морскую болезнь... Что делать! Надобно покориться судьбе. Я сел на палубу и любовался *сребрchoчешуйчатым* морем, которое едва колебалось и отражало то маяки, то лучи месяца, восходящего из-за берегов Британии. Между тем еврей рассказывал повести, швед болтал о ковенгардских прелестницах, о портных, о лошадях и о Норвегии, которую парламент отдает принцу. Поздно возвратился я в каюту и спал мертвым сном, поруча себя Нептуну, наядам, Борею и Зефиру, Кастору и Поллуксу, покровителям странников, и Венере, которая родилась из пены морской, как известно всякому. По утру я проснулся с головною болью; к вечеру стало хуже: я страдал. Ветер был противный и ночь ужасная. Паруса хлопали, снасти трещали, волны плескали на палубу, и заботливый капитан беспрестанно повторял любимую поговорку: «Бедный Йорик, бедный Йорик!». На четвертый день свежий попутный ветер надувал паруса, и моя болезнь миновалась. Всё ожило. Матросы пели, капитан шутил с евреем, но швед час от часу становился несноснее и скучнее. Где укрыться от него? Я узнал впоследствии, что он сын богатого купца, родом из Стокгольма, был послан в Лондон учиться коммерции, наделал там

долгов и возвращается pian-pianino[1] в свое отечество. Его дурной немецкий и французский выговор приводили меня в отчаяние. При каждом движении судна он бледнел. То ему казалось, что капитан выпил лишнюю рюмку, то компас не верен, то паруса не на месте, и то не так, и это худо. Потом рассказы о Гайд-парке, о бирже, о Платове, о Веллингтоне; там описание сокровищ отца его, *и всё, и всё, чего мне слушать не хотелось!* То он давал советы капитану, который отвечал ему годдемом, то он удил рыбу, которая не шла на уду, то он видел кита в море, мышь на палубе или синичку на воздухе. Он всем наскучил, и человеколюбивый еврей предложил нам бросить его в море, как философа Диагора, на съедение морским чудовищам.

Свободные часы я проводил на палубе в сладостном очаровании, читая Гомера и Тасса, верных спутников воина. Часто, покидая книгу, я любовался открытым морем. Как прелестны сии необозримые, бесконечные волны! Какое неизъяснимое чувство родилось в глубине души моей! Как я дышал свободно! Как взоры и воображение мое летели с одного конца горизонта на другой! На земле повсюду преграды: здесь ничто не останавливает мечтателя, и все тайные надежды души расширяются посреди безбрежной влаги.

Fuggite son le terre e i lidi tutti
De l'onda il ciel, del ciel l'onda è confine[2].

В седьмой день благополучного плавания восходящее солнце застало меня у мачты. Восточный ветер освежал лицо мое и развевал волосы. Никогда море не являлось мне в великолепнейшем виде. Более тридцати судов колебались на лазоревой влаге: иные шли в Росток, другие в Англию; иные, подобно пирамидам, казались неподвижными, другие, распустя паруса, как лебеди тянулись длинною стаею и исчезали в отдалении. Наконец, мы заметили в море одну неподвижную точку — высоты Мастранда, и я привет-

---

[1] потихонечку *(ит.)*.
[2] Земля и берега скрылись из глаз.
Волна слилась с небом, а небо с волной *(ит.)*.

ствовал родину Густава и Карла. Волны становились час от часу все тише и тише, изгладились, и я увидел новую торжественную картину: совершенное спокойствие, глубокий сон бурной стихии. Солнце, находясь в зените своем, осыпало сиянием гладкую синеву. К несчастию, долго ничем наслаждаться не можно. Тишина на море утомительнее бури для мореплавателя. Я пожелал ветра и сказал капитану:

...Tu, che condutti
N'hai... in guesto mar che non ha fine
Di, s'altri mai gui giunse; e se piu avante
Nel mondo ove corrimo have abitante[1]

Он отвечал мне на грубом английском языке, который в устах мореходцев еще грубее становится, и божественные стихи любовника Элеоноры без ответа исчезли в воздухе:

Быть может, их Фетида
Услышала на дне,
И, лотосом венчанны,
Станицы нереид
В серебряных пещерах
Склонили жадный слух
И сладостно вздохнули,
На урны преклонясь
Лилейною рукою;
Их перси взволновались
Под тонкой пеленой...
И море заструилось,
И волны поднялись!

Свежий ветер начал надувать паруса. Мы приближались к утесам готическим. Ты помнишь гавань Готенбургскую и, может быть, подобно мне, с нетерпением проходил мимо архипелага, скал и утесов, живописных издали, но утомительных для мореплавателя. Наконец, мы в Готенбурге, в новой Англии, по словам Арндта! С рассветом являются к нам таможенные приставы, которые позволяют нам вступить на берег шведский. Капитан Маий со мною прощается

[1] ...Заведя нас в это море, не имеющее пределов, скажи, заходил ли сюда уже кто-нибудь и обитаем ли мир впереди *(ит.)*.

и желает счастливого пути в Россию. Швед спешит в город и забывает второпях свои чемоданы. *Честный* еврей подает мне руку, и мы шествуем с нашими пожитками в гостиницу Зегерлинга, откуда я пишу к тебе сии строки дрожащею рукою. Письменный столик шатается, пол подо мною колеблется: столь сильно впечатление морской качки, что и здесь, на сухом пути, оно не исчезает.

Отдохнув немного, иду справляться, нет ли корабля в Петербург; в противном случае принужден буду ехать в Стокгольм. К несчастию, вчера был день воскресный, и все банкиры и маклеры за городом, в увеселительных домах своих. Что делать? Бродить по городу, который показался мне и мал, и беден, вопреки Арндту. Немудрено: я — из Англии! За воротами готенбургскими есть липовая аллея: единственное гулянье. Я прошел по ней несколько раз с печальным чувством: липы шведские так тощи и худы в сравнении с липами Британии! Холодными глазами смотрел я на окрестности Готенбурга, довольно живописные, на купцов и конторщиков, которые со всею возможною важностию прогуливают себя, свои английские фраки, жен, дочерей и скуку. Женщины не блистают красотою, и странный наряд их не привлекателен.

На городской площади собираются офицеры к параду. Народ с большим удовольствием смотрел на развод тощих солдат в круглых шляпах и в лохмотьях, которые сделали бы честь австрийской армии. В вечеру парад церковный, обряд искони установленный. Войско становится в строй и поет псалмы и священные гимны, офицеры читают молитвы. Так ведется в шведской армии со времен Густава-Адольфа, набожного рыцаря и короля властолюбивого.

Итак, мой милый друг, я снова на берегах Швеции,
В земле туманов и дождей,
Где древле Скандинавы
Любили честь, простые нравы,
Вино, войну и звук мечей.
От сих пещер и скал высоких,
Смеясь волнам морей глубоких,
Они на бренных челноках
Несли врагам и казнь, и страх.
Здесь жертвы страшные свершалися Одену,
Здесь кровью пленников багрились алтари...

Но в нравах я нашел большую перемену:
Теперь полночные цари
Курят табак и гложут сухари,
Газету Готскую читают
И, сидя под окном с супругами, зевают.

Эта земля не пленительна. Сладости Капуи или Парижа здесь неизвестны. В ней ничего нет приятного, кроме живописных гор и воспоминаний.

Прости, милый товарищ! Тебе не должно роптать на судьбу: ты в земле красоты, здравого смысла и свободы, ты счастлив. Но я не завидую тебе, возвращаясь на дикий север: я увижу родину и несколько друзей, о коих могу сказать с Вольтером:

Je les regretterais a' la table des dieux[1].

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

27 июля ⟨1814 г. Петербург⟩

Я получил твое письмо, любезный князь, и благодарю тебя за прозаическую оду на мой приезд. Мне более нравятся поэтические твои чувства; ибо я уверен в твоей дружбе. Ты бог знает как толкуешь мое письмо, а vous permis[2]. Впрочем, немудрено! Я часто не знаю, что делаю, что пишу, и ныне это доказал на деле. Нелединский заставил меня писать для великолепного праздника в Павловском; дали мне программу, по ней я принужден был нанизывать стихи и прозу, пришел капельмейстер и выбросил лучшие стихи, уверяя, что не будет ефекту, пришел какой-то Корсаков, который примешал свое, пришел Державин, который примешал свое, как ты говоришь, кое-что, и изо всего вышла смесь, достойная нашего Парнаса и вовсе недостойная ни торжественного дня, ни зрителя! Что делать! Усердие было — пусть страдает мое

---

[1] Я пожалею о них за трапезой богов *(фр.)*.
[2] тебе позволено *(фр.)*.

авторское самолюбие, и простодушный Лафонтен впредь не будет вверяться Люлли. Вот история моя с приезду. Прибавь к этому болезнь, которая напоминает мне паршивого человека в послании к Пизонам или поэта, от которого все бегают, боясь заразы. В прозе надобно говорить просто, без парафразов, вот почему и объявляю вам, что с моря привез сюда чесотку, которая меня мучила три недели. Теперь легче; но зато я так слаб, что насилу таскаю ноги. Вчерашний вечер я просидел у Нелединского, который мне читал твои письма, он навещал меня часто в болезни и часто разговаривал о тебе. С ним я перечитывал твой прекрасный хор, истинно прекрасный. Жуковского «Певец» и твой хор мне более всего понравились. Пиши, любезный друг, пиши стихи и более всего прозу к твоему старому приятелю. Кстати о прозе, я по приезде моем написал разбор сочинениям покойного Муравьева, который намерен напечатать. Желаю, чтобы он тебе понравился, я писал его от души. Присылай к нам Василия Львовича, без него нам скучно. Прости еще раз, прости и дай себя обнять — в мыслях. Но когда обнимемся на развалинах московских? Когда соберемся и на ее священном пепле сделаем излияния в честь ее великой тени? Когда? Когда?

Конст. Б.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

7 августа 1814 г. ⟨Петербург⟩

Вчерашний день я был у Ивана Иванов⟨ича⟩. Он мне сказывал, что ты болен, и сын твой болен, и дети Карамзиных больны. Правда ли, любезный друг? Приезжий из Москвы Вигель был у меня сегодня и уверил меня, что он тебя оставил здоровым. Это меня успокоило, но не совсем. Рассей скорее наши страхи и напиши нам несколько строк. У меня много сердечных неудовольствий, никогда не скучал я подобно нынешнему. Бога ради, не заставь меня огорчаться и за тебя. Выздоравливай и пиши к нам.

Конст.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

27 августа 〈1814 г. Петербург〉

Я получил твое письмо, любезный князь, и с горестью читал его несколь〈ко〉 раз. Что могу сказать тебе в утешение? Мы не для радостей в этом мире, я это испытал на себе. Потеря твоя и княгини невозвратна. Что же делать? Покориться судьбе! Я жалею от всего сердца, что не могу видеть тебя в минуты печали и сказать тебе, мой милый друг, сколько я тебя люблю. Сердце мое имеет нужду в твоем дружестве, поверишь ли, я час от часу более и более сиротею. Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы лишили меня всего, мне кажется, что и слабое дарование, если когда-либо я имел, погибло в шуме политическом и беспрестанной деятельности. Веришь ли? Это меня печалит. Одно осталось и пусть останется навеки со мной — способность любить друзей моих: я испытал мою душу, сердце прочнее. Дай же мне руку, мой милый друг, и возьми себе все, что я могу еще чувствовать благородного, прекрасного. Оно твое. Бога ради, люби меня и, если тебе не совершенно чужды мои горести, то будь моим утешителем, скажи мне что-нибудь такое, что бы снова могло меня привязать к жизни. Когда мы увидимся с тобою и где? Я хочу выйти в отставку и, конечно, ничьим адъютантом не буду в мирное время. Меня отучили от честолюбия. К несчастию, обстоятельства принуждают меня вступить в гражданскую службу. Единственный способ жить, это горестно, но пособить этому нет возможности, следственно я остаюсь здесь в Петербурге, в городе, которого я никогда не любил. Здесь проживу несколько лет, или проволочусь — это вернее, и здесь надеюсь увидеть тебя, если ты захочешь оставить развалины Москвы, любимой Москвы. Чего тебе никак не советую. Чего тебе искать здесь? Живи покойно в твоем убежище. У тебя редкая подруга, есть состояние, будут дети, и мир для тебя не пуст.

Бога ради, пришли мне свои стихи, я их буду ожидать с нетерпением. Вот два экземпляра письма к М. о Муравьеве из «Сына отечества». Один вручи Николаю Михайловичу в знак моего душевного почитания к издателю сочинений Муравьева, другой тебе. Желаю, чтоб ты мыслил со мной сходно. Слабости в слоге извини по дружбе. Прости. Будь счастлив.

Батюшков.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

4 сентября 1814 г. ⟨Петербург⟩

Милый друг, здоров ли ты? Вот месяц как от тебя ни строки! и что это значит? Рассей мой страх, напиши несколько строк, я всякую почту намерен бомбардировать тебя прозою. Вот еще экземпляр. Из него ты увидишь ошибки, которыми украсил мое красноречие услужливый Греч. Исправь на экземпляре Николая Михайловича сии опечатки и скажи мне свое мнение насчет всего письма. И с страхом и с трепетом ожидаю твоего суждения. Один экземпляр отдари Жуковскому, насчет которого наборщик, а не я, клянусь честью! — подшутил забавным образом, смотри страницу 17, он вместо не исто*щал* напечатал не исто*щил*. Прости, обнимаю тебя от всего сердца, милый, любезный и добрый мой приятель.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

10 января ⟨1815 г. Петербург⟩

Письмо твое только вчера отдал мне К. Менщиков, который нашел меня глупым или умным, невеждою или ученым, вот что я тебе сказать не могу. Но о стихах твоих я говорить могу смело: они мне очень понравились и отданы в «Сын отечества», который принял их с восторгом в холодные свои объятия. Дашков здесь. Он сказывал мне, что Жуковского стихи несовершенно понравились нашим Лебедям и здешние Гуси ими не будут восхищаться. Что нужды! Зато Нелединский плакал, читая их перед императрицей, которой они очень нравятся. Вот лучшая награда.

Ошибки в стихах нашего Балладника примечены могут быть и ребенком, он часто завирается. Но зато! Зато сколько чувства! какие стихи! и они говорят с таким глубоким чувством об императоре. Так, любезный друг! Государь наш, который, конечно, выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древний. Он запретил под смертною казнию изображать лицо свое дурным художникам и предоставил сие право одиночастно Фидию. Пусть и государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмодетели недостойны сего. Они, и стихи их, и проза, и ненависть их, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригалы, и вся сия стишистая сволочь надоела. Чего хорошего? Воейков, приятель Пушкина и Мерзлякова, садит их в дом сумасшедших? Признаюсь тебе, я желаю иметь честь сидеть в желтом доме с честным Глинкой, с Мерзляковым, которого люблю дарование, с Пушкиным, которого обожаю от ног до головы, нежели разделять славу и пальмы с Воейковым, который ничего не имеет *веселого* во всем своем поведении. Гибель тому, кого он хвалит. У него в одной руке кадило с фимиамом, в другой бич сатиры. И к чему ведет это? Один хороший стих Жуковского больше приносит пользы словесности, нежели все возможные сатиры. По крайней мере, будь весел в них.

Я ничего печатать не хочу и долго не буду, а пишу для себя. Теперь кончил сказку «Домосед и странствователь», которая тебе, может быть, понравится, потому что напомнит обо мне. Я описал себя, свои собственные заблуждения и сердца, и ума моего. Пришлю, как скоро будет время. Теперь прости, мой милый друг, я часто на тебя гневаюсь — не за себя, а за тебя. Будь счастлив! Люби ⟨пропуск. — *Ред.*⟩! У меня ничего нет на свете, кроме дружбы твоей и дружбы двух или трех честных людей. Никогда я так грустен не бывал. Живу без надежды и страдаю умом, сердцем и телом.

К. Б.

Я пишу тебе с Луниным, которому я наговорил о тебе много чудес. Он мне родственник и приятель,

прошу ваше сиятельство обласкать его, притом же он, как увидите, человек добрый, весьма умный и веселый и великий охотник пускаться в метафизические споры — спорь с ним до слез.

В отсутствие мое здесь разошлись мои стихи «Певец». Глупая шутка, которую я писал для себя. Вот все славяне поднялись на меня. Хотят жаловаться. Но я ничьих имен не подписывал, и вольно им брать на себя чужие грехи. Как бы то ни было, это скучно и начинает меня огорчать.

Левушке поклонись за меня.

Я болен третий день и не выхожу из комнат. Пиши с оказией.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Январь 1815 г. Петербург⟩

Прекрасно! твое послание лучше всех твоих стихов! Оно прекрасно еще раз. Замечаний прислать не могу: Тургенев отнял у меня его и хочет прислать сегодня. Но я спешу сказать тебе, что Жуковскому дали Анну 2-ой степени. Поздравляю с этим и его, и тебя, и себя. Это мне сказал Тургенев, но еще не верное, он слышал в Канцелярии военного министра и просил на всякий страх поздравить Жуковского. Я писал к нему в Белев. Тургенев очень болен, я насилу привез его от Строганова, где он не мог даже ужинать. Прости — сон меня победил от усталости. Еще раз твое послание прелестно — оригинально — ново, поздравляю! и конец очень кстати.— У меня сидит Козлов, мы говор ⟨письмо обрывается.—*Ред.*⟩...

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Вторая половина января 1815 г. Петербург⟩

Благодарю тебя за то, что ты платишь мои долги — если есть у тебя деньги, то отдай остальное Левушке, но от меня не ожидай ранее конца этого года. Здесь по приезде из чужих краев нашел четыре тысячи, а теперь уже ни копейки нет. Благодарю тебя за твою дружбу, верь, что я умею чувствовать вполне все, что

ты для меня ни сделаешь. Но праведное мое негодование на тебя ничто облегчить не может. Говорил ли с тобой Дашков? Стыдно ему, если он не исполнил моего поручения. Я сердит на тебя, за тебя. Со временем я тебе открою мою душу, и ты меня оправдаешь перед собой. Когда мы с тобой увидимся? Бог знает. О Москве я и думать не могу. Никогда так головой, умом, сердцем и карманом не был расстроен. Бедный Тибулл. Какие стихи тебе надобно? Мне кажется, я отроду не писал стихов, а если и писал, то раскаялся. Что в них! Какую пользу приносят они, кроме твоей дружбы и Жуковского? Я кончу, ибо чувствую, что напишу какую-нибудь глупость.

Тургенев болен. Блу⟨дов нрзб.⟩ у меня. Он мое утешение в гранитном Петербурге. Пришли мне твои три или четыре пиесы. Издатель «Пантеона» мучит меня о твоих стихах.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Февраля ⟨1815 г. Петербург⟩

Князь Юрий Трубецкой, мой хороший приятель и приятель нашего милого Северина, едет в Москву, и с ним я спешу написать к тебе несколько слов и отвечать тебе на твои несправедливые упреки. За что мне на тебя гневаться? За то ли, что тебе не понравилось мое письмо о Муравьеве? Если бы и все мои стихи тебе не нравились, то и тогда бы я не гневался. Я сердился на тебя за Ноэль и за то, что ты напал на Мур.-Ап. Ты знал мою привязанность к его семейству и оскорбил меня, вот за что я был на тебя в гневе, но и этот гнев исчез, а дружба моя к тебе не утратилась и могла ли утратиться. Что есть у меня в мире дороже друзей! и таких друзей, как ты и Жуковский. Вас желал бы видеть счастливыми: тебя благоразумнее, а Жуковского рассудительнее. Я горжусь вашими успехами, они мои, это моя собственность, я был бы счастлив вашим счастием. Что до меня касается, милый друг, то я справедливо жалуюсь на мою судьбу, которая лишила меня даже и дарования. Возьмите, боги, жизнь! что в ней без упованья?

Без дружбы! без любви, без идолов моих.
И муза, сетуя, без них
Светильник гасит дарованья.

Верь мне, что я болен не одним воображением, и в доказательство чего пришлю тебе мою сказку «Странствователь и домосед», где я сам над собой смеялся. Стих, и прекрасный *«Ум любит странствовать, а сердце жить на месте»*, стих Дмитриева подал мне мысль эту. И где? В Лондоне, когда, сидя с Севериным на берегах Темзы, мы рассуждали об этой молодости, которая исчезает так быстро и невозвратно. Желаю душевно, чтоб моя сказка тебе понравилась, это мой первый опыт, и советы нужны. Но я поправлять ее теперь не в силах. Стихи и рифмы наскучили, и им я приписываю мои недостатки и странности ума и сердца моего, от которых хочу исправиться и не могу. Еще повторю: какая мне польза от них существенная, кроме дружбы вашей. «И дарование имеет свои мучения»,— сказал покойный Муравьев весьма справедливо. А я, право, настрадался и без дарования. Недавно еще пересматривая мой список *Рифм и слов*, я воскликнул, как мой странствователь в Эгипте: «Какие глупости, какие заблужденья».

Но полно. Ты опять будешь смеяться над моею эпистолою. Если б мог читать в уме моем, то был бы справедливее. Прости, обнимаю тебя. Поцелуй ручку у княгини, которую я душевно почитаю. Пиши чаще, но не с почтой, оказий у нас много. Прости

К. Б.

Адресуй в дом К. Ф. Муравьевой, третий дом от Аничкина моста, что был Зотовой.

Посоветуй Жуковскому приехать сюда для собственной его выгоды. Притолкай его в Петербург. Я говорю дело. Но жить ему здесь не надобно. По крайней мере, так я думаю, и он сам согласен.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Вторая половина марта 1815 г. Петербург⟩

Ни одно из твоих писем меня так сильно не радовало, как последнее; я вижу в нем явное свидетельство твоего дружества и твоего редкого сердца, которое

для нас, друзей твоих, есть сокровище неоценимое. Я замедлил отвечать тебе, потому что был на несколько дней в отсутствии; я ездил с моей теткою в Тихвин — на богомолье. Но все твои упреки несправедливы, горесть моего сердца не мечтательная; я испытал много неудовольствий в течение сих трех лет; мои несчастья ощутительны, и когда-нибудь я тебе расскажу все, что терпел и терплю. Сердце мое было оскорблено в самых нежнейших его пристрастиях. Пусть это останется между нами. Я надеюсь, что ты моих писем не читаешь никому. Иначе не ожидай от меня откровенности, она с тобою лишь нужна и есть истинный, верный знак моего уважения к тебе. Человек странный и непонятный, составленный из золота и грязи и всех возможных противоположностей! Что же касается до гнева моего на стихи, то этот гнев справедлив совершенно. Я буду повторять, к чему ведут дарования. Дают ли они уважение в обществе нашем? На что заблуждаться? Мы должны искать сего уважения, ибо делай, что хочешь, а людей уважать надобно. Кто презирает их, тот себя презирает. С пылкостью лет, у меня по крайней мере, исчезло и пристрастие ко всему блестящему и я желал бы полезным быть и обществу и самому себе, и *самому себе,* и я еще это повторю: стихи ни к чему не ведут. Далее: испытав многое, узнав цену и вещам и людям, виноват ли я, мой друг, если многие вещи утратили для меня цену свою? Но ты говоришь: не писать — не жить поэту. Справедливо! Но что писать? Безделки. Нет! Писать что-нибудь важное, не для минутного успеха, а для себя. Ничего не печатать для приобретения известности. Иметь свыше цель: Славу. Обмануться. Так и быть! Но и обмануться славно. Писать для себя, pour soulager son coeur[1]. Успехов просит ум, а сердце счастья просит. Сии-то маленькие успехи не ведут ко счастию. Они преграды к нему, напротив того. Мы это знаем, милый друг, знаем по опыту. Меня все мучит; даже самая известность. Что касается до шутки, которая вырвалась из-под пера моего, то я ее не извиняю, она такова, что я мог бы потерять уважение

[1] для облегчения своего сердца *(фр.)*.

к себе, если б не имел искреннего убеждения в том, что я более виноват перед светом, нежели перед собою. Страха в сердце не имею: я боюсь самого себя. Вооружиться против тех, которые оскорбляют вкус, не есть большая вина. Но горе тому, кто занимается единственно теми, которые оскорбляют вкус и наше суетное самолюбие. Если б мне предложил какой-нибудь гений все остроумие и всю славу Вольтера — отказ. Выслушай свое сердце в молчании страстей и ты со мною согласишься, в противном случае я тебя не уважаю. Так, надобно переменить род жизни. Благодаря бога я уже во многом успел: старайся укротить маленькие страсти, успокоить ум и устремить его на предметы, достойные человека. Я подкреплю мои замечания словами добродетельного Роллена. Прочитай страницу 90, 91, 92 Oeuvres completes de Rollen a Paris chez Hénée[1], письмо его к Ж. Б. Руссо. Я не осмелился бы взять на себя сделать такой упрек твоей совести, если бы большая часть поучений Роллена не относилась прямо ко мне. Лучший ответ нашим врагам и врагам вкуса: молчание и это спокойствие душевное, которое бывает наградою хорошего поведения и спокойной совести. Вот мое признание. Прибавь к этому, что маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу маленьких людей, которых мы не любим, не уважаем, маленькие стихи и мелочи не достойны мужа, делают и ум мелким, беспокойным. Успехов просит ум, а сердце счастья просит. Но пусть ум просит великих успехов, а сердце — счастия... если не найдет его здесь, где все минутно, то не потеряет права найти его — там, где все вечно и постоянно. Ты же, счастливец, сокрой себя на месяц или на два: перемени образ жизни свой. Читай полезное, будь полезен другим, сотвори себя снова: и тогда, если не оправдаешь моих слов, то я позволю тебе сказать мне — что я начал бредить. Иначе, в шуму страстей твоих, и этого мелкого суетного самолюбия, и этих хладных удовольствий, тебя недостойных, я тебе не поверю. Мы возмужали, опытности прибавилось, чего не достает нам? Уважения к

[1] Полное собрание сочинений Роллена, изданное в Париже Эне *(фр.)*.

себе. Сядем на ряду с людьми. Сядем выше недостойных. Если мы избрали словесность, то оставим в ней не одни цветы: плоды; а в обществе имя честного человека, во всей простоте сего слова, такое имя лучше всех титулов. Ne craignez pas le ridicule[1]. Для человека с твоим умом его не существует. У тебя все. Кроме постоянства и характера, без которых нет ничего совершенного: постоянство и внимание — вот рычаг ума человеческого, а характер... Смейся, у меня есть свой характер, я это испытал на днях. Я умею подбирать в бурю паруса моего воображения. Слава богу, и этого довольно — на нынешние времена: вперед будет лучше. Тот уже много сделал на поприще нравственном, кто хотел что-нибудь сделать. Dixi[2].

На днях будет готова книга покойного Муравьева: я напечатал «Обитателя предместия» и собрал «Эмилиевы письма». Доставлю тебе и Карамзину. От Жуковского я получил письмо. Я называю его — угадай как? Рыцарем на поле нравственности и словесности. Он выше всего, что написал до сего времени, и душой и умом. Это подает мне надежду, что он напишет со временем что-нибудь совершенное. В последней пиесе «Ахилл» стихи прелестны, но с первой строки до последней он оскорбил правила здравого вкуса и из Ахилла сделал Фингала. Это наш Рубенс. Он пишет ангелов в немецких париках. Скажи ему это от меня.

Обними за меня Дениса, нашего милого рыцаря, который сочетал лавры со шпагою, с миртами, с чашею, с острыми словами учтивого маркиза, с бородою партизана и часто и с глубоким умом. Который затмевается иногда... Когда он вздумает говорить о метафизике. Спроси его о наших спорах в Германии и в Париже. Поклон Толстому, сему удивительному человеку, которого Дидерот, Пиголебрен и Ритиф де ла Бретоне сочинили в часы философического исступления, и В. Л. Пушкину поклон. И поклон Дмитрию Давыдову, счастливейшему супругу и доброму приятелю.

К Пушкину я буду писать.

---

[1] Не бойтесь смешного *(фр.)*.
[2] Я все сказал (лат.).

Спасибо за Озерова. Это ему делает честь. Хоть он и похож на вопиющего в пустыне.

Я отпущен на Кавказ. Но осенью поеду в армию — опять к Раевскому. Он плохо награждает, но дерется как черт. Спроси у Левушки.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨25 марта 1815 г. Петербург⟩

Сию минуту получаю другое письмо, которое доставил мне Давыдов, благодарю за твою дружбу, я оживаю мало-помалу и начинаю верить, что есть люди, которые меня любят. Это пища сердцу, такие письма и от таких людей. Знаешь ли, что с замашками моего ума у меня сердце почти такое, какое Гете, человек сумасшедший, дал сумасшедшему Вертеру. Я иногда пугаюсь сам себе. Не испугайся моих стихов. Вот они. Но с уговором.

1-е. Этот экземпляр, который для меня дорог по многим причинам, с первой почтою возврати назад, бога ради, возврати! 2-е. Прочитай обществу, если оно на то будет согласно, и пришли мне замечания. Я постараюсь ими воспользоваться. Мал разум одного, но разум всех велик! Запиши замечания на особливой бумажке, чтоб плана моего не критиковали. Напрасный труд: я его переменить не в силах. Здесь меня осыпали похвалами, а иные строго критиковали. Но я желаю искренно, чтоб эта сказка полюбилась московским литераторам, заслужила их одобрение, лестное моему сердцу: ибо я их всех люблю искренно. 3-е. Пришли мне все, что ты написал нового, дай бог, чтобы это было важное. Зачем ты не испытаешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному это поле, поле веселое и пространное, созданное, как нарочно, для твоего остроумия, ума и сердца. Дай бог, чтобы мой опыт тебя воспалил. Принимайся! Я тебя благословляю, а себя и публику поздравляю с прекрасным и оригинальным произведением. Оригинальным, разумеется, ибо ты должен что-нибудь написать свое. Выдумай, изобрети и басню, и рассказ, и подробности — ты можешь. Сперва обдумай все. Это тебя займет приятным образом, а там и за перо. Пиши в роде «Модной жены». Общество даст тебе

множество подробностей прелестных. Напиши не одну сказку, три, четыре, более, если можешь. Но не пиши мелочей. Обдумывай один род: у нас множество баснописцев, пусть будут и сказочники. Этот род не низкий. Требует ума и большой разборчивости. Им занимался и Лафонтен, и Вольтер, и Ариост, сей великий единственный ум, который, по моему мнению, не уступает Омеру. Похвали мою сказку. Это меня одобрит. Успехов просит ум... а сердце счастья просит.

Кстати, о сказке. Возврати мне ее и не печатай, пока я не сделаю поправок. Под всяк⟨им⟩ замечанием запиши имя того, кто его сделает. Это мне будет очень приятно. Я ожидаю Жуковского с нетерпением. Он в Дерпте.

Ты плакал в Астафьеве. Я не жалею о тебе, слезы твои не горестны были, время отняло у них горечь. Что делать? плакать или вздыхать? Мы ходим по развалинам и между гробов. Ты знал Агату Полторацкую. Вчера ее не стало, et rose elle a vecu...[1] Отец и бедная мать в слезах. А Наполеон живет, и этот ИЗВЕРГ, ПОДЛЕЦ дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому провидению. Дай бог, чтоб ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Парижем. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этого города и этого народа шаткого, корыстолюбивого и подлого. Я видел его вблизи и потерял к нему последнее уважение. Бог наделил его всем: и умом и остротою, и храбростию; и после отступился от него.

Хочешь ли мне сделать истинное одолжение? Вели достать фунта 2 лучшего чаю. В Москве это возможно, и пришли мне поскорей. Возврати мне мою сказку и пришли стихи и свою сказку. Сделай одолжение: пиши в стихах.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

29 мая 1815 г. ⟨Деревня⟩

Приношу вам мою душевную благодарность за письма ваши: благодарность, ибо известие о милом брате меня истинно порадовало. Если он не пишет,

---

[1] и она не... *(фр.)*

то, конечно, потому, что курьер, как говорится, уехал, не спросясь позволения. Запаситесь маленькой философией, почтенная тетушка. Она будет вам нужна. Верьте, что из армии нет возможности писать постоянно. Никита, я знаю его, не такой человек, чтобы пропустить случай принести вам удовольствие: он и слишком совестлив. Но он быв при Главной квартире, на походе, иногда откомандирован, есть ли тут способ писать? Знаю, что это не утешение для сердца вашего, но что же делать? Надобно покориться провидению, которому вы вручили, конечно с верою, все, что у вас ни есть драгоценнейшего в мире, сына. Если мысль, что он может быть полезен трудами своими, что он стоит на дороге чести и славы и со временем может сравняться со своим родителем, если эта мысль вас совершенно утешить не может в горести, в тиранской разлуке, то, по крайней мере, эта мысль может дать вам некоторую силу. Жертвуя всем вашей сердечной привязанности, не жертвуйте здравием, милая тетушка. У вас еще есть утешение. Вы можете наслаждаться и гордиться вашими детьми. Вы должны им быть полезны, а как будете полезны без душевной и без телесной крепости. Я не пустое говорю. Нет! Я вам говорю от полного сердца. И потому-то я радуюсь, что вы проведете красные дни на даче. Это и для Саши нужно. Сашеньку я начинаю любить еще более прежнего. В нем очень много хорошего и, конечно, он сравняется с братом добрыми качествами и никогда ничем не огорчит вас. Желательно, чтобы учение его шло твердым порядком, чтобы он сам более и более к этому пристрастился. Самое золотое время жизни терять не надобно. И для него уже наступает время рассудка и истинного честолюбия. Тем сильнее он должен теперь учиться, что соперничество его с Ипполитом не кончилось. Время их соединит, пусть никоторый из них не позавидует и друг на друга с презрением не посмотрит. Вот мое желание.

Конечно, вам горестно было расставаться с маленькими Апостолами. В утешение можете себе сказать, что вы исполнили долг свой, как настоящая мать, и, конечно, Иван Матвеевич в глубине своего сердца вам благодарен. Душевно радуюсь, что Петр Михайлович

еще с вами. Ему покорно прошу сказать мой усердный поклон. Вам сладко и горестно будет плакать с Катериной Сергеевной об отсутствующих, из числа которых остаюсь преданным слугой

Константин.

При сем прилагаю письмо к Дамасу, если его застанете, то пошлите в Париж. Деньги Трубецкого с моим письмом. Всю тысячу рублей к Дамасу отправьте. Очень меня сим обяжете. А если Трубецкой не заплатит, то немедленно отправьте, любезная тетушка, письмо у вас оставленное на почту. Простите, что я занимаю вас сими безделками, скучными без сомнения. Простите еще, что пишу так несвязно, бумага протыкается.

П. А. ШИПИЛОВУ

⟨3 июня 1815 г.⟩ Деревня

Благодарю тебя, любезный брат и друг, за приглашение приехать к вам. Дело невозможное. Вчера я получил письмо от Бахметева, весьма учтивое; по этому письму мог бы помедлить еще несколько дней, но так как бричка уже в Рыбной, то ехать не на чем, и притом время теряется. Крайне сожалею, что с тобою не мог увидеться: обо многом переговорить надобно. Но что делать! Покоряться непреклонной судьбе и против желания скакать бог знает куда. По крайней мере, письменно благодарю тебя за попечение твое о делах моих. Бога ради, не оставляй их. Знаю, что это работа не веселая, но чувствую, что я на твоем месте скрепя сердце то же бы делал. Продай Василья за тысячу рублей и менее, если более не дадут. Что мне в этом негодяе? а деньги, право, нужны. Из сего числа дай сто рублей Третьякову за его труды; остальные немедленно отправь к Гнедичу; остальных, я полагаю, 900, да 100 еще прибавь из оброку с Межков, если хочешь; итого составит 1000. Всю сию сумму через Гнедича для уплаты к⟨нязю⟩ Гагарину. Так ему и напиши; он знает, как передать, и тебе пришлет свою расписку, если хочешь. Кончи, бога ради, это

дело или поручи его Третьякову. Лучше дешевле продай, да поскорее. К какой стати мне держать Василья в деревне?

Я говорил с Аркадие⟨м⟩ Аполлонович⟨ем⟩ о Сирякове. Нельзя ли через третьи руки это дело кончить? Я согласен дать Сирякову вексель хотя в двух тысячах на два года или на три. Ты дай за меня, по моему верющему письму, или я пришлю, если хочешь. Только бы кончить это проклятое дело, которое у меня лежит на сердце. Аркадий Аполлонович взял на себя труд объяснить тебе по этому делу. Еще просьба. Дай купчую сестре Александре Николаевне на все семейство Осипа Шитова. Не смотри на то, если она отговариваться будет; все-таки дай. Я у нее взял двух девок в деревне; надобно чем-нибудь вознаградить. Что мне в Осипе? А ей эта почтенная семья необходимо нужна, по дарованию прелестной Марьи и ее братца. Дай отпускные по моим запискам двум старостам. Надобно наградить углицкого, если ты им будешь доволен. Он довольно усерден и расторопен. Вот, кажется мне, и все. Остальное на твою волю. Радуюсь душевно, что ты кончил благополучно свои дела и путешествия, вещи неприятные, как я думаю. Прости, обнимаю тебя и не забывай твоего преданного брата и друга

Конст⟨антина⟩ Б.

Мое почтение батюшке Алексею Никитичу прошу засвидетельствовать.

Четверг.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

1 августа 1815 г. ⟨Каменец-Подольский⟩

Нет от тебя ни строки, милый друг, и я не могу постигнуть твоего упорного молчания. Получил ли ты письма от сестры? Отослал ли их в Каменец? И, наконец, сам здоров ли? Вот вопросы, которые я сам себе делаю и, наконец, тебе. Я с приезда моего сюда ни строчки не имел от сестры и это меня сокрушает —

оставил ее больную и в огорчении от моего отъезда. Этого мало. Из Петербурга ко мне не пишут, все меня забыли и ты забыл меня... Это, право, нехорошо. Левушка здесь был и скрылся. С его отъезда я лежу все в постели, болел лихорадкою и не на шутку. Скучное одиночество без друзей, без надежд и без общества. Левушке я отдал мой стишок. Вот все мое сокровище. Ты имеешь на него право. Возьми этот экземпляр, ибо он будет напоминать тебе о Батюшкове в почтовые дни. Но ничего не отдавай печатать без моего позволения. Я не хочу более уведомлять публику, что я в такой-то день был весел, пил с тобою, или влюблялся, или утешался, или не спал ночью. Полно ребячиться, милый друг. Но мое маранье будет иметь цену для друзей, а потому и для тебя, а ты занимаешь первое место в моем сердце. Судьба когда-нибудь сведет нас, может быть, зимою. Так надеюсь, по крайней мере, если еще могу надеяться. Извини, что пишу мало, но ты пиши ко мне пространно и скажи решительно, будешь ли в Москве, застану ли тебя и могу ли надеяться отдохнуть с тобою и при тебе. Прости, будь счастлив, вот мое желание, и не забывай меня, вот мое право.

К. Б.

Левушку обнимаю от всей души. Скажи ему, что я осиротел без него.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

14 августа 1815 г. Каменец-Подольский

Я писал к тебе с прошлой почтою, любезный друг, теперь генерал сказал мне, что отправляется курьер в Москву, дал мне перо и лист бумаги, и должен написать к тебе несколько строк. По отпуске сего письма я, слава богу, здоров, но все очень беспокоюсь, нет ответа ни от тебя, ни от кого; все добрые люди забыли меня, но я о себе напомню и удивлю когда-нибудь нечаянным приездом в Москву, где, может быть, проведу несколько зимних месяцев, вот мое желание. Но мои желания развевает ветер по берегам благовонным реки забвения: никак не сбудутся. Пиши ко

мне, милый друг. Заклинаю тебя всем. Поклонись Пушкину, вечно юному, и всем, и всем, кто еще помнит о

Батюшкове.

Н. И. ГНЕДИЧУ

27 августа 1815 г. Каменец-Подольский

В гневе сердца моего посылаю тебе четверть пуда табаку. Кури его, и пусть совесть тебя мучит! Если будет курьер, то пришлю лучшего. И этот хорош, но не таков, как *султанский!* А мне пришли лучшего канастеру, самого лучшего, фунт. Хотел бы писать более, но некогда. Еду к генералу за делом. Прости и, бога ради, пиши. Два месяца, как не получал писем от тебя. Что я говорю! Более!

Константин Батюшков.

П. А. ШИПИЛОВУ

12 октября 1815 г. Каменец⟨-Подольский⟩

Благодарю тебя за письмо твое, любезный брат и друг. Я нимало не сержусь за молчание; знаю, что в наших горестных и хлопотливых обстоятельствах иногда и письмо бывает — бремя. Но еще раз прибегаю с просьбою о Захарове. Избавь меня от него и от долга, который лежит у меня на совести. Продай его с повытчиком, а землю назад, как водится. Что же касается до осторожности со мною, то она излишняя. Ты по опыту знаешь, что я не могу сделать тебе неудовольствия за твои услуги; я, кажется, с тех пор как владею имением, а ты им управляешь, заслужил твою доверенность. Притом же, если бы я и сделал глупость, то принужден был бы жаловаться на себя. Кто слишком осторожен, тот не осторожен. Заметь, что закладывать имение мне нельзя. Надобно будет перезаложить часть оного для заплаты снова в ломбард и об этом подумать. Не знаю, как сладим, и что ты расположишь и придумаешь? Что сделать мне, дабы избежать твоих огорчений, которые имели ныне

с закладыванием, ибо взялись слишком поздно; к кому адресоваться в Петербург? Гнедич формально отказался, да и сам не хочу его беспокоить. Не лучше ли заложить в приказ Вологодской на сумму 3000, которую мне платить надобно будет в ломбард в мае 1816 года. Скажи что-нибудь решительно. Распоряди сам решительно. В таком отдалении переписка не верна и медленна, а тут дело идет не шуточное. Прости мне мою просьбу докучную. Ты мне ближайший родственник, и опытность доказала, милый друг, что я могу на тебя считать; в школе злополучий и огорчений, которые мы делили почти пополам, которые знаем одни только в семействе нашем, мы видим и чувствуем, что никто не может судить о наших обстоятельствах с малейшею справедливостию; но зато мы не изменим и дружбе. Я счастливым себя назову, если могу когда-либо оказать тебе маленькую услугу, а пока чувствую вполне твою дружбу.

В проезд мой через Москву я виделся с Дружининым, который тебя очень хвалил за то, что ты не взял подарка от Инов. ⟨?⟩, ибо он не такой человек, у которого бы можно было взять. Притом же с такими людьми, каков Этот, надобно обходиться как можно осторожнее: его нельзя уважать. Он по себе обо всех судит, и вот единственно почему оскорбиться нельзя его поступком.

При сем прилагаю приказ старосте о высылке мне денег. Бога ради, чтобы не замедлил и недоимок не было. Такой же послал к сестре, адресуя в Череповец, не знаю, который дойдет прежде. Прошу поцеловать за меня милую сестрицу Лизавету Николаевну, благодарю за письмо и отвечать буду на одной из будущих почт. Радуюсь душевно, что Вареньке легче; дай бог, чтобы она поправилась. Обнимаю милых твоих деточек и прошу их не заучить. Est modus in rebus[1]. Прости, будь здоров и помни твоего преданного брата и друга.

Конст⟨антин⟩

Каменец.
12 октября 1815.

[1] Есть мера в вещах! *(лат.)*

О себе ничего сказать не могу, и не делай мне вопросов на сей счет. Que sais-je?[1] — вот и все! Но здесь очень не весело; я предвидел это издали. Вышли деньги, у меня ни гроша нет.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

11 ноября 1815 г. ⟨Каменец-Подольский⟩

Благодарю тебя, милый друг, за чай и за насмешливо-смешное послание. Если б я думал, что ты не в состоянии написать что-нибудь важнее *блестящих безделок*, то не давал бы тебе совету. Ограничить себя эпиграммами и Шутовским, тебе, с твоей душой и умом, все равно, что Ахиллесу палицей бить воробьев — и только! Но ты меня давно понял, а споришь для спору. Писать что-нибудь поважнее посланий и мадригалов не есть писать Плач Юнгов: от тебя зависит выбрать предмет тебя достойный. Поговорим об этом на досуге, а теперь о Шутовском. Я ничего не знал до твоего письма. Ни Дашков, ни Гнедич, ни Жуковский, никто ко мне не пишет из Петербурга; и я думаю это Заговор молчания. Но бог с ними. Из журнала я увидел, что Шах⟨овской⟩ написал комедию и в ней напал на Жук⟨овского⟩. Это меня не удивило. Жуковский не дюжинный, и его без лаю не пропустят к славе. Озерова загрызли. Карамзина осыпали насмешками; он оградился терпением и Историей. Пушкин будет воевать до последней капли чернил, он обстрелян и выдержит. Я маленький Исоп посреди маститых кедров: прильну к земле, и буря мимо. И тебе, милый друг, не советую нападать на них эпиграммами. Они все прекрасны и на сей раз, сказать можно, что делают честь твоему сердцу, но, верь мне (я знаю поприще успехов Шутовского), верь мне, что лучшая на него эпиграмма и сатира есть — время. Он от него не отделается. Время сгложет его желчь, а имена Озерова и Жуковского и Карамзина останутся. Пусть его венчают, чем хотят и как хотят. Надобно знать людей, которые его хвалят, чтобы не уважать ни их, ни Шутов-

[1] Что знаю я? *(фр.)*

ского. Невежество, глупость, зависть — его хвалители. Верь мне, Шутовской не дурак. Он бы позволил себя высечь или чтобы его похвалил Озеров, Карамзин и Жуковский: я знаю его вдоль и поперек. Они не хвалят? Как же с ними жить? бранить. Они его не бранят; они презирают. Вот ему мучение. За столько и столько вялых стихов, комедий, трагедий, поэм и проч. С моей стороны ответом будет молчание и надежда что-нибудь написать хорошее. Если удастся, то я это все посвящу Шутовскому и товарищам. Они пробудили во мне спящее самолюбие. Не на эпиграммы, нет: на что-нибудь путное. Если богу угодно будет дать мне досуг и здоровье, которых я лишен, то я буду трудиться для славы: по крайней мере стану ее иметь в виду. Крапивные венки оставим им. Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуков⟨ского⟩. Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого. Заклинай его именем его гения переносить равнодушно насмешки и хлопанье и быть совершенно выше своих современников ⟨...⟩ Он печатает свои стихи. Радуюсь этому и не радуюсь. Лучше бы подождать, исправить, кое-что выкинуть: у него много лишнего. Радуюсь: прекрасные стихи лучший ответ Митрофану Шутовскому.

Я подал прошение в отставку и надеюсь быть в Москве по первому пути; ожидаю денег и сижу без гроша. Здесь очень скучно, и я теперь совершенно празден. Заняться не могу. Сердце мое не здесь, а где сердце, там и умишка. Желаю его успокоить при тебе: дружество и сие сердечное излияние есть нужда, потребность, *вожделеннейшее желание*. Если не умру от скуки, то увижусь с тобою. Обнимаю Левушку, которому советую выучить наизусть похвальное слово любви к отечеству старика, Буниной Фаетонта, стихи Олина-Анакреонта, Львова храм Славы, наконец Шубы Шаховского и несколько стихов из Деборы: более не вынесет, хотя крепка его натура. Я видел опыты, что подобное воспитание образовало молодых людей и открывало им путь в подмастерья в Беседу и далее. Вот мой совет: но я вопию в пустыне. Прости-

те, обнимаю вас от всей души, ото всего сердца; этого сказать Шутовской не может друзьям своим et pour cause[1]. Еще раз до свидания.

К. Батюшков.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

19 ноября 1815 г. ⟨Каменец-Подольский⟩

Любезная тетушка, пользуюсь отъезжающим курьером и спешу прибегнуть к вам с усердною просьбою, чтобы вы изволили послать к Трубецкому за деньгами, если он их вручит вам, немедленно же отправьте их ко мне, я очень нуждаюсь, если будет обещать отдать их, то в ожидании ссудите меня тысячью рублями, которые или получите с него, или я велю вам прислать из деревни к Новому году. Я долго ожидал ответа на мои письма к Гнедичу и не мог дождаться, просил его уведомить меня, вышло ли представление в Гвардию, но до сих пор, кроме нескольких ничего не значащих, в ответ ничего не получил. Впрочем, выйдет или нет это представление, моя судьба не переменится, и я намерен выйти в отставку, тем более спешу сделать сие, что только сроку осталось два месяца для подачи прошения, то есть до Нового года. Оставаться в службе при моем здоровье, которое расстроено, было бы совершенная глупость. Я исполнил мой долг в полной силе слова, теперь хочу быть свободен. Генерал так меня любит, что не сделает затруднений и будет писать к министру. Вот на что я решился. Дождусь здесь первого пути, который не ранее как через месяц будет, и поеду в деревню. Я писал туда о присылке моих денег, но туда письма ходят часто в одну сторону по два месяца, и для ответа надобно четыре без малого. Вот для чего еще раз обращаюсь к вам с просьбою прислать мне денег, нужных для моего отъезда. Отсюда я поеду через Москву. Сто раз целую ваши ручки, обнимаю милого братца и прошу любить вашего Константина, который никого кроме вас верного не имеет.

---

[1] и поделом *(фр.)*.

Этот курьер вручит вам письмо в две недели (так полагаю). Отвечайте, милая тетушка, немедленно, я считать буду минуты. Прикажите дать что-нибудь на водку курьеру. Я ему обещал, если отдаст верно.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Конец января 1816 г. Москва⟩

Возвращаю тебе твои бессмертные стихи, на место их пришли мне «Вечер на Волге»: напиши его и отдай моему человеку вместе с моим маранием в прозе. Пришли всю прозу, я ее изготовлю для Жуковского и отправляю с тобой. Бога ради, пошли к Пушкиной за моей книгою, мне она теперь очень нужна. Напиши от себя несколько строк. Et venez me voir, j'ai besoin de voux consulter sur une chose, qui me tient au coeur[1]. Я болен, сижу утро дома и ожидаю тебя до 2 часов, не позднее. Прости, мое сокровище, состав зла и добра, смесь Клюквина с Невтоном.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Февраль 1816 г. Москва⟩

Ты уехал, милый друг, и я остался один совершенно в этой обширной Москве, где, кроме знакомых, не имею ни друга, ни родственника. А ты пенял мне, что скучаю! В одной руке держу Монтаня, в другой Сенеку, укрепляюсь духом, и все напрасно! Не вижу конца и начинаю проклинать гадательное искусство Гиппократа моего, который, со всею доброю волею ничего из меня сделать не может, то есть, ни совершенно больного, ни здорового. Нарыв все в том же виде, и я сожалею, что не уговорил Скюдери припустить пьявицы. Теперь это средство поздно. Нога болит иногда по-старому. Кашель проходит. Я пью и ем, и сплю, а впрочем...

---

[1] И приходи ко мне, мне надо посоветоваться с тобой по одному делу, которое меня очень беспокоит *(фр.)*.

очень нездоров. Здесь все по-старому. Пушкины у меня бывают ежедневно, Толстой, Меншиков и Окунев. Соковнин дня три пропадал: вчера приехал ко мне пьяный, занял у меня сто рублей и отправился на болото, а потом на именины к Апраксину, который ему будет очень рад. А я рад, что он будет далее от нас и ближе к Алексею Михайловичу, который также у Апраксина. Вот всё, что я знаю в моей келье про здешний свет. О книжном свете знаю также мало. Вчера поутру, читая «La Gaule Poétique»[1], я вздумал идти в атаку на Гарольда Смелого, то есть перевел стихов с двадцать, но так разгорячился, что нога заболела. Пар поэтический исчез, и я в моем герое нашел маленькую перемену. Когда читал подвиги Скандинава,

То думал видеть в нем героя
В великолепном шишаке,
С булатной саблею в руке
И в латах древнего покроя.
Я думал: в пламенных очах
Сиять должно души спокойство,
В высокой поступи — геройство
И убежденье на устах.

Но, закрыв книгу, я увидел совершенно противное.

Прекрасный идеал исчез,
и предо мной
Явился вдруг... Чухна простой:
До плеч висящий волос
И грубый голос,
И весь герой — Чухна Чухной.

Этого мало преображения. Герой начал действовать: ходить, и есть, и пить. Кушал необыкновенно поэтическим образом:

Он начал драть ногтями
Кусок баранины сырой.
Глотал ее, как зверь лесной,
И утирался волосами.

Я не говорил ни слова. У всякого свой обычай. Гомеровы герои и наши Калмыки то же делали на биваках. Но вот что меня вывело из терпения: перед Чухонцем стоял череп убитого врага, окованный серебром, и бадья с вином. Представь себе, что он сделал!

[1] «Поэтическая Галлия» *(фр.)*.

Он череп ухватил кровавыми перстами,
Налил в него вина
И все хлестнул до дна...
Не шевельнув устами.

Я проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких уродов и тебе не советую.

Но что ты делаешь, милый друг? Занимаешься счетами и делами? Желаю тебе успеха. Приезжай скорее ко мне, пока я жив и не умер с тоски. Будь здоров, ешь стерляди доморощенные и не забывай твоего друга, который тебя любит и жизнь любит для тебя единственно.

Среда

Я пишу мало. Рука устала. Надобно еще писать и между прочим к княгине, которой угодно было вспомнить о больном на Басманной. Спешу отвечать на ее плоды риторическими цветами, которые во сто раз покажутся ей бледнее моего лица.

Е. Н. и П. А. ШИПИЛОВЫМ

24—29 марта 1816 г. Москва

Ты, любезный брат, и сестра Лизавета Николаевна, требуете у меня советов и пособий насчет гувернера для Алешеньки. Долгом поставляю говорить с вами откровенно, без предубеждений и лести, *о деле столь нежном.* Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов, что хороший (или то, что называли хорошим, а по-моему, скотина-скотиной) не поедет вдаль ни за какую сумму. Немцев не знаю, да вы, конечно, до них и не охотники, это мне также не очень нравится. Беспокойство ваше насчет сына кажется мне излишне; он по-французски болтает резво: этого довольно. Язык у него изломан, на первый случай более и не надобно. Он пишет, читает хорошо, понятлив: чего ж вы хотите более? Вижу по всему, что не человека из него хотите сделать, а редкого ребенка. Суетное желание! Пагубное! Послушайте моего совета. Учите его болтать по-французски сами (в разго-

воре более научится этому ремеслу, нежели в книгах), продержите лето в деревне, на воздухе, два часа в день за книгами, за русскою грамматикою, а с осени, если рассудите, или зимою, отдайте мне, или я с братом вместе отправлюсь в Москву и здесь вручим его Антонскому, директ⟨ору⟩ Благ⟨ородного⟩ пан⟨сиона⟩ при Университете. Тем смелее предлагаю это, что Алексей Никитич дал тысячу рублей, чего достаточно будет на все воспитание в пансионе. Там оставьте его не на год, а лет шесть сряду, и я ручаюсь (зная его способности, и воспитание, и образ учения здешнего), что из него выйдет человек, годный на службу царскую, человек грамотный и светский. Вот мой совет. Если вы отбросите и суетность, и предубеждения деревенские, то увидите ясно, что говорю истину. Достать вам иностранца, посадить в кибитку и отправить мне нетрудно, но какая польза из того? Никакой. Иван Матвеевич имеет шестьдесят тысяч доходу и сына своего Ипполита при себе; он может иметь аббата в парике, ибо не жалеет денег, но не имеет, ибо знает, как аббаты пагубны. Этого мало. Сын его говорит по-французски, но учителя не имеет, а имеет учителей немецких, русских, латин⟨ских⟩ и пр., и пр., и пр.

По зиме Алеше будет около десяти или одиннадцати лет. Пора с ним расстаться. Он не девочка; его надобно окунуть в Стикс, а общественное воспитание для небогатых дворян необходимо и есть лучшее. Здесь у меня много приятелей при Университ⟨ете⟩, они присмотрят за сыном. Дружинин первый не откажет. Рано или поздно надо будет с сыном расстаться. Лучше расстаться ранее, нежели взять в дом урода морального, каковы по большей части все выходцы из земли Вольтеровой, или невежду, ибо они — я, право, не лгу — едва ли и читать умеют: так переродилась вся нация! Я сказал мое мнение, сказал мой совет. Верьте, что не одно сердце, но и рассудок участвует в оном. Если вы недовольны вашим иностранцем, то откажите ему; Алешу продержите у себя до зимы. Пусть летом дышит свободою, а зимой сюда. Здесь, право, хорошо учат. Не сужу по заведению, но по людям, которые в нем образовались. Если захотите отдать в Петербур⟨гский⟩ Лицей, что в

Царском Селе, то и тут могу быть полезен: я знаю Уварова, попечителя петербургс⟨кого⟩, знаю Мартынова, знаю многих профессоров и могу их просить — но на что брать свысока? Лучше держаться середины. Притом же легче, дешевле и выгоднее вам для свиданий ездить в Москву, нежели в Петербург. Вот мое мнение. *Сказал*. Теперь делайте, что хотите, но не сердитесь на меня за правду: вперед говорить не буду ни за какие сокровища, ибо ваше дружество драгоценно моему сердцу. Сестра Лизавета Николаевна при последнем прощании доказала, как горячо меня любит, и чем могу лучше наградить ее за любовь и привязанность, как говоря от сердца, когда дело идет о сыне ее? Что я добра ей и ему желаю, в том вы не сомневаетесь: дай бог, чтоб вы не усумнились в правоте моих слов и советов. Здесь в столице я лучше вашего вижу многие вещи; это натурально: они у меня перед глазами, а вы их угадываете. По совести, я ни одного не знаю француза, которому бы поручил моего сына, а с радостию отдал бы моих детей в унивep⟨ситетский⟩ пансион, который образовал лучших наших генералов, писателей, государственных людей и до сих пор не переродился. Если и после этого вы будете упрямиться, то я сыщу француза и привезу, если хотите, с собою, но за нравственность и ученость его не поручусь. Не хотите ли лучше, чтобы я за тысячу рублей нашел русского, знающего свой язык и по-латыни, или немца? Скажите мне. Сделаю все, что могу, для вас, друзья мои. А не лучше ли *по-моему* повременить до осени или зимы и отправить его сюда с П⟨авлом⟩ А⟨лексеевичем⟩ и со мною? Как думаете?

Заметьте, что в Б⟨лагородном⟩ пансионе те, которые выдержат курс, получают студентский аттестат, право на чин офицерский; это важно для дворянина; что их учат танцовать и петь, и музыке? это важно для сестры, которой я не могу истолковать до сих пор, как *важен* язык латинский, а не французский. Латин⟨ский⟩ язык есть ключ ко всем языкам и ко всем сведениям. Еще раз повторяю: и дома говорить по-французски научится, а книги и чтение дополнят. Предварительного домашнего воспитания довольно для универс⟨итетского⟩ пансиона,

я справлялся об этом и еще на днях съезжу к Антонскому и переговорю с ним о цене, о пище и о прочем. Будьте же покойны насчет сына вашего и молите провидение, которое печется о детях и добрых родителях.

Комиссии твоей, любезная сестрица, не исполнил, потому что у меня денег немного и потому, и это главное, что все товары будут дешевле. Если надобно, то еще отпиши, а я здесь дам комиссию знакомым дамам торговать ситец.

О ломбарде скажу только, что я писал в Петербург неоднократно и не могу ничего решительного добиться. Чем это кончится, не знаю. Отставки не имею еще и, по-видимому, долго прожду; отсюда выехать не могу и не имею права. Здесь жить дорого, а к⟨ак⟩ И⟨ван⟩ М⟨атвеевич⟩ уедет (ибо он скоро едет в деревню) — еще дороже. Если бы вышла отставка, то я немедленно бы поехал в деревню для исправления кошелька и здоровья. Простите, до свидания. Любите и помните вашего друга и брата

Константина Б.

24 марта 1816.

Сию минуту получил деньги 1000, буду писать к тебе с первою почтою.

29 марта.

Часы, если найду, куплю.

П. А. ШИПИЛОВУ

⟨15 апреля 1816 г.⟩ Москва. В субботу на святой.

Спешу отвечать тебе, любезный брат, на письмо твое от 3 марта с 500 рублями, которые получил вчерашнего дня и поздравить с протекшим праздником, который вы провели, конечно, не худо, ибо провели его в недрах семейства. Ты знаешь (из газет), что я получил отставку невыгодную; но я к этому привык. Неудачи — мне знакомое дело.

Слава богу, что имею отставку; она мне была нужнее всего на свете. Здесь останусь до окончания ломбардного дела; но когда оно кончится, не знаю, ибо ни от тебя, ни от сестры, ни от Гнедича решительного ответа не имею и, какие меры мы возьмем, не ведаю.

Что касается до *учителя,* милый друг, то я настою на том, что писал к тебе недавно (получил ли мое письмо?), тем более настою, что я переговаривал еще с Дружин⟨иным⟩. Нет учителей, и не сыщешь в скором времени их. Надобно на это по крайней мере год, чтобы напасть счастливо. Притом же, клянусь моей честью (какая мне нужда вас обманывать?), что Алеша может учиться и дома: тише едешь, дальше будешь. Болтать по-французски он умеет и может еще более научиться дома, писать по-русски, по-немецки, по-французски, немного географии, истории, арифметики первые правила: вот что нужно, необходимо. Если бы вы взяли *на часы* учителя латинского из семинарии, в грубом хитоне, что нужды! — то это увенчало бы совершенно его домашнее воспитание. Что касается до француза, то редкий может учить сим наукам. За тысячу будет пирожник, за две — отставной капрал, за три — школьный учитель из провинции, за пять, за шесть — аббат. А я за них за всех на выбор гроша не дам для Алеши, и знаю, что говорю. Но вот что советует Дружинин (а он этого дела мастер): отдать его в пансион (он берется за это сам и, будучи Главный директор училищ, конечно, может), в пансион частный, к знакомому ему немцу или французу; потом через год в Университет⟨ский⟩ пансион, когда ему будет лет одиннадцать или более. Если вы согласны на это, то по зиме я постараюсь его отдать; если вы похотите сами, то дам вам письма к Антонск⟨ому⟩, Дружинину и проч. До зимы, бога ради, ничего не делайте: верьте мне, что летний деревенск⟨ий⟩ воздух, общество родителей, благие примеры и счастие полезнее французов, французского языка и модных слов. Последнее даром или легко дается, а первое редко, очень редко, даже и детям.

Обнимаю Лизавету Николаевну, милую Вареньку. Часы постараюсь привезти с собою, если поеду.

Н. И. ГНЕДИЧУ

6 июля ⟨1816 г. Москва⟩

Назад тому несколько дней я получил твою записку, в которой ты мне напоминаешь о долге князю. Спешу послать тебе все, что имею на сей раз, т. е. пятьсот рублей. Оставь их у себя, доколе я не пришлю остальных 800. Если можешь, извини меня перед князем. Он вправе на меня сердиться: но я не так-то виноват; по крайней мере я буду ему вечно благодарен. Остальные пришлю тотчас из деревни, куда отправляюсь.., то есть выздоровя от ужасной боли в ноге. Как в ноге? Да! Чуть не открылись раны; отчего, не знаю. Но полагаю, что разлитая желчь и геморрой тому причиною. Вот 10-й день страдаю. Сижу утро в ванне, тру ногу канфарою и опиумом, а все проку нет. А вы еще гневались, что я не служу. Бог с вами со всеми, и с вашими сухими письмами и проповедями! За них я буду платить дипломами и стихами. Вот безделка, которую тебе посылаю, и притом два диплома, один Крылову, другой Измайлову; их просил Антонский доставить, а при них и мой поклон. Я отдал бы мое послание доброму и почтенному Николаю Ивановичу, но боюсь: Катенин тотчас перебьет. У вас в Петербурге великие есть чудесники; прощай и ты, не последний. Я писал бы более, но ты не стоишь того.

Дипломы с тяжелою почтою, или с оказией.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

13 июля 1817 г. ⟨Деревня⟩

Письмо ваше меня обрадовало, любезная тетушка, я вижу, по крайней мере, что вы меня не совершенно забыли. Если девятимесячное молчание ваше меня начинало беспокоить, то вы, конечно, этому не удивляетесь. Покорнейше благодарю за приглашение в Петербург, я давно уже собираюсь и, если что снова не задержит, буду в скором времени. Нет возможности мне, и до сих пор не совершенно здоровому, провести осень в деревне. Теперь здесь стало полегче:

воздух, ванны и верховая езда меня воскресили. Крайне сожалею о вашем нездоровье и о беспрестанных заботах ваших. Батюшка ваш платит необходимый и печальный долг природе: но вам, любезная тетушка, надобно сберегать свое здоровье, ежели не для себя, то, по крайней мере, для детей и для тех, которые вас любят и которым вы по девять месяцев ни строчки не пишете. Если бы вы видели, с каким удовольствием, с каким наслаждением я пишу этот упрек, то верно бы простили его мне, а меня по-старому обняли. Сестры вам свидетельствуют свое почтение. А. Н. все в хлопотах. Выстроила дом прекрасный! У нее сад и хозяйство поглощают все время: и слава богу! в деревне у нас столько праздного! Я сбирался весной на Кавказ и в Тавриду. Дела меня остановили. А это путешествие могло бы принести большую пользу вашему усердному слуге. Надежда увидеть вас, любезная и почтенная тетушка, меня утешает. Около трех лет с вами не виделся, я это начинаю чувствовать. Целую ручку вам, и милого Никиту, и Сашу обнимаю. Не хочу писать более. Сенека говорил, тот, кто не знает в пору кончить письмо, ничего не знает. Повинуюсь ему. Он не запрещает еще раз поцеловать ручку вашу и просить, чтобы вы не забывали вашего больного Константина.

Н. И. Уткину мой поклон прошу выгравировать.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Июль—август 1816 г. Москва⟩

Благодарю тебя за вишни, они очень некстати, факультет запретил. Болезнь моя — если тебя может это интересовать, не есть следствие Веneриного мщения,— нет,— а разгорячение в нижнем желудке (?!?) по совести, я думаю, что от спокойствия она пройдет. Но ужасная стрельба из раны в рану и натянутые жилы во всей ноге меня беспокоят несказанно. Марс побеждает Венеру. Прости мне это описание: вспомни, что и в Омере, Гомере, или Омире много подобных. Сижу дома и читаю Жуковского сказки, которыми подарил себя и публику Каченовский. Прелестный слог. И у тебя в стихах много хорошего. Но я все

равно в Астафьево не буду. Благодарю за предложение и твою дружбу, добрую дружбу. Мне Скюдери необходимо нужен. Он часто навещает меня и, смотря на ногу, качает головою или трясет головою. Как лучше? Вчера у меня был Пушкин Алекс⟨ей⟩ часа четыре, мы говорили, говорили, говорили. Прости и меня навести.

Поцелуй ручку у княгини за меня. Скажи ей, что я очень мил, так мил, одним словом, как Соковнин и пр.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Июль—август 1816 г. Москва⟩

У меня был вчера Алексей Пушкин, он сказывал, что ты, милый друг (милый друг, заметь, что это учтивее и вернее скотины), будешь сюда сам сегодня, но вот пришел от тебя человек и требует письмецо. Что скажу тебе, что Скюдери ездит ко мне часто и лечит и до сих пор проку мало. Он и сам не знает, что за болезнь, и я ничего не понимаю. Нога распухла по-старому. Стихи твои оставляю у себя. Я некоторые перепишу в мой альбом. Не страшись, не много, стишка два-три. Я просил тебя, вишен, бога ради, не присылай. Скюдери снова запретил. Если не умру со скуки, то ты увидишь меня через три дня в Астафьеве, приезжай сюда, навести меня, мой добрый, нежный, единственный мой друг (какова скотина?). Целую прах ног ее сиятельства с истинным благоговением, страхом, но без надежды.

Батюшков—Соковнин.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨Июль—август 1816 г. Москва⟩

От практического мудреца мудрецу астафьическому с мудрецом Пушкиническим послание.

Одни, слабые души, подобные твоей, жалуются на погоду, истинный мудрец восклицает:

> Счастлив, кто в сердце носит рай,
> Неизменяемый страстями.
> Тому всегда блистает май
> И не скудеет жизнь цветами:

Ты помнишь, как в плаще издранном Эпиктет
Не знал, что баромéтр пророчит непогоду,
Что изменяется кругом моральный свет
И Рим готов пожрать вселенныя свободу.
В трудах он, закалив и плоть свою и дух,
От зноя не потел, на дождике был сух.
Я буду твердостью превыше Эпиктета,
В шинель терпенья облекусь
И к вам нечаянно явлюсь
С лучами первыми рассвета.
Да! Да! увидишь ты меня перед крыльцом
С стоическим лицом
Не станет дело за умом,
Я ум возьму в Сенеке,
Дар красноречия мне ссудит Соковнин,
Любезность светскую Ильин,
А философию я заказал... в аптеке.

Итак, если это все поспеет и дела позволят, то я буду.

К. Б.

П. А. ШИПИЛОВУ

⟨6 октября 1816 г.⟩ Москва

Благодарю тебя, милый брат и друг, за присылку денег, а еще более за письмо твое, которое меня истинно обрадовало. Благодарю тебя за приглашение на *север*. Давно бы я был у вас, и вы, конечно, милые и добрые друзья, в этом не сомневаетесь, но болезнь, и болезнь мучительная, меня удерживает в Москве против воли моей. Теперь легче, но не совсем здоров. И предпринимать путешествие не в силах. Надобно дождаться первого пути и белого снега. Теперь прошу тебя снабдить меня путевыми способами и выслать к 10-му ноябрю 1050 оброчных, вдруг — все. Остальные 100 до января можно отсрочить. Здесь я так прожился на аптеке и лекарствах, так задолжал всем художникам от чеботаря до Гиппократовых чад, что не смею и подумать оставаться долее. Расплачусь и выеду. Беда — одна! Здоровье? Но! так и быть: больной поеду. Шутки в сторону, прошу тебя в будущем

месяце *снабдить* тем элементом, который всех превосходней: не водою, по Фалесу-мудрецу, но деньгами.

Благодарю милую сестру за приписание и уведомление о детях, которых я люблю всем сердцем. Везу Алеше «Риторику», а Саше иглу с ниткою, а вам — себя. Сожалею крайне о Вареньке и желаю ей выйти замуж скорее, как можно скорее. Пора. Право пора, между нами будь молвлено. Аркадию Аполлонычу мой усердный поклон: скажи ему, как бы его хозяйство и деревни хороши ни были, но я найду его покритиковать и, если угодно ему, приеду с топором прочищать виды: он знает, как я ему часть усовершенствовал. Простите, милые друзья мои, обнимаю вас от всего сердца и всей души.

Октября 6.

Изжарь Василья Захарова. Что он делает и что мне с ним делать? Не хочет ли он внести за себя тысячу рублей; я дам ему свободу жить где хочет.

Н. И. ГНЕДИЧУ

7 ноября ⟨1816 г. Москва⟩

При сем посылаю тебе Кантемира. Прими его в объятия твои, еще сырого, из-под пера моего; хотя несколько раз я его переписывал, переправлял, но все не доволен слогом. План и мысли довольно хороши. Все оригинально, и у нас не было ничего в этом роде. Монтескье разговор — мозаика из его сочинений. Какой бред! Вот каково философствовать о Севере, не зная его.

Теперь, надеюсь, довольно. Если мало будет, то уведомь; что-нибудь в конце можно припечатать о Данте.

Я в рассеянии и хлопотах. Но работы не выпускаю из рук. Недавно комната очистилась, и у меня свободный угол. Здоровье мое очень плохо, но я сбираюсь в деревню. Дела того требуют.

Занимаюсь стихами, и прошу и заклинаю тебя повременить, для собственной твоей пользы. Предва-

ряю: стихов менее, чем прозы, но их можно разбить, и печатать реже. Формат Никольского Пантеона и печать мне очень нравятся. Нельзя ли на этот манер?

У Долгорукова сбираются играть твоего Танкреда. Кокошкин геройствует. Если будет при мне, то все опишу. Какова тетушка?

Н. И. ГНЕДИЧУ

27 ноября ⟨1816 г. Москва⟩

Вручитель сего письма отрапортует тебе обо всем исправно, что касается до беседы нашей и твоего Танкреда. Замечания на него я пришлю из деревни. Радуюсь душевно, что Кантемир тебе понравился, милый друг. Стихи переписаны, рукою четкою. Много новых пиес. И между тем как ты поешь рождение сына Мелесова, всевидящего слепца, я пою его бой с Гезиодом, т. е. я перевел прекрасную элегию Мильвуа «Гезиод и Омир», которая дышит древностью. Все пришлю, когда потребуешь. Прошу усердно тебя исправить что не понравится, не переписываясь со мною. Издание, формат, шрифт — все от тебя зависит. Боюсь только одного: чтобы не было ошибок. Тебе корректура наскучит. Найми кого-нибудь; я заплачу. Стихов будет — я не ожидал этого — более прозы. Прибавь замечания, если нужно.

Собираюсь в деревню, на днях. До отъезду отпишу тебе. Мое здоровье все плохо. Если будут весною деньги, то поеду на Кавказ, или в Питер. Из деревни получишь все: стихи и длинное письмо. Обнимаю тебя душевно, милый и добрый друг. Будь здоров и помни и люби твоего

Батюшкова.

Н. И. ГНЕДИЧУ

⟨Конец декабря 1816 — первые числа января 1817 г. Деревня⟩

Замерзлыми от стужи перстами пишу тебе несколько слов. Я приехал в деревню, и прошу тебя писать туда. В Череповец, Новгород⟨ской⟩ губерн⟨ии⟩. Прошу писать пространнее, о книге: как? что?

зачем? и проч., как водится. Бога ради, не ленись. И. М. у вас о сю пору. Здорова ли тетушка? Она меня забыла. Проси И. М., чтоб он не забывал меня. Обнимаю тебя очень крепко. Более писать не могу.

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сижу.
Под шубою лежу
И на огонь гляжу.
Но все как лист дрожу,
Подобен весь ежу.
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу;
И чуть стихами ржу.

По такой стуже лучше писать не умею. N'allez pas faire vos vers en Allemagne[1], говорил Вольтер кому-то. Но это до меня не касается.

Бога ради, пиши о книге и чего ты желаешь?

Н. И. ГНЕДИЧУ

9 января 1817 г. ⟨Деревня⟩

Сделай одолжение, милый друг, отошли со сторожем это письмо слесарю моему; оно очень нужно. Слесарь вручит тебе сто рублей, а ты вручи их книгопродавцу на следующие книги, которые он пришлет мне в Череповец на имя Алек⟨сандры⟩ Николаевны: «Вестник Европы» на 1817 — 18 р.; «Сын отечества» за одну половину — 18 р.; Басни Крылова, с портретом, без картин; «Путешествие» Головина, в переплете; «Письма русского офицера», в переплете, и, если достанет денег, то «О высоком», Мартынова перевод.

На будущей почте писать буду более. Теперь разбираю домашние дела — и стихи для печати. Уведомь, скоро ли потребуешь. Если не так скоро, то я переправлю многое. Деньги к⟨нязю⟩ Гагарину я вышлю на твое имя с будущею почтою. Бога ради, вручи ему сам. Я и писать буду. Будь здоров. Пиши. Что делается у вас хорошего? Пиши пространнее. Это письмо оживит

Пустынника.

---

[1] Не отправляйтесь писать стихи в Германию *(фр.)*.

Н. И. ГНЕДИЧУ

7 февраля ⟨1817 г. Деревня⟩

Я получил книги твои, кроме журналов, а они всего нужнее. Получил и «Рождение Омира». Очень благодарен. Прекрасно! Твой талант пробудил мой маленький спящий или оледенелый гений. Я читал, наслаждался и завидовал. Не могу входить в подробности, но сделаю со временем замечания и пришлю их на этом экземпляре, а мне доставь другой в переплете; иначе не расстанусь. Хорошие русские стихи в деревне сокровище: вы этого не понимаете, жители булевара. Скажу только, и мое замечание, кажется, справедливо, что перемена метра в таком роде не годится и жалобы Фетиды слишком длинны, так длинны, что затмевают и растягивают сюжет. Поэма чрез ямбы выиграет. Верь мне: я в этом деле изрядный судия. И чем быстрее будет ход в начале, тем более интересу. Вся басня прекрасно создана: изобретение, и вымысел, и ход. Напрасно не упомянул при конце о русском флоте, который некогда бился и поразил турков у берегов Троады. Это дало бы повод к сильным стихам и весьма кстати. Впрочем... славно! Я хвалю от сердца. Ни слова о костюме и нравах: этого дела ты мастер. Но еще раз не жалей и хороших стихов: марай и выключай. Это правило Буало. Тогда поэма твоя будет нечто полное, круглое, целое. Обдумай мои слова. Я читал один, без предрассудков и предубеждений; итак, если ошибся, то ошибся как истинный поэт, а не критик *зоркий*. Есть погрешности в слоге: я отмечу их, и ты мигом исправить можешь. Знаешь ли, зачем так хлопочу об этом? Затем, что у нас на Руси мало подобного.

У вас Филимонов. Он писал ко мне из Москвы и просил познакомить с тобою покороче. Ты знаешь его; он милый, добрый и умный человек. Желает познакомиться с Олениным. Доставь ему это знакомство, если можешь, и меня тем немало одолжишь.

К Гагарину через тебя отправляется 800 р. Если еще что причтется, отдай из своих денег: это безделка,

я доставлю тебе немедленно. Скажи к⟨нязю⟩, что я его благодарю. Он на меня сердится? Если так, то бог с ним, а я все-таки ему благодарен буду, и буду любить и уважать его, как благодетеля, который мне оказывал услуги со всею возможною учтивостию и добродушием русского барина, в хорошем значении сего слова.

Стихи почти готовы. Но если тебе не крайняя нужда, то повремени еще. Право, все в хлопотах, и не до стихов. Кажется, я писал к тебе, что желаю еще напечатать книжонку. Что дадут книгопродавцы за книгу следующего содержания:

Пантеон итальянской словесности

Все прозою:
- Жизнь и поэма Данте: Ад⟨отрывками⟩.
- Отрывок из Иерусалима: Олинд и Софрония.
- Отрывок из Роланда: Его бешенство.
- Отрывок из Роланда: Альцина.
- Отрывок из Макиавеля.
- Описание моровой язвы из Боккаччо.
- Гризельда. Лучшая сказка из Боккаччо.
- Взгляд на словесность итальянскую в лучшее ее время и нечто тому подобное.

Я этот труд довольно скучный и для воображения бесплодный принял бы на себя ради денег. И, если бы знал наверное, что дадут за книжку в 300 страниц 1500 рублей или около того, то взялся бы представить ее к 1818 году. Поговори с книгопродавцами и сводниками Парнаса. Будь здрав о Ахиллесе и прости.

Весь твой *Константин.*

Скажи Филимонову, что я писал к нему в Москву и адресовал следующим образом: в Сущове, в собственном его доме. Так ли? Пусть от него сходят на почту, если письмо не принесено в дом.

Вот письмецо к К. Ф.

Как мы с тобой съехались на Парнасе. Филимонов скажет тебе, что я читал ему Бой Гезиода и Омира (я писал тебе об нем) и что я употребил выражение «слепец всевидящий», говоря об Омире. Как мы сошлись? Это, право, странно — и *потомство?* что скажет? Подумает, что я обокрал тебя! Это ужасно! Я целую ночь не мог спать, и голова разболелась от беспокойства.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

4 марта ⟨1817 г. Деревня⟩

И я, и брат мой, и все мои благодарим за старание твое, хотя бесплодное. Я с моей стороны исполнил долг мой; я не желал упустить случая быть полезным хорошему родственнику, не желал упустить случая тебе дать повод к доброму делу, зная, что это для тебя праздник. Итак, смиряясь перед судьбою, к нам всем довольно строгою, продолжаю отвечать на письма твои.

Благодарю Жуковского за предложение трудиться с ним: это и лестно, и приятно. Но скажи ему, что я печатаю сам и стихи, и прозу в Петербурге и потому теперь ничего не могу уделить от моего *сокровища,* а что вперед будет — все его, в стихах, разумеется. По приезде в деревню я заплатил шесть тысяч. Чахотка в кармане. В виду — ни гроша почти на весь год, если не удадутся мне некоторые обороты. А *жить надобно,* как говорит Шатобриан. (Ей, ей, он это написал! Какова ситация?) Вот почему я должен взяться за работу, скучную, но полезную. Собираю итальянские переводы *в прозе,* отборные места и хочу выдать две книжки. Может быть, продам их за две тысячи. Итак, ты ясно и сам видишь, могу ли рассеять мою работу в периодическом издании? У меня книга готова. Взял контрибуцию с Данте, с Ариоста, с Тасса, с Маккиавеля и бедного Боккаччо прижал к стене. Всем досталось! Доберусь и до новейших. Чем более вникаю в италианскую словесность, тем более открываю сокровищ истинно классических, испытанных веками. Не знаю только, хорошо ли это будет в русской прозе: вот от чего нередко у меня руки опускаются. Пишу около пятнадцати лет для русской публики (C'est tout dire)[1], а от совести отучиться не могу! Но я согласен с тобою насчет Жуковского. К чему переводы немецкие? Добро — философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее (Не сказывай этого!). У них все каряченье и судо-

[1] Этим все сказано *(фр.).*

роги. Право, хорошего немного. Недавно я бросил с досады Иоганна Миллера. Говоря о веке Екатерины, он говорит только о Минихе, потому что он был немец; глубокомыслия пучина, а где рассудок? Слог Жуковского украсит и галиматью, но польза какая, то есть, *истинная польза?* Удивляюсь ему. Не лучше ли посвятить лучшие годы жизни чему-нибудь полезному, то есть, таланту, чудесному таланту или, как ты говоришь, писать журнал полезный, приятный, философский. Правда, для этого надобно ему переродиться. У него голова вовсе не деятельная. Он весь в воображении. А для журнала такого, как ты предполагаешь, нужен спокойный дух Адиссона, его взор, его опытность, и скажу более, нужна вся Англия, то есть, земля философии практической, а в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением: по крайней мере до сих пор так. Но полно мне умничать. Поговорим о старосте, от которого я получил письмецо в маленькой прозе и в маленьких стихах. Он все тот же! А мы стараемся. Это меня бесит. Я очень смеялся Шаликову и Ильину. С какою коварною радостию воображал тебя за одним столом с ними — за грехи, конечно. Жихареву мой поклон. Что делает он у вас? Его бы в члены: он не ударит лицом в грязь. Поговорим о стихах. Сожалею крайне, что не мог прислать «Переход через Рейн» и «Омира с Гезиодом»: переписывать не могу. Боль в груди отрывает меня от письменного стола, и это пишу стоя. Как и стоя писать?.. Нога болит. Лежа не могу, а писать хочется. Изобретите новый способ вы, люди умные! Недавно начал элегию «Умирающий Тасс». Кажется мне, лучшее мое произведение. Стихов полтораста готово. Теперь перо выпало из рук, и я ни с места. Эти переводы меня утомляют; прибавь к этому кой-какое горе, от которого нигде не уйдешь. Все вредит стихам и груди моей. Бог с нею, только бы хорошо писалось! Но Тасс... а вот что Тасс: он умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний желает еще взглянуть на Рим,

...на древнее Квиритов пепелище.

Солнце в сиянии потухает за Римом и жизнь поэта... Вот сюжет. Пожелай, чтобы хорошо кончил. Перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напитался *Иерусалимом*. Что будет — не знаю и когда кончу. Болезнь мучит иногда, а беспрестанное уединение и дурная погода, и усильные труды и последнее здоровье уносят. Я часто сержусь, как Шаховской на развалинах Рима. Рим и Шаховской! Он в Капитолии, он в Колизее, он у Везувия, он в Байи, он, он, он, везде он! Я дал бы сию минуту пять рублей за то, чтобы взглянуть на Шаховского в то время, когда он проезжал воротами счастия. Зачем не повстречался он с Козловским? Этого не доставало! Две классические карикатуры в классической земле. Посмотрим, какова будет комедия его, писанная в чуме. Но мне, признаюсь тебе, понравилось его желание славы. В этих строках виден поэт, что ни говори! И у него что-то в животе шевелится.

Но скажи мне, милый друг, что делает твоя княгиня и скоро ли разрешится? Желаю душевно, чтобы ты и дети твои были здоровы. Поцелуй твою Машу и скажи ей, что *дурак* велел поцеловать. Уведомь меня о Карамзиных. Из Петербурга очень давно писем не имею и не знаю, здоровы ли они. Не знаю, почему все утро думал о Карамзине. Желал бы прочитать его *«Историю»* здесь в тишине: впечатление ее было бы живее на мой бедный умишко. Кстати о книгах. Пришли мне Сисмонди. Я обратно перешлю. Он мне очень нужен. Ты со мною поступаешь по-варварски. Как не прислать «Певца» Жуковского? И его бы возвратил немедленно. Мне пишут, что Левушка покинул Бахметева, или он его. Нет ли Левушки в Москве, и когда этого Левушку произведут в Львы Васильевичи? Скажи, что делается на Парнасе, то есть, в луже? Это, конечно, тебя мало занимает. У вас и без того много новостей, но признаюсь тебе, до них небольшой охотник. Настоящее право не весело. Живи в книгах, пока можно! Но здесь, просидев около трех месяцев, начинаю грустить. Дорого бы дал за один часок, с тобой проведенный. Я живу в таком уединении, о каком ты понятия не имеешь. У меня есть птичка, три горшка цветов каких-то и горшок под постелью.

Вот все мое добро. И право можно жить, если бы здоровье не изменяло. У меня книг много, задал себе работу, и весна с цветами на дворе. И умирая, буду твердить: moriatur anima mea mortem philosophicorum[1], а ты посмеиваешься надо мной!

Я очень болен,
Но собой доволен;
Я неволен,
Но мне, музы,
Ваши узы
Так легки,
Как сии стишки.

По ним ты можешь судить, какие быстрые успехи делаю в поэзии. Обнимаю тебя от всего сердца, тебя, мою любовницу. Спрашиваю себя: за что тебя любить? Прости. Будь весел и люби, и не забывай твоего пустынника, который морщится, говоря тебе *прости:* ибо с тобою веселее калякать, нежели переводить длинные периоды Боккаччо и мрачный «Ад». Нарочно оставлю страницу; прибавлю еще что-нибудь. Почта уходит завтра.

Представь себе: Женгене умер, пишут в газетах. Веришь ли? Это меня очень опечалило. Я ему много обязан и на том свете, конечно, благодарить буду.

Еще прибавляю:

ЗАПРОС АРЗАМАСУ

Три Пушкина в Москве, и все они — поэты.
Я полагаю, все одни имеют леты.
Талантом, может быть, они и не равны;
Один другого больше пишет,
Один живет с женой, другой и без жены,
А третий об жене и весточки не слышит:
(Последний — промеж нас я молвлю — страшный плут.
И прямо в ад ему дорога!)
Но дело не о том, скажите, ради бога,
Которого из них Бобрищевым зовут?

Успокой мою душу. Я в страшном недоумении. Задай это Арзамасу на разрешение. Прочитай это

[1] душа моя должна умереть философской смертью *(лат.)*.

Солнцеву и боле никому. В худой час Василий Львович рассердится: у него бывают такие минуты, как и у меня грешного.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

9 марта ⟨1817 г. Деревня⟩

Поздравляю тебя, милый друг, с прибылью, с новорожденной. Поздравь от меня княгиню. Желаю ей здоровья и надеюсь, что новорожденная не будет походить на отца красотою, но будет как душа хороша, как богиня, как сама княгиня. Мне совестно это писать стихами, я пишу в строку, как прозу. Надеюсь, что новорожденная будет умнее Маши и не станет меня величать *дураком.* Спасибо за стихи. Никак не сладишь с *ней:* да выкинь оба стиха! А басня ей-ей замысловата и хорошо завострена. Советую, милый друг, приняться наконец и за другое издание, то есть, за стихи. Ты спишь, друг, или хочешь убить меня вдруг. О, мы знаем, что ты страшный и плодовитый писатель: еще до сих пор некоторые тетрадки (тетрадищи) у меня в глазах мерещатся. Но решись, печатай! Пусть наши книжки (мои печатают, увы!) будут близнецами, если не по таланту, то по времени, по крайней мере по времени, ваше сиятельство! Браво! Я сегодня улыбнулся! Это право чудесно! Все дни у меня была мушка (гишпанская) на затылке, и теперь только стало легче голове. Кстати о голове: пришли мне пластырь — на ногу, emplatre de M.Bouchot. C'est mon beaume de Fiérabras[1]. Бога ради, пришли! Ах, нога, нога, нога, нашутила ты, нога! Говорят, что я непостоянен... Не правда... Господа, посмотрите на ногу и замолчите! Вот около года! Ты спрашиваешь меня, скоро ли решусь и куда? Сам не знаю. Хотелось бы в Петербург. Рассудок говорит: на Кавказ, а сердце: сиди дома. Теперь на несколько дней хочу проехаться, пока снег на дороге. Благодарю за Попову. Слава богу! В первый раз рифмы у меня послужили на доброе дело: это лучшее поощрение писать, и буду

[1] Пластырь г. Бушо. Это мой бальзам Фьерабраса *(фр.).*

писать. Обнимаю тебя очень крепко. Поздравь Василия Львовича (очень серьезно) с возвращением весны.

Милый мой пузырь, пришли мне Жуковского портрет. Что стоит тебе велеть срисовать его какому-нибудь маляру! Не я прошу его, твой портрет кличет на стене. Вот ему надпись:

Кто это так, насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как федул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любови!

Ей-ей изрядно для стихотворца хромого и с мушкой на затылке.

В. Л. ПУШКИНУ

⟨Первая половина марта 1817 г. Деревня⟩

Не виноват, не виноват нисколько перед милым и почтенным старостою, хотя и кажусь несколько виновным. Странствовал, приехал домой и опять немедленно пустился странствовать; вот почему и не писал к тебе, милый староста: кибитка — не Парнас. Она тебе скажет, если спросишь ее: мог ли я писать, окостенелый от холода. Теперь дома и пишу. Письмо начинается благодарностию за дружество твое; оно у меня все в сердце —

И как, скажите, не любить
Того, кто нас любить умеет,
Для дружества лишь хочет жить
И языком богов до старости владеет!

До старости? Не сердись: это для стиха вставка! Мне Музы и опытность шепчут на ухо:

Тот вечно молод, кто поет
Любовь, вино, Эрота,
И розы сладострастья жнет
В веселых цветниках Буфлера и Марота.
Пускай грозит ему подагра, кашель злой
И свора злых заимодавцев:
Он всё трудится день-деньской
Для области книгопродавцев.
«Умрет — забыт!» Поверьте, нет!
Потомство всё узнает:
Чем жил и как, и где поэт,

Как умер, прах его где мирно истлевает.
И слава, верьте мне, спасет
Из алчных челюстей забвенья
И в храм бессмертия внесет
Его и жизнь, и сочиненья.

Ваши сочинения принадлежат славе: в этом никто не сомневается.

Ты злого Гашпара убил одним стихом
И пел на лире гимн, Эротом вдохновенный.

Но жизнь? Поверьте, и жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне с славенофилами, не уйдет от потомства, и если у нас будут лексиконы великих людей, стихотворцев и прозаистов, то я завещаю внукам искать ее под литерою П:

Пушкин В. Л., коллежский асессор, родился и проч.

Чутьем поэзию любя,
Стихами лепетал ты, знаю, в колыбели;
Ты был младенцем, и тебя
Лелеял весь Парнас и Музы гимны пели,
Качая колыбель усердною рукой:
Расти, малютка золотой!
Расти, сокровище бесценно!
Ты наш, в тебе запечатленно
Таланта вечное клеймо!
Ничтожных должностей свинцовое ярмо
Твоей не тронет шеи:
Эротов розы и лилеи,
Счастливы Пафоса затеи,
Гулянья, завтраки и праздность без трудов,
Жизнь без раскаянья, без мудрости плодов.
Твои да будут вечно!
Расти, расти, сердечной!
Не будешь в золоте ходить,
Но будешь без труда на рифмах говорить,
Друзей любить
И кофе жирный пить!

Чего лучше? Предвещание Муз сбылось, как видите. Со мною будет иначе. Ваши внуки не отыщут моего имени в лексиконе славы. Много писал, и теперь, рассматривая старые бумаги, вижу, что написал

мало путного. Что в рифмах, если в них мало счастливых, и что в счастливых стихах без счастия! Посудите сами! Живу один в снегах и долго ль проживу — не знаю.

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я... отставной асессор!»

Но бросим в сторону эту проклятую поэзию, для нас самозванцев, и поговорим о деле.

Душевно радуюсь счастию Жуковского; он стоит его. Фортуна упала не на пень и кочку, как говорил Державин. Что делает ***? Знаю ваш ответ:

На свет и на стихи
Он злобой адской дышит;
Но в свете копит он грехи
И вечно рифмы пишет...
Простите — иногда счастливые!
Числа по совести не знаю,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:
«Пора напиться чаю,
Пора вам кушать, спать пора,
Пора в санях кататься...»
«Пора вам с рифмами расстаться!»
Рассудок мне твердит сегодня и вчера.

Это всего умнее. Итак, прощайте!

Е. Н. ШИПИЛОВОЙ

Март, 1817 г. Деревня

Вот третья неделя, любезная Лизавета Николаевна, что я очень не здоров. У меня так разболелась голова, что я третьего дня поставил себе шпанскую мушку; она очень много действовала и. может быть, облегчит боль несносную. Сестра у батюшки; ожидаю ее с часу на час. Желаю, чтоб все ваши были здоровы, брату и сестре мой усердный поклон. Прошу брата засвиде-

тельствовать отпускные; это мой насущный хлеб. Я никак не могу быть у вас, и очень благодарен за приглашение: первое — не здоров, а другое дело — занят. Будьте здоровы, веселы и счастливы и не забывайте

Конст⟨антина⟩.

Понедельник

Попроси у отца Гавриила сочинение последнее Филарета: «*Толкование на пастве*», если не ошибаюсь, и доставь мне. И все, что есть Филарета — прошу ему обо мне напомнить и удостоить меня пастырск⟨им⟩ благословением.

Н. И. ГНЕДИЧУ

⟨22—23 марта 1817 г. Деревня⟩

Нечего с тобою делать; хоть и болен я, писать надо! Но, право, отвечать не буду, если ты мне вперед по пунктам писать не будешь. Спасибо за табак. Поэму пришлю через недели две с замечаниями. Теперь спешу объявить вам, что ни перевода из Тасса, ни из Ариоста не хочу. Особенно Тасс — дрянь. Ты меня взбесишь! И сохрани бог! Элегию «Умирающий Тасс» пришлю. Она имеет предисловие на страничке и стихов около 200, *почти* александрийских. На место дряни, не лучше ли «Речь» мою поместить в томе стихов, если необходимо нужно, чтобы он был толст? Притом же стихи печатают роскошнее... И так будет довольно — а переводами не стыди моей головы. Если буду здоров, то еще что-нибудь доставлю в «Смесь». Итак, с богом — начинай! Поблагодари Ивана Андреевича за его *примарание,* но скажи ему, что мы сами с усами. Скажи ему, милый друг, что из всех его басен мне всего более нравится та, которую он кончил такими стихами:

Спой, светик, не стыдись... и проч.

Он помнит, что следует. Но за что меня жаловать в вороны? Грех ему, право грех!

Что же касается до твоего страха, то, в случае неудачи, не пеняй на меня. Скажу только, что прозы том, т. е. итальянские переводы, отдам тебе, если кни-

ги пойдут худо. Вот все, что могу сделать. А ты, милый друг, если можешь (чем меня крайне одолжишь) отдай в ломбард тысячу в июне. Авось бог вынесет. Мы не Полторацкие! В Париж хлеба не везем! И здесь над крохами бьемся. Я так волосы на себе деру, что болен, что мне мешают; нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов? Но еще повторяю: дряни не печатай. Лучше мало — да хорошо. И то половина дряни. Но что делать! — Ей, ей, не до стихов. Это письмо насилу кончу. Сестра свидетель тебе, как болен и как грустен, но все-таки весь твой

Константин Батюшков.

На Страсти.

Христос воскресе!

Скажи, когда присылать Тасса?

Если «Речь» поставлена в заглавии, то цифры и переменять не надо. Этот лист годится. А она кстати к стихам.

За что на тебя от департамента такая невзгода? Веришь ли, что это меня в сердце кольнуло. Терпение, казак! Что сказать более?

Прилагаю при сем копии с бумаги Бах., по которой мне надобно получить несколько сотен в Комиссариате. Попроси родственника своего Гудиму, не может ли он выхлопотать этого? Я бы ему на его имя дал верющее письмо и прислал подлинник сего свидетельства. Деньги мне очень нужны. Попроси его, милый друже!

Гудима, кажется, в Комиссариате лицо важное. Если согласится, то пришли мне его чин, имя и проч. для верющего письма.

А. Н. ОЛЕНИНУ

4 июня ⟨1817 г. Деревня⟩

Очень благодарит вас Батюшков за приятное письмо ваше и приглашение в столицу. Я и сам было сбирался, но дела и хлопоты совершенно антипоэтические меня остановили. Не нахожу слов благодарить вас за внимание, которое изволите обращать на мое крошечное здоровьице. Для поправления его намеревался было съездить на Кавказ или в Тавриду; все

было готово, коляска, чемодан и «Путешествие» сладкого Шаликова в кармане, но опять хлопоты меня за полу; я остался, а время улетело. Это все и здорового может взбесить; посудите же, каково больному? Но не довольно ли говорить о болезнях здоровым людям? Порадуемся лучше с ними, и вместе со всеми умными, просвещенными и здоровыми рассудком людьми: наконец, у нас президент в академии художеств, президент,

Который без педантства,
Без пузы барской и без чванства,
Забот неся житейских груз
И должностей разнообразных бремя,
Еще находит время
В снегах отечества лелеять знобких муз,
Лишь для добра живет и дышит,
И к сим прибавьте чудеса:
Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет.

Прошу не принимать это за poison qu on prépare a la cour d'Etrurie[1], то есть за лесть. Я так загрубел на берегах Шексны и железной Уломы, где некогда володел варвар Синеус, что не в состоянии ничего сказать лестного, не в силах ничего написать, кроме простой, самой голой истины. Покорнейше прошу напомнить обо мне и засвидетельствовать душевное почитание Лизавете Марковне и семейству вашему. Надеюсь — если опять не обманусь в надежде моей — в скором времени лично повторить пред вами, что, tenendo al fin il mio usato costume[2] я вас люблю, почитаю и до последнего дыхания, которое очень коротко становится в груди моей, буду вам предан.

Кон. Б.

Н. И. ГНЕДИЧУ

⟨Июнь — начало июля 1817 г. Деревня⟩

Советую элегии поставить в начале. Во-первых, те, которые тебе понравятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк строят. Дурных

[1] яд, который готовят при дворе Этрурии *(фр.)*.
[2] до конца сохранял свои старые привычки *(ит.)*.

солдат в середину. Куда Тасса? Боюсь! Если не понравится тебе? Тем более, что я, писав его, предался своей воле. Или он очень хорош — или очень плох. Ахти!

Н. И. ГНЕДИЧУ

17 июля ⟨1817 г. Деревня⟩

Получил книгу. Благодарю тебя за труды твои! Что касается до подписки, то на то буди воля твоя. По мне, так, право, я не подписался бы и сам на мою прозу. Стихов теперь ожидаю с нетерпением. Виньет очень мне понравился, и бумага, и шрифт. Есть ошибки... Nil amirare, кажется, не так. Ситация из Катулла не так. Мадам Жофрен превращена в Жофрель. Что скажет Василий Львович!!! Всего не успел пересмотреть; и вот причина: в день получения книги я проехал верст около сорока верхом, в жар, и желчь, которою я страдаю, чуть было меня не задавила. Началась рвота, усилилась; я умирал, и умер бы, если бы натура не сделала последнего усилия. Такая смерть похожа бы была на смерть профессора Крашенинникова. Желаю, чтобы твои дела шли хорошо, и радуюсь, что могу желать успеха моей книги, не для себя, а для издателя. Но у нас в стороне, верно, никто не подпишется. Я могу сказать то же, что Монтань: On tient pour drôlerie en mon pays de Gascogne de me voir imprimé[1]. Признаюсь тебе, страшусь и за Москву, и Петербург, и другие города. Вряд ли будут охотники. Если бы ты мне слово шепнул *тогда*, т. е. вовремя, то я накроил бы тебе сказок в прозе: вот товар! Скажи мне чистосердечно, как ты ведешь дела свои, и выведи меня из страха и раскаянья, что я согласился на твою просьбу. Mu l'as voulu, George Dandin![2] Но все ты жалок, а я на себя сердиться не менее того стану; и тебе не в силах буду помочь. Я нынешний год потеряю половину моего имения (прошу это оставить

---

[1] В моей Гасконии, когда видят мои книги напечатанными, считают это шуткой *(фр.)*.

[2] Ты это хотел Жорж Данден *(фр.)*.

между нами), то есть тысяч на тридцать, и что будет вперед — не знаю. Вовсе нечем существовать будет, до тех пор пока не устрою моих дел. А как ты их устроишь? говорит сестра. Не знаю, отвечаю я. Веришь ли, что я восемь месяцев как все в хлопотах, в горе и в болезни, а ты еще меня колешь! Поправь-ка лучше на странице 323, на место наемным, поставь земным. Не худо бы и все опечатки *оговорить*. Поосторожнее печатай стихи мои, или страшись моего поэтического гнева. Не поленись пересмотреть их и сам. Что же жалованье мое? Нет ответа. Или опять убыток? Узнай у К. Ф., получила ли она 2.600 р., посланные мною к ней для уплаты в ломбард: я не хотел тебя беспокоить этим, полагая, что и с жалованьем хлопот довольно. Намереваюсь в Петербург, а все-таки прошу о квартире, и на это есть резоны, важные *для меня единственно*. Прости. Будь здоров; обнимаю тебя от всей души, моего *издателя*. Пошли «Моровую Язву» к Каченовскому, или оставь до моего приезду, или сожги, если боишься заразы: у меня еще есть переводы из Боккаччо.

Е. Н. и П. А. ШИПИЛОВЫМ

⟨4 августа 1817 г.⟩ с. Даниловское

Обстоятельства батюшки требуют моего присутствия у него; крайне сожалею, что я не мог тебя дождаться в деревне, любезный брат, и прошу покорнейше, если есть возможность, приезжай в Даниловское: дела батюшкины надобно кончить на месте, в глазах его. Еще прошу о продаже. Чем более дадут денег — тем лучше, разумеется, но я согласен буду отдать и по триста рублей душу, а если бы за все дали тридцать тысяч, то и очень бы был благодарен. Деньги, может быть, нужны будут в скором времени: у батюшки имение описано давно и к продаже назначено. Теперь и дни дороги. Очень благодарен за мое свидетельство, но это дело не столь нужное и, как я говорил, поспеет к Петербургу. Кончить продажу и осмотреться в Даниловском — вот что нужно теперь. Итак, я подожду тебя до 10 августа у батюшки. Более ни дня ожидать не стану, а если приедешь ранее, то сочту за

истинное одолжение, ибо пребывание мое там вредно вообще делам, особливо продолжительное. Обнимаю от всего сердца Лизавету Николаевну и желаю ей здоровия и счастия вместе с милыми малютками, которых прошу поцеловать. Пишите ко мне в Петербург и не забывайте брата, который вас искренно любит.

Конст⟨антин⟩ Б.

Суббота.

Посылаю тебе книгу и рекомендую сочинителя. Не забудь при продаже имения выключить трех девок, которым я уже дал отпускные.

Е. Н. ШИПИЛОВОЙ

⟨Сентябрь, 1817 г.⟩ Петербург

Прошу никому этого не читать.

Благодарю тебя, милый друг Лизавета Николаевна, за твое воспоминание. Теперь поговорим о деле для нас важном: и будем говорить чистосердечно и в простых словах. Варенька за несколько часов до отъезда моего прибеж⟨ала⟩ ко мне со слезами: она желает, чтобы участь ее чем-нибудь решилась, и желание ее справедливо! Более года она томится по-пустому. Ничего у нас не делается, а целому миру все известно. Батюшка меня этим встретил. Я молчал. Но каково мне было? Если Варенька не согласна, то, бога ради, откажите Аркад⟨ию⟩ Апол⟨лоновичу⟩. Если он не хочет, то скажите это просто Вареньке. Но решите чем-нибудь. Еще повторю: решите! И не выдумывайте предлогов для проволочки. Стыдно и говорить об имении и тому подобных пустяках. Имение ее известно. Ты, милый друг, старшая всем. Варенька провела у тебя лучшие годы жизни своей, тебе не должно покидать ее. Ты сделала для нее все, что могла, я знаю это; но теперь кончи же начатое или откажи Аркад⟨ию⟩ Апол⟨лоновичу⟩ начисто.

Варенька невеста. Ей время дорого, ты сама это должна знать лучше моего. Она имеет столько хороших качеств, что, может быть, за женихами еще дело не станет. А в течение года могли бы, кажется, что-

нибудь сделать: мы Францию завоевали в шесть месяцев. Спрашиваю вас, не обидна ли эта нерешимость, с чьей бы стороны она ни была? Со стороны Вареньки — обидна жениху, со стороны его — обидна ей; этого мало: обидна, предосудительна всему семейству нашему, и если вы не примете мер, то это, право, нехорошо будет! Смех посторонним, стыд себе. Итак, прошу вас, решите что-нибудь. Кончите. Я видел, как бедная Варенька мучится: мне и за нее очень больно. Ее участь нам должна быть всего драгоценнее в мире: ибо мы старше ей и провидением назначены быть ей путеводителями и избавлять от огорчений, а не вводить в несчастие. Замужем или незамужем, она мне будет сестра. Кончите, бога ради. Не навлекайте себе огорчений пустым деликатством, которое в делах никуда не годится. Дела делаются просто. Да, или нет — вот и вся песня у благоразумных людей. А полтора года... Но я лучше замолчу, в надежде, что ты это все решишь, и к лучшему для сестры. Уверен также, что простишь мне мои слова и мое простодушие. Я иначе быть не умею с людьми, которых люблю, особенно с родными. Ни слова бы не говорил, ибо не охотник до хлопот, если бы сердце мое, заодно с рассудком, не говорило: надобно этому сделать конец, а у вас еще и начала нет. Все знают, а батюшке не объявлено. У архиерея не была и ничего не готово в полтора года?

Но прости мне, милый друг, целую руку твою и прошу ее не лениться писать ко мне. Обнимаю детей твоих. Еще раз будь здорова и люби меня; я, право, того стою за то, что вам очень предан.

А. Н. БАТЮШКОВОЙ

⟨Сентябрь 1817 г. Петербург⟩

Письмо твое получил, милый друг, и крайне сожалею о болезни твоей. Надеюсь, что она миновалась. Теперь издали вижу, что все огорчения твои почти пустые и совершенно минуются, если ты будешь иметь твердость духа и здравый смысл, которых у тебя достаточно. На мои письма все еще нет ответа из Вологды. В газетах здешних и московских все еще не

публиковано о продаже имения. Сделай одолжение, спроси у Павла Александровича, почему это до сих пор не сделано? Я ожидаю (просил о том на прошедшей почте и прошу еще на нынешней), ожидаю записки подробной о деревнях моих: сколько душ в каждой деревне; в каком уезде сколько земли пахотной, лесу и пр. Прикажи ее немедленно сделать Шитому, а я за эту услугу дам волю его дочери, которая еще все о том же хлопочет. Эта записка необходимо нужна для продажи, ибо я намерен все сполна продать: я решился и совершу с божией помощью. Здесь, может быть, найду охотников, а может быть, и в Вологде. Здесь обещали поговорить двум или трем покупщикам. Ожидаю только записки; должны быть письма и книги на мое имя: не послала ли ты их в Устюжну. Они от Жуковского из Петербурга: желаю, чтобы мне их возвратили, они нужны. Бога ради справься сама об этом. Здесь я видел Абрама Ильича, но Гришу еще не видал, был раз у него, но не застал. У меня много хлопот и разъездов. Нашел людей, которые меня не оставляют, и с помощью их авось что-нибудь сделаю: в виду имею излечение болезни моей и путешествие. Гнедич пишет к тебе и просит купить полотна: выполни это, если можешь, и пришли портрет, я разрешаю, тебе возвратят его. Он нужен будет вперед для Гнедича. Слава богу! книга моя идет хорошо и по крайней мере ему убытка не приносит. Обнимаю тебя усердно. Не стыдно ли живучи в деревне писать так редко и коротко? К. Ф. кланяется, она по-старому любит нас и одна не переменилась. Вели, прошу тебя, портрет уложить в ящик Ивану Сергееву и пришли по первой почте. Здесь Афанасий. Он пришлет тебе семян.

Ф. Н. ГЛИНКЕ

⟨Осень 1817 г. Петербург⟩

Покорнейше прошу вас, почтенный Федор Николаевич, вручить сие письмо его превосходительству и мои «Опыты» в знак моей душевной благодарности. Надеюсь, что он примет их из рук ваших с благосклонною улыбкою. Но когда увидимся мы? Когда погово-

рим с вами? Вот чего желает мое сердце. Если у вас будет свободная минута, то пожертвуйте ее мне, вашему искреннему почитателю. Назначьте день и час. Я уже говорил Гнедичу, который нетерпеливо ожидает вашего приглашения.

Прошу покорнейше не забывать преданного вам инвалида, который вас любит и почитает и как писателя и как человека.

Конст. Б.

Ф. Н. ГЛИНКЕ

⟨Ноябрь 1817 г. Петербург⟩

Н. М. Карамзин писал к Н. М. Сипягину о известном вам деле г. Савелова, но ответа не имеет. Сделайте дружбу, почтеннейший Федор Николаевич, спросите у него, получил ли он письмо и что на него скажет. Савеловы в недоумении в Москве, и судьба их зависит от ответа Карамзина.

Крайне сожалею, что не виделся с вами, все хвораю. То насморк, то ревматизм. Чему дивиться? Посмотрите, какое время стоит! Но как бы вознаградить потерянное? Я собираюсь скоро в Москву, не прикажете ли что тогда?

Весь вам преданный

Константин Батюшков.

Ф. Н. ГЛИНКЕ

⟨10 мая 1818 г. Петербург⟩

Крайне сожалею, почтеннейший и любезнейший Федор Николаевич, что не застал вас дома. Был вчера часу в 8 вечера. Пожелайте мне счастливого пути: желания искренней дружбы доходят к небу. А я желаю вам возможного благополучия, которого вы достойны, любезный друг. Вы внушили к себе уважение и любовь. Расставаясь с Питером, жалею о людях, не о камнях, и в числе людей, любезнейших душе моей, вы, без сомнения, занимаете первое место. Счастливым почту себя, если хотя немного заслужил вашу приязнь и местечко в памяти вашего сердца.

Простите, будьте благополучны и любите вашего преданнейшего Батюшкова.

Поклонитесь усердно Н. И. Гречу. Два раза стучался в его двери, но его не было дома или велел мне отказать, как стихотворцу. Уваров ожидает вас с нетерпением. Сегодня ввечеру буду у Карамзина. Заверните к нему.

А. Н. БАТЮШКОВОЙ

11 мая 1818 г. Петербург

Еду сию минуту в Москву, оттуда в Одессу. Через Москву еду нарочно с тем, чтобы отдать брата в пансион. Если тебе нельзя, то пришли его в коляске, на своих, с людьми надежными; вели им остановиться на хорошем постоялом дворе и отыскать меня в доме Московской гимназии у директора оной Петра Михайловича Дружинина. Мне будет приятно увидеться с тобою, но, скажу чистосердечно, в Москве по приезде государевом будет так шумно и столько хлопот у меня, что лучше поберечь себя, и тебе те деньги, которые издержишь в Москве, употребить на брата. Вот мой совет чистосердечный. А тебе советую проводить Помпея до Ярославля и там пожить с сестрою или взять ее в деревню, до тех пор пока не устроятся их дела: необходимо ей узнать вас и привыкнуть к вам. Брату изготовь белье нужное и поболее. Человек ему, полагаю, не будет нужен, но если бы нянька его согласилась год пробыть в Москве, то было бы это не худо. Впрочем, не могу ничего сказать решительного, не видавшись с содержателем пансиона. О деньгах за пансион не беспокойся, я заплачу за полгода, но из тех, кои даны тебе Иваном Семеновичем пришли мне, на издержки, платье и проч.; дай серебряную ложку, это водится, и все, что придумаешь. Людям, едущим с братом, именем моим закажи пить и скажи, чтобы вели себя исправно. Прости, более писать не в силах. Все укладывают, лошади готовы, и я уже заранее устал, так захлопотался! Сестрам усердно кланяюсь.

⟨...⟩ К. просит Г. А. приказать купить для него склянку жасмину или резеды, цветной бумаги зеленой и розовой; листок — золотой и серебряной.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

20 июля 1818 г. Одесса

С сею почтою я напишу вам несколько строк, почтенная тетушка. Уведомьте меня, прибыл ли брат в гвардию, здоров ли он, будет ли в досужный час писать ко мне? Я не пишу к нему особенно сегодня, но буду писать из Крыму, куда сбираюсь в скором времени, ибо на всякий случай должен воспользоваться удобным временем года и посетить Козлов. Если же мое дело замедлится или возьмет худой оборот, то проведу осень в Крыму, лучшее лекарство для меня. Впрочем, письмо ваше доставят мне немедленно, и я могу из Крыму почти в одинакое время, что из Одессы приехать в Петербург, если нужно. Здесь очень приятно, и я с неудовольствием покидаю Одессу, в которой желал бы видеть вас, любезная тетушка. Ивану Матвеичу здесь понравилось. Елене Ивановне полегче, но я ее мало и редко вижу, она не покидает постели. Сергей Иванович о ней очень здесь заботился, что ему, право, делает честь. Иван Матвеич сам все делает для нее, что может, но она, по-видимому, скучает, в этом главная причина ее болезни. Одесский воздух и купание должны бы быть полезны. Сюда наехало множество поляков, и я, право, против воли моей познакомился со всем почти городом, так что и купаться некогда. Только по ночам и успеваю кое-что почитать. У графа Сен-При есть книги и все, что нужно для меня. Вы себе представить не можете, как он ласков и добр: все делает, чтобы удержать меня здесь, даже лошадей верховых оставил для меня. Здесь вижу часто Корсакова, вашего знакомца, но прошу поклониться от меня и вашему Корсакову. Брата Никиту победоносного и Сашу обнимаю. Ручку вашу целую усердно и сто раз благодарю вас за письма ваши, которые оживляют мою с вами разлуку. Я часто о вас думаю и чаще, может быть, чем вы обо мне. Будьте только

счастливы и здоровы, вот мое единственное постоянное желание. К. Б. Покорнейше прошу адресовать мне письма К. Н. Б. в канцелярию господина Ланжерона в Одессе.

Н. И. ГНЕДИЧУ

10 сентября 1818 г. Москва

Пишу тебе из Москвы, любезный друг. Удивляюсь твоему молчанию. Я писал к тебе неоднократно и получил только строчку в Одессе. Здоров ли ты? Уведомь меня и пиши обо всем, что знаешь, что может быть мне приятно; пиши о себе. Не замедли отвечать на это письмо. Я еду в деревню завтра. Адресуй в Череповец. Там пробуду несколько дней, но и в это время весело получить от тебя грамотку. В начале октября, т. е. к 3 или 4, явлюсь к вам и буду стараться немедленно отправиться в Парфенону. Страшусь осени и зимы. Теперь предпринимаю путешествие утомительное, но без него не могу обойтись; надобно проститься с своими. Обнимаю тебя.

К. Б.

Н. П. РУМЯНЦЕВУ

19 октября 1818 г. ⟨Петербург⟩

Сиятельный граф, милостивый государь! Накануне отъезда моего в чужие краи осмеливаюсь писать к вашему сиятельству и напомнить вам о себе, как о человеке, который обязан вам вечною признательностью. Еще в недавнем времени одолжен я вам благосклонным приемом графа де Ланжерона, которому имел честь вручить письмо ваше. Он готов был снабдить меня рекомендательными письмами в Тавриду, где я намеревался прилежно заняться изысканием древностей, и если бы случай благоприятствовал, то доказал бы на деле мое усердие служить вашему сиятельству. Приближение осени и известие, что я определен к неаполитанской миссии, помешали мне посетить Крым, страну любопытную во всех от-

ношениях. В Одессе я имел случай видеть у г. Бларамберга, известного вам чиновника, редкий кабинет медалей, ваз, статуй, надписей из Ольвии, драгоценное собрание остатков древнего города, в одних руках и одним человеком составленное. Желательно, чтобы ваше сиятельство изволили потребовать у него подробный каталог всем его сокровищам: ручаюсь, что он заслужит внимание ваше. Я с моей стороны священным долгом почел уведомить вас о сем собрании, которое, легко может статься, перейдет в руки поляков или англичан, ибо г. Бларамберг, по напечатании каталога, намеревается продать свой кабинет. В бытность мою в Одессе его уже торговали.

Оставляя Россию, осмеливаюсь повторить вам, милостивый государь, что я исполню поручения ваши; и в Неаполе, и в окрестностях оного тщательно осмотрю монастыри, частные и публичные библиотеки, и если найду что-нибудь важное касательно истории нашего отечества, уведомлю вас; что могу, куплю и доставлю немедленно. Каждому россиянину сладостно трудиться для вас, покровителя наук, друга и добра и человечества, а мне, обязанному вам лично, еще более сладостно! Где бы я ни был, сохраню в памяти моей милости ваши: ни время, ни отдаление не истребят их из моего сердца.

Не угодно ли вашему сиятельству дать мне поручения в Рим и письмо к Канове? Я долгом поставлю себе навестить его и сказать ему, что видел статую Мира в святилище муз.

Не угодно ли будет дать мне другие поручения к известным вам людям? В первых числах ноября я отправляюсь прямо в Неаполь.

Заключу мое письмо поздравлением вас, милостивый государь, с счастливым прибытием вашего «Рюрика», и, пожелав от искреннего и простого сердца здравия и благоденствия, с глубочайшим почтением и признательностью пребуду, милостивый государь, вашего графского сиятельства покорнейший слуга

Константин Батюшков.

Октября 19, 1818
Петербург.

М. Ф. ОРЛОВУ

3 ноября 1818 г. Петербург

Милостивый государь, Михаил Федорович.

Вручитель сего письма Иван Сутира, грек из Македонии, известный по своим несчастьям, отправляется отсюда в отечество свое через Киев: осмеливаюсь просить ваше превосходительство не отказать ему в помощи и принять его в ваше особенное покровительство. Я мало знаком вам, милостивый государь, но вас знаю, знаю, что вы всегда готовы подать руку помощи бедному, какой бы земли он ни был, зная, что тот доставляет вам истинное удовольствие, кто подает вам случай совершить доброе дело.

Арзамас весь рассеялся по лицу земному; я сам послезавтра еду в Италию, но где бы мы ни были, сохраним в памяти сердца и ума величественный Рейн, лучшее украшение общества нашего. С глубоким почитанием имею честь быть

вашего превосходительства
покорнейший слуга
Константин Батюшков.

Петербург. Ноября 3. 1818

Ф. Н. ГЛИНКЕ

⟨Ноябрь 1818 г. Петербург⟩

Податель сей записки, уроженец из Мюнстера, попал к нам в плен с оружием в руках в 1812 году и отослан в Вологду. С тех пор очень мирно жил в деревне сестры моей. Ныне я хочу его взять с собой в Неаполь (он добрый и честный человек). Прошу вас покорнейше, почтенный Федор Николаевич, приказать ему выдать паспорт в канцелярии Главного или дать ему благой совет, как и к кому адресоваться. Завтра буду вас просить об этом лично, ибо вы будете кормить вашего покорнейшего слугу и телом и душою.

Константин Батюшков

Гнедич у меня: он обещал быть у вас непременно.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

30/18 декабря 1818 г. Вена.

Несколько раз сбирался я писать к вам, почтенная и любезная тетушка, но не имел случая, а отдавать письма на малых почтах городишек польских не хотелось: почты сии не весьма исправны, для проезжих особенно. Пишу теперь из Вены с верной оказией, через г. Фуссадье. На 24 день по выезде прибыл сюда благополучно, но зато дорогою настрадался. Коляска ломалась беспрестанно, наконец вовсе расстроилась: две рессоры, две дроги пополам, и я скелет ее оставил в Лемберге, а сюда потащился в бричке без рессор: посудите, в какой усталости. Покидая вас, мне было очень грустно. Дорога и время ненастное усиливали печальные мысли, которые бродили в голове моей. До Порхова ехал местами знакомыми ⟨...⟩ Покидать вас, друзей и отечество, право нелегко, даже и мне, вечному бродяге; я радуюсь, что сохранил в душе моей столько любви к тому, что любить должно, без того что было бы во мне? Мог ли расстаться с вами, с братом, которого с каждым днем люблю больше, и с Сашей без сильного чувства прискорбия? Неизвестность, когда, в какие времена и как возвращусь в отечество, печалила меня более всего. Не смею сказать, что мыслил на другой и на третий день отъезда моего, но дни сии печальнейшие в жизни моей, и я их долго, очень долго помнить буду. Товарищ мой догнал меня близ Порхова, и мы ехали до Лемберга. С ним ехать было веселее. В Лемберге я обедал у него, познакомился с женой его, которую можно назвать сокращением прелестей, и, отдохнув двое суток в хорошей гостинице, поскакал по мостовой мимо гор Галиции, покрытых снегом, но очень приятных для взора, особенно после нашей Белоруссии ⟨...⟩ земли печальной и негостеприимной. Близ Тешина в сумерки встретил я государя, на дороге, с малою свитою. Погода стояла холодная, но ясная. Только в окрестностях Вены настигла меня ужасная буря, метель, и в снежном вихре притащился в трактир белого быка, в комнату нетопленную. На другой день явился к Головкину и обедал у него. Он ласков, но имеет вид удивительно

важный и совершенно министерский. Из разговора видно, что читал много и много помнит. Граф Каподистриа принял меня comme une ancienne connaissance[1], по словам его. Два утра я сидел у него. Мне по крайней мере очень приятно быть с ним, даже весело смотреть на человека, которому я без малейшей заслуги с моей стороны столько обязан. Кажется, и он видит меня с удовольствием благородной души, которая умеет наслаждаться добрым делом. Он едет скоро в Италию; надеюсь или найти или встретить его там. Из речей его я заметил, что Карамзины ему говорили обо мне с желанием быть мне полезным, что очень мне было приятно. Он об них часто говорит и поручил напомнить о себе, а я вам поручаю это. Прибавьте, что я на край Европы уношу в сердце моем признательность к сему почтенному семейству, которому обязан лучшими минутами в жизни моей. Целую руку Катерины Андреевны и прошу не забывать меня всякий раз, что она молится за обеднею о странствующих. Здесь нашел русских: Малышева и Храповицких. Последние уже отправились в Италию. Сегодня бал, завтра бал, но я сижу дома. Утро брожу по городу и приготовляюсь к отъезду; ни денег, ни времени проживать не хочется. Путевые издержки меня разорили, и я вам очень обязан за червонцы, без них у меня не достало бы денег, я должен бы был прибегнуть к векселю, до которого не хочется прикасаться ранее Неаполя. Слугу переменю, возьму итальянца. Г. Головкин рекомендовал мне какого-то неаполитанца. Простите мне сии подробности. Вы не потребуете от меня описания Вены, а того только, что я делаю. Пусть Никита вам хвалит или бранит ее, я не скажу ни слова: до сих пор мало знаю и, кроме высокой готической церкви, ничего не заметил. Библиотека заперта, теперь праздники, а в ней много любопытного и, между прочим, рукопись Тассова, которую хотелось бы мне увидеть. Был в опере Танкред, оркестр удивительный, поют хорошо, но не так, как итальянцы. Здесь большие охотники до музыки: вся Вена поет, и на маленьком театре предместия какой-то актер мастерски передразнивал славную Каталанью.

[1] как старого знакомого *(фр.)*.

Смотрю на часы: полночь. Простите, до завтрашнего утра. Что-нибудь еще прибавлю. В трактире моем все уже спит, тишина глубокая, я устал, по локоть руку исписал сегодня.

Надеюсь, что вы послали ящик с книгами в Одессу на имя доктора Луи или Сенпри. Если еще не послали, то поспешите. Там находится между прочим в *бумагу завернутый Альбом, в котором мои замечания об Ольвии*, Никита знает это. *При этой книге план и, помнится, другие записки:* если можно, отправьте ко мне это особенно *с верной оказией, если не в Неаполь*, то по крайней мере в Рим, но в Петербурге никому читать не давайте неконченного маранья, и писем моих никому не читайте, кроме Александра Ивановича, но в руки ему никогда не давать! у него две огромные руки. Я пишу все, что на ум приходит, а у вас теперь в Питере всякую строку пересуживают. Чай, который вы мне дали на дорогу, пропал совершенно. Коляска обрушилась сквозь лед в Перепети, быстрой реке близ Мозыря, и все, что я не успел вынуть, обмокло и обледенело. Если будет оказия, то пришлите мне фунта два чаю. *У Греча спросите книгу, что он издает для училищ, «Лексикон русской Академии» у Петра Иван. Соколова*, которому от меня низкий поклон прошу отдать. Адрес-календарь не нужен, притом, думаю, за границу запрещено посылать такие книги. Все это отправить ⟨нрзб.⟩ весною, когда растают льды дыханием Фавона, как говорит Державин. Сестрам от меня поклонитесь, маленькую поручаю особенно в вашу благосклонность. Просите Дружинина уведомить меня о брате и перешлите известие ко мне. Здоров ли он? Алешу обнимаю и прошу учиться, а главное дело вести себя хорошо и с некоторою важностию, приличною благородному человеку. Напомните Олениным, скажите Ал. Никол., что исполню его поручение в Риме как только могу, с возможным усердием и точностию. Гнедича просите писать, ко мне, Жуковского обнимаю от всего сердца, а с ним и Плещеева. Михаила Сергеевича также, и прошу не забывать. Анне Ивановне скажите, что желаю ей здоровия и счастия, и всем домашним. Зачем не взял я Зору? Теперь-то жалею о ней. Вчера она мне приснилась: добрый знак, если снам верить.

Простите, буду писать из Венеции или Флоренции к вам, а к Никите из Рима, ибо он римлянин душою. Обнимаю его, Сашу, любезного друга, и целую руку вашу. Будьте здоровы, тетушка, вот моя единственная молитва перед богом. Берегите себя для детей ваших и для меня, если я вам немного дорог. Простите, лист кругом исписал, и время отправлять письмо.

Софье Евстафьевне и Павлу Львовичу мое усердное почитание. Письмо б. Бюхеру вручил и обедаю у него сегодня. Навещу его снова.

Если из Москвы есть ко мне посылки и вы не отправили их в Вену, то отправьте прямо в Неаполь через Фуссадье, но попросите его, чтобы отправил с верной оказией.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

24 мая 1819 г. Неаполь

Два письма ваши, почтенная и любезная тетушка, одно от марта 13 с г. Миллером, другое от 28 марта с г. курьером, имел удовольствие получить. Пользуюсь отъездом последнего, чтобы отвечать вам. Благодарю вас за приятные новости, благодарю за милости ваши сестрам и за то, что вы делаете для Юлии. Спокоен совершенно насчет ее, с тех пор, что она у вас. Но прошу, любезная и милая тетушка, устроить ее совершенно и на будущее время, отдав в монастырь, как вы намерены сделать. Это убежище верное, и надеюсь, что покровительства своего не лишит государыня, узнав, что вы ходатайствуете за сестер. Смею надеяться, что здоровье Александры Николаевны исправлено в доме вашем. Мое плохо: свидетель тому курьер г. Гоффруа, который навещал меня не однажды. Страдаю две недели простудою и сижу дома. Мы ожидаем сюда нового министра, а мне досадно и на этот раз. Хвораю. Надеюсь, что лето избавит меня от этой простуды, а бани теплые в Искии с купаниями в морской воде на прохладном берегу Кастель-Амаро укрепят меня немного. Благодарю вас за известие о Павле Львовиче. Скажите ему, что душевно его и тетушку поздравляю и желаю ему дальнейшего успеха. Столь долговременная служба, бес-

порочная и усердная, заслуживает внимания государя и награды. Г. Гоффруа не привез мне тысячи рублей, о которых изволите писать. Я не имею нужды в деньгах нимало. Но просил вас от Ливио кредитива на шесть тысяч рублей на дом здешнего банкира Фалконета. Сии деньги вы изволите захватить из доходов моих, начиная с будущего сентября по 1 марта следующего года. В сентябре получит он 3000, в марте столько же. Я просил и желал сего кредитива для того, чтобы в случае нужды иметь всегда деньги. Нельзя предвидеть обстоятельств. Может быть, принужден буду по службе ехать или сделать издержки необыкновенные. Вот зачем желал кредитива, который вам отпустит Ливио без сомнения. Здесь я мало-помалу устроился. Но как ни ограничиваю издержки, не могу жить иначе, как проживая в месяц 150 дукатов или сереб. рублей, не считая платья. Нанял прекрасные комнаты у добрых людей французов с мебелями и со всем, что нужно, в виду моря, но на таком месте шумном, что насилу могу спать. Говорят, что к шуму можно приучиться, поверю, когда привыкну. Забыл еще сказать вам, говоря о деньгах, чтобы вы, любезная тетушка, никогда их с курьерами или путешественниками не посылали. Их могут ограбить, что весьма часто бывает. Лучше посылать чрез банкира, он отвечает за всю сумму. Так делали все иностранцы. Приношу вам мою душевную признательность за взнос процентов в ломбард. По истечении года посылать прошу мне ваш счет моим издержкам в России, чем меня вы обяжете. Не имея многого, я должен приучить себя к некоторому порядку в делах. Верющее письмо на продажу имения сохраните у себя. Жаль мне моих добрых крестьян, сохраню их доколе могу и без нужды не решусь продать. Но прошу уведомить, если будут покупщики. Сестра пишет, что дела по опеке идут исправно, но мне жалко и досадно, что не удовлетворены должники покойного батюшки, и я не вижу надежды, чтоб удовлетворились. Сохранить для детей имение мало, надобно сохранить и доброе имя: этого требует справедливость и даже самый здравый рассудок. Уведомьте г-жу Панину, что я живу под одной крышей с сестрой ее Давыдовой и вижусь с ней часто. Она меня ласкает. Здесь было много русских, Ворон-

цовы, Щербатовы. Последних видел каждый день. Г. Головкин отъезжает в Рим. Ожидали г. Каподистриа, но бог знает, проедет ли он через Неаполь. Для императора здесь были даны великолепные праздники. На одном из них я великолепно простудился. Желал от вас других известий, но, видно, желаниям моим не сбываться. Напрасно не решились вы путешествовать по России с братом. Ваше здоровье, милая тетушка, требует некоторых пожертвований от брата и от вас самих. Он же, я знаю, всегда готов последовать желанию вашему, следственно вам с ним надобно бы было пожелать оставить Петербург на некоторое время. Надеюсь, по крайней мере, что вы переедете на дачу на лето. Знаю, сколько один воздух вам полезен бывает. Что делает мой Саша и помнит ли он меня. Заставьте его написать ко мне хоть раз. Скажите Олениным, что здесь был Петр Алексеевич, он поздоровел, и бодр, и весел, но они лучше сделают, если не отзовут его прежде будущей весны. В Марселе у Дамаса ему хорошо, а один воздух ему полезнее всяких лекарств. Тем более нужно ему остаться, что он, по словам всех русских, слишком рано во Флоренции ⟨три сл. нрзб.⟩ Недавно он на хорошем судне отправился во Францию, а здесь влюбился он в какую-то неаполитанку, которая ему подарила кольцо, о чем я долгом поставляю им отрапортовать. К Алексею Николаевичу буду писать с первой оказией. Сегодня не время. Курьер отправляется скоро, и я даже принужден кончить это ранее, нежели хотел.

Г. Гнедичу прошу от меня усердно покланяться и всем домашним, особенно Анне Ивановне и Сереже. Сестре А. Н. не успею написать сегодня, но скажите ей, почтенная тетушка, что я ее усердно обнимаю и Юленьку также, которую поручаю в вашу благосклонность. Радуюсь душевно, что маленького брата, по желанию моему, перевезли к сестре. Ему там будет лучше без сомнения, а я за него спокойнее. Благодарю Никиту за короткое его письмо в слоге Тацитовом. Он забывает, что я уже не в Риме и ко мне можно писать пространнее и с длинными периодами. Сожалею, что не могу послать теперь то, что для него приготовил, и благодарю за манускрипт об Ольвии, которым я, однако ж, теперь не воспользуюсь, давно

отстал от этого предмета. Душевно обнимаю милого брата и прошу его не забывать меня на краю Европы. С Храповицкой намереваюсь писать к нему. Просите его, чтоб он мне выслал Броневского и Свиньина об Италии, лексикон русский Академии нашей и книгу Гречеву для училищ. Последнее мне также очень нужно. Взамен я пришлю ему двадцать варьяций извержения Везувия.

Константин.

Зорку обнимаю, Барону свидетельствую свое почтение, Зойке мой душевный поклон.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

20 июня 1819 г. Неаполь

Между тем, как Неаполь беспрестанно пустеет, иностранцы разъезжаются, и солнце становится нестерпимо, я хвораю, любезная тетушка, три недели сидел между четырех стен с раздутым горлом и имел время думать о вас. К нам приехал новый министр, граф Стакельберг, принял меня учтиво и ласково и дал позволение отправиться в Искию пользоваться банями или теплицами. Туда же едет и ген. Храповицкий с семейством, добрые и ласковые люди, оттуда я на Кастель-Амаро переееду на три недели пить воды железные, если это все не поможет, то вооружусь Виргилием и по следам его стану отыскивать поля Элисейские, которые у нас в виду. Прах мой будет покоиться под тенями дерев озера Фугарнского, обильного устрицами. По голубым водам его некогда станет разъезжать войнолюбивый Никита и при сиянии утреннего солнца увидит высокий курган. Сердце его забьется сильнее. Лодка его приблизится к берегу, с благоговением он вступит на оный. Не устрашит его ни серный запах, ни змей шипящий в глухой траве, ибо сердце его не знает иного страха, кроме страха *испугаться*. Он увидит вблизи курган, составленный из черепков устриц, достойный памятник покойному. Под сими черепками найдет урну простую, на ней изваяние лиры, меча и тулупа, мои обыкновенные эмблемы. Сердце его погрузится в уны-

ние несказанное, слезы потекут ручьями из черных очей, потупленных в землю. Он будет плакать с позволения Гомера, Виргилия, Тассо и самого Лукана, ибо их герои плакали, и в воспоминаниях мог бы поедать устриц, ибо герои древние питались оными, и паче всех философ на пустынном Лемно́се. Покойся в мире или с миром, прах милого брата, воскликнет он, удалясь от сего памятника, и эхо пустынного озера трижды (ибо всегда в Эпических поэмах Эхо повторяет три раза одни слова), трижды повторит: покойся с миром, с миром под сими устрицами. Но когда же это случится? После дождика в четверг. Я вылечусь в Искии совершенно. Так уверяют меня жители Парасиолы и мой лекарь, а когда не верить им, то верить ли кому.

Теперь поговорим о деле. 〈...〉 Вы видите, какие успехи я делаю в Неаполе. Верьте, что ворочусь отсюда ученым, грамотным и, может быть, здоровым. Гальяни боялся здесь поглупеть. Прочитайте, что он говорит о скуке, царствовавшей в Неаполе в его время. Теперь все переменилось, даже климат. Бывало грустно мне, но скучно не бывало до сего времени. Не едут мои книги из Одессы. Когда-то приедут, бог весть, вот отчего иногда скучно. Грустно бывает, ибо далеко жить от вас, редко получать письма, не знать, что вы делаете, здоровы ли вы, Никита, Саша, сестры, маленький брат и все друзья и добрые люди, это грустно, грустно, грустно, вы согласитесь со мной, что это не весело. Притом же со мной спорить не можно, car j'ai l'honneur d'etre toujours d'un avis different avec seux, qui me font pas l'honneur de me parler[1]. Это заметили и здесь многие люди. Я знаю, что я не всегда прав, но знаю и то, что все ошибаются, начиная с Николая Михайловича, который очень часто сбивается с логической прямой линии. Сам Никита ваш иногда городит такую чепуху, что слушать больно. Кто ж не ошибается? Не знаю. Я, например, когда говорю вам, что вас люблю, милая тетушка, больше всего на свете. Заставьте Лизавету Николаевну уведомить меня о брате, которого я, если бог даст, отдам или Феленбургу, или аббату Николи, это пусть останется между

---

[1] поскольку я имею честь никогда не соглашаться с теми, кто не удостаивает меня чести со мной разговаривать *(фр.)*.

нами. Дай бог, чтобы он был здоров, и дела его по опеке не захворали. Что с Юлией сделали? Я спокоен на ее счет, боюсь только, чтоб она вам не наскучила. Очень обнимаю Сашу, Никиточку, целую и сестер, вашу ручку лобызаю. Любите меня, я стою того, я очень любезен, вы это знаете. Пришлите мне путешествия Свиньина и Броневского и новый российский словарь. Простите еще раз.

К. Б.

Где Северин, уведомьте меня, и что Тургенев делает? Он забыл меня. Бога ради, просите сестру, чтобы она заставила учиться грамоте Евстифея, если он будет вести себя хорошо, я возьму его, когда можно будет, с собою. Ils ne sont pas jamais different de la jeunesse[1]. Я писал с курьером Жоффруа к вам, к Карамзиным, к Гнедичу, к сестрам, к Фуссадье, к Давыдову, к Сен-При. Получили ли эти письма?

У нас дожди, холод, ветер, прошу завидовать климату.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

1 июля 1819 г. Неаполь

Вчерашний день, то есть 30 июня, я получил, милая тетушка, письмо от г. Ливио, коим он уведомляет меня, что вы изволили ему дать тысячу р. для пересылки ко мне. ⟨...⟩ Болезнь меня немного расстроила и влечет за собой новые издержки, неприятные разумеется. На днях я покидаю Неаполь и еду в Искию, остров насупротив Мизимы, к северу от Неаполя. Там буду пользоваться теплыми водами, которые, говорят, иным очень вредны, иным очень полезны от ревматизмов. Здешние лекаря не большие охотники до этих вод, но я не охотник до здешних лекарей, между которыми мало сведущих и честных. Там генерал Храповицкий с женой, и туда же отправляются многие путешественники и искатели здоровья. Из числа последних аз есмь. Впрочем, Иския жилище печальное; почти без тени, без прохлады, опалена солнцем и обвеяна *Широком*, ветром полуденным, коего боятся неаполитанцы, как мы выборгского ветра

[1] Они всегда такие же, как в молодости *(фр.)*.

летом. Он сильно действует на нервы, раздражает их и тревожит. Неаполь добыча всех ветров, и потому иногда бывает неприятен, особливо для новоприезжающих. До сих пор не могу привыкнуть к здешнему шуму, тем более, что я живу на стороне города самой шумной, на краю S. Lucia у ног моих вечная ярмонка, стук, и вопли, и крики, а в полдень (когда все улицы здесь пустые, как у нас в полночь) плещут волны и ветер. Напротив меня множество трактиров и купанья морские. На улице едят и пьют, как у вас на Крестовском, с тою только разницею, что если сложить шум всего Петербурга с шумом всей Москвы, то и тут еще это ничего в сравнении со здешним. Чувствую, что вам бы это не понравилось ниже́ Никите. Но я не могу разделаться с этим местом, первое потому, что хозяйка француженка, комнаты мои веселы и чисты, и я один шаг от Сан-Карло (Сан-Карло есть скучнейший театр в целом мире), необходимого для меня. От меня близок Толедо, здешний Невский проспект, все лавки, дворец и гулянье. Сии выгоды заставляют меня предпочесть шум другим невыгодам. Где-то вы, моя тетушка, провели лето, с кем и как? В Петербурге или на даче? Как часто думаю о вас. Верно чаще, чем вы обо мне. В Неаполе, говорят, весело. Я давно веселья не знаю и в глаза. Одно удовольствие — книги. Но чтение меня утомляет, я уже не имею того внимания, с каким в старину мог читать даже и глупости. Осталась во мне еще какая-то жажда все знать, жажда, которую не в силах утолить. Все меня мучит, даже мое закоренелое невежество. Сколько времени потерянного! Но вечера здесь для меня очень бывают скучны. Общество здесь не по мне вовсе. Не с кем обменяться мыслями, не только чувствами. Иностранцы говорят о Везувии, здешние жители о Сан-Карло, Корси. Здесь не любят с жаром искусства, науки, но все веселы, бегают, кричат, поют. И это имеет свою прелесть. Всякий счастлив по-своему и всякий до черного дня наслаждается: они правы. Обнимаю милого брата Никиту, который, кажется, меня вовсе забыл: не пишет ни строчки. С первой оказией пошлю ему Везувий с дымом. Жаль, что не могу послать землетрясения. У нас тут недавно было: близ Мессины в Сорренто. Земля зевнула ужасным образом: это бы ему очень понра-

вилось, не правда ли, милая тетушка: он любит все необыкновенное. Милого Сашу обнимаю от всего сердца и прошу меня любить очень много, как я его люблю. Здорова ли сестра Александра Николаевна и у вас ли еще, любезная тетушка, я желал бы знать, что она у вас. Что сделали вы с Юлией, уведомьте меня и, бога ради, пишите ко мне чаще. Одно утешение, одно живое удовольствие — получать от вас письма и писать к вам. Кажется, я пишу часто, даже боюсь наскучить вам моими письмами. Целую ручку вашу и прошу еще раз не забывать преданного вам *Константина.*

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

Осень 1819 г. Неаполь

Я немного замедлил отвечать вам на письмо ваше, любезная тетушка, от 8 мая, писанное накануне вашего отъезда. Знаю, что вы благополучно прибыли в Одессу, ибо г. Сен-При меня об этом уведомил, но теперь еще нахожусь в некотором беспокойствии об остальном путешествии вашем и возвратном пути в Петербург в осеннее время. Желаю душевно, чтобы время вам благоприятствовало: впрочем, надеюсь, что вам не было скучно и вы были в каретах ваших как дома. Радуюсь душевно, что вы, наконец, предприняли путешествие, и уверен, что перемена воздуха, земель и образа жизни будет вам полезнее лекарств и советов Симсона. Сколько должен вас благодарить за попечение ваше о сестрах, за то, что вы, милая тетушка, сделали для Юлии. Я теперь совершенно спокоен, когда об ней помышляю, она в убежище. Положение маленького брата меня часто сокрушает. Не думаю, чтоб ему было очень хорошо в его пансионе, и не знаю, что придумать для него лучше ⟨...⟩ Я уверен, что путешествие было полезно Александре Николаевне, и желаю душевно для нее, чтобы она у вас прожила подолее, если присутствие ее вам может быть приятно. Нет человека, который бы вам столько был предан, сколько она, и который бы чувствовал столь сильно и глубоко все, что делаете вы и для нее и для всех

вообще. О себе вам скажу, почтенная тетушка, что я возвратился из Искии в Неаполь. Здоровье мое поправилось после минеральных бань, и желаю только, чтобы это продолжалось. Я уже писал к вам о прибытии нашего нового министра, который ко мне довольно благосклонен и хорошо расположен, по-видимому. Я, с моей стороны, ничего не могу упустить, чтобы заслужить его уважение для меня лестное. Теперь за отсутствием моего товарища он иногда заставляет меня работать. Впрочем, Неаполь, к которому я мало-помалу привыкаю, точно таков, каким я его оставил. Еще балы не начались и даже театры по случаю поста в память св. Януария были заперты. Их заменили концерты, которые не всегда удачны. Поверите ли, что здесь, в отечестве музыки, перевелись хорошие голоса. Может быть, потому что обширный театр С. Карло их в скором времени разоряет. Я уже уведомил вас из Искии, что получил за 3000 р., отправленных вами чрез Ливио, 3000 франков. 〈...〉 Я теперь вовсе не нуждаюсь в деньгах и прошу вас, почтенная тетушка, пересылать ко мне один оброк, а не из вашего кошелька. Если бы имел нужду, то прибегнул бы к вам без стыда, ибо, кроме вас, кто мне поможет, но теперь богат, и мой доход с жалованьем весьма достаточны для моих умеренных расходов, не превышающих в течение года моих доходов. Если б я был здоров, то был бы еще богаче: часто принужден тратить деньги на лекарства и на лекарей, которые здесь очень похожи на Мольеровых. Кстати, о Мольере, я становлюсь похож на мещанина во дворянстве: у меня два учителя, один набивает мне в голову латынь, другой учит по-итальянски; успехи мои медленны, как вы сами посудить можете, но это меня не пугает. Сделайте одолжение, скажите А. Н. Оленину, что его Щедрин живет у меня и колотит деньгу, что ведет себя прекрасно и, наперекор русским художникам, *довольно прилежен,* но недовольно любопытен и деятелен. Вы видите, я говорю правду президенту, и доброе и худое. Князь Голицын ему заказал две картины, граф Стакельберг заказывает еще две. Теперь начинает он писать для великого князя и только что кончил вид на набережную S. Lucia, любимое место лазаро-

нов. Картины его хороши, но еще далеки от того совершенства, до коего он со временем достигнет, ибо в нем есть талант. Надеюсь, что картины для великого князя будут лучшие, ибо он теперь получил более навыки и понимает красоты Неаполя, красоты единственные, ибо нет в мире города прелестнее нашего — по местоположению. Прошу сообщить это А. Н. при засвидетельствовании моего усердного почтения. Но пожалейте обо мне. Книги мои, бедные книги до сих пор не едут, даже в Одессу не явились еще. Мой красный портфель с ними странствует. У меня, кроме библии, ни одной книги русской нет — даже нет сочинений М. Н. Пришлите их, когда выйдут из печати. К. А. Карамзиной я отправил шляпу и надеюсь, что она ее получила от Храповицкой. Но до сих пор не могу найти удобный случай переслать собрание видов неаполитанских, на которые я потратил много денег без пользы. Я их назначал Никите, а они лежат в моем столике. Скажите брату, что я писал к нему с Бергом, его товарищем, с ним же отправил письмо к Павлу Львовичу и Дружинину, которого вы, без сомнения, видели в Москве. Уведомьте меня, как поживает И. М. в деревне своей. Я надеюсь, что вы меня иногда вспоминаете. Как вы счастливы, думаю иногда, будучи окружены людьми, которые вам столько обязаны, которые вас любят, но вы не чувствуете вашего благополучия. Привычка обрезывает крылья у наслаждения. Прошу усерднейше обнять Сашу, который выше меня головою. К Никите писал. Целую ручку вашу сто раз и прошу ее немедленно отвечать на это письмо аргументально. Простите. Кончу письмо в самую полночь.

К. Б.

Сделайте милость, вышлите А. И. Тургеневу немедленно 25 рублей, которые я просил его вручить С. А. Храповицкой за покупку во Флоренции шляпки К. А. Карамзиной. Оброк 3000 рублей и еще 500 от И. С. Батюшкова прошу удержать у себя, милая тетушка, за деньги, которые мне переслали. Надеюсь, что вы их уже получили от моего старосты деревенского. Уведомьте меня, прошу вас.

P. S. Сию минуту получил чрез г. Италинского известие о кончине Давыдовой. Потеря важная для семейства и г. Орлова. Я, с моей стороны, о ней искренне жалею.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

3 февраля 1820 г. Неаполь

Сегодня я буду писать к вам очень коротко, почтенная тетушка, и просить единственно о том, чтобы вы приказали отнести приложенное при сем письмо к г. Фуссадье. В прошедших письмах я говорил вам о моих делах, сегодня к этому ничего не прибавлю, кроме старого желания получать от вас чаще известия. У нас ничего нет нового, кроме карнавалу, трехсуточной лихорадки. Я, слава богу, здоров, и это меня веселит более всего. Недавно отправился отсюда корабль купеческий английский Success, капитан Strand, с вином: на него я велел поставить две бочки вина Lacrima du Mont de Prada. Мои банкиры Falconet et comp. адресовали его Ливио, который должен доставить вам одну из сих бочек. Прошу вас усерднейше заплатить г. Ливио транспортные деньги, что он потребует за обе бочки. Вычтите из моих 3000, которые прошу доставить в свое время, адресуя на дом Фалконета, как я писал неоднократно. Надеюсь, что вино будет исправно доставлено, и потому хорошо. Впрочем, это первое испытание. Многие уверяют меня, что здешние вина не выдерживают моря. Полагаю, что они не выдерживают морской воды, которую вливают в бочку матросы, выпив вино. Воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доставить виды Неаполя, которые запылились у меня. До сих пор не было оказии, и брат должен еще потерпеть. Прошу усерднейше его обнять и Сашу. Что делает сестра, у вас ли она? Прошу ей поклониться. Простите, милая тетушка, до следующего письма.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

13 января 1821 г. Рим

Вы, без сомнения, почтенная тетушка, извините мое молчание, зная, что у меня не много свободного времени. Однако же я не всегда молчал: может быть, письма мои, отправленные по почте, терялись. Это поручено верному человеку.

Я переведен из Неаполя в Рим и был бы очень доволен моим положением, как доволен моим новым начальником, если бы здоровье мое исправилось. Но дурное его состояние мне докучает необыкновенным образом. Надеюсь, что ваше здоровье соответствует моим искренним желаниям. Пекитесь о нем для детей ваших, в число коих себя смело включаю. Не думайте, чтобы время хотя мало изменило мою к вам преданность, основанную на всех чувствах души. Уверьте брата, что я никогда не изменюсь. Скажите ему, что я желаю его видеть благополучным и достойным его почтенного родителя, в совершенном смысле. Сашу обнимаю также. Начал ли он служить; и скоро ли брат начнет, после отставки. Милого малютку в Москве бога ради не забудьте. Здоров ли он? Каков его пенсион? Имеет ли он все нужное? Уведомьте меня при случае. Еще просьба усерднейшая. Не замедлите доставить мне через посредство г. Фуссадье (которому я очень обязан) 3000 р., из моих деревень вам снова присланные. Мне деньги становятся очень нужны, и перемещение из города в город при настоящей дороговизне требовало издержек.— Но прошу вас, отпишите Павлу Алексеевичу, что я с горестью увидел из письма его, что он хочет наложить еще оброк. Зачем? Разве нельзя принять других мер для заплаты небольшого долга в ломбарде? Скажите ему, что я желаю, чтобы на крестьян моих в отсутствии моем ничего не налагали, и сам к нему и к ним об этом писать буду. Просите лучше моего племянника, чтобы он вел себя лучше у г. Кавелина и прилежнее занимался своей латынью и греческим языком. Кончу мое письмо, пожелав вам душевно всех благ и поруча себя снова вашей дружбе, верной, постоянной и снисходительной, достойной вашего сердца.

К. Б.

P. S. О наших новостях вы знаете из газет. Мне эта глупая революция очень надоела. Пора быть умным, то есть покойным. Здесь множество русских и между прочими к⟨нягиня⟩ Зенеида, вам знакомая. Здесь также г. Толстой-Остерман.

В. Д. ОЛСУФЬЕВУ

9 октября 1821 г. Дрезден

Письмо ваше из Вены я имел удовольствие получить, любезнейший Василий Дмитриевич, и теперь пользуюсь отъездом г. Лаптева, чтобы принесть вам мою искреннюю признательность за покупку венской коляски. Она прибыла в Теплиц, и я в ней приехал в Дрезден. Надеюсь, что благополучно довезет меня и во Францию, куда намерен отправиться на зиму. Здесь отдыхаю от ванн в ожидании денег и писем из Петербурга. Но какой отдых?! Я окружен лекарем, хирургом, шпанскими мухами и целой аптекой. Климат здешний немногим лучше петербургского; дожди беспрестанные и солнца не видим. Я был в Праге три недели по отъезде вашем и сожалел душевно, что ванны препятствовали мне быть с вами во время пребывания высокого путешественника, которому, прошу вас покорнейше, при случае принесть новое свидетельство моей признательности и преданности неограниченной. Милостивой Г. Г., вашей матушке, сестрице и брату прошу напомнить и сохранить мне доброе место в вашей памяти.

Весь ваш *К. Батюшков.*

200 гульденов нашел в письме исправно. Надеюсь, что вы отдадите скоро Г.— письмо, которое вам вручил, и не забудете моей просьбы о брате. При случае пишите в Дрезден на мое имя чрез посольство... Письма отсюда мне доставят исправно.

Е. Ф. МУРАВЬЕВОЙ

26/14 декабря 1821 г. Дрезден

Я замедлил отвечать на последнее письмо ваше, почтеннейшая тетушка, признаюсь в моей вине, которой нелегко найти законную отговорку. Здесь целый день, могу сказать, мой, ибо и с соотечественниками вижусь очень редко. После искреннего признания надеюсь, что вы не протолкуете мое молчание в дурную сторону. Молчу ли, пишу ли, я все тот же в отношении к вам, и никто этого больше вас знать не может. Приношу душевные поздравления с наступающим Новым годом, желаю, чтобы он для вас наполнен был благополучия. Сожалею от всего сердца, что братец не с вами, но, с другой стороны, признаюсь вам, что несказанно обрадовался о вступлении Никиты в службу. Я ему всегда советовал или путешествовать для поправки своего здоровья, или служить. Надеюсь, что нынешний раз будет счастливее по крайней мере. Очень бы хотелось увидеть Сашу в колете. Доживу ли до этого благополучия, и скоро ли он будет офицером? Сказать вам, мне давно хочется воротиться в Россию. Поздравьте П. Л. от меня с Новым годом и С. А. также. Первого с новым званием, а Н. М. и всем прочим попеняйте, что меня забыли en faveur de mon Sosie[1]. Вексель на 3000 я получил. Вышлите другой на ту же сумму по присылке из деревень. Может быть, меня найдете еще в Дрездене. Впрочем, банкир Бассенги доставит мне его исправно. Отпишите от меня П. Ал. Шип⟨илову⟩, чтобы он сбавил то, что без моего позволения наложил на деревню. Мне это усердие неприятно, хотя в этом и вижу новый знак его дружбы. Поклонитесь от меня collectivement[2] моим сестрам. Благодарю вас искренне за новости, которыми удостоили. Не могу платить той же монетою, ибо я никого почти не вижу и ничего не знаю. Кроме того, что мое здоровье во всех отношениях не исправляется. Молю провидение, чтобы ваше было

---

[1] ради моего двойника *(фр.)*.
[2] всем вместе *(фр.)*.

в хорошем состоянии. Прошу вас, сохраните меня в памяти вашей и будьте уверены в чувстве моей неограниченной преданности навсегда и везде равной. Весь ваш

Константин.

Получили ли вы чрез Уткина мои посылки? И что Юлия моя делает? Je commence a me reconsilier avec son nom, et je desire bien sincerement, que sa figure et son esprit pour le moment n'aillent pas jurer avec le titre[1].

Пишите, бога ради, Дружинину о брате. Простите великодушно мои просьбы, если они беспокойны, по крайней мере, очень редки. В этом случае я желал бы, чтобы на меня многие были похожи.

Если можно, пришлите мне в январе мой доход за текущую половину ⟨...⟩

---

[1] Я начинаю примиряться с ее именем и искренне желаю, чтобы ее облик и дух с ним гармонировали *(фр.)*.

КОММЕНТАРИИ

Единственным изданием сочинений К. Н. Батюшкова, в подготовке которого успел принять участие сам поэт, являются «Опыты в стихах и прозе», ч. 1—2. Пб., 1817 (ч. 1— проза, ч. 2— стихи). Батюшкову принадлежит общий план сборника; распределение материала по жанровым рубрикам осуществлялось издателем «Опытов» Н. И. Гнедичем и корректировалось автором. В 1820—1821 гг. Батюшков работал над подготовкой нового издания стихотворений: он внес в текст собственного экземпляра «Опытов» стилистические исправления, некоторые произведения вычеркнул, наметил для включения в сборник ряд недавно написанных произведений. Однако намерению писателя не суждено было осуществиться: вышедшие в 1834 г. «Сочинения в прозе и стихах» (Пб., ч. 1—2) были подготовлены уже без какого-либо участия поэта, впавшего в душевное расстройство. Первое научное издание произведений Батюшкова — «Сочинения» под ред. Л. Н. Майкова, с прим. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова (т. 1—3, Пб., 1885—1887). Несмотря на устаревшие эдиционные приемы и текстологическое несовершенство, это образцовое для своего времени издание сохраняет значение ценного источника по сей день — главным образом благодаря большой полноте и содержательным комментариям. Среди лучших советских изданий в первую очередь должны быть названы «Сочинения» под ред. Д. Д. Благого (М. — Л., 1934), включавшие все известные в ту пору стихи (с вариантами), избранную прозу и несколько писем Батюшкова. Благой исправил многочисленные ошибки майковского собрания, установил новые, более авторитетные источники текста, пополнил корпус стихотворений. Очень содержательны комментарии к то́му (особенно текстологические). Заслуживает быть упомянутым и компактное издание «Стихотворений» под ред. Б. В. Томашевского (Л., 1948), охватывавшее лишь избранные произведения, но отличавшееся высоким эдиционным уровнем и лаконично-отточенными примечаниями; вступительная статья к нему давно сделалась советской литературоведческой классикой. В настоящее время наиболее полно поэтическое наследие Батюшкова представлено в «Полном собрании стихотворений» под ред. Н. В. Фридмана (М. — Л., 1964; Б-ка поэта. Большая серия): стихотворения расположены составителем в хро-

нологической последовательности, учтены поправки Батюшкова в «Опытах», добавлены новые тексты (ранее публиковавшиеся Н. В. Фридманом в научной печати), выборочно приведены варианты. В 1977 году в академической серии «Литературные памятники» (М.) вышли «Опыты в стихах и прозе», подготовленные И. М. Семенко. В них полностью воспроизведена структура издания 1817 г.; в «Дополнениях» помещены другие прозаические и стихотворные тексты; комментарии отмечены вниманием к художественным особенностям произведений Батюшкова. Высоким текстологическим уровнем характеризуются «Сочинения», подготовленные В. В. Гурой и В. А. Кошелевым (Архангельск, 1979): здесь тексты проверены и уточнены по рукописям; пополнены новыми произведениями как стихотворный, так и прозаический отделы.

Настоящее издание, имеющее популярный характер, ставит своей целью познакомить широкого читателя с наиболее ценной частью наследия Батюшкова. В нем представлены почти все завершенные стихотворения, программно-эстетические статьи, записные книжки и избранные письма. Стихотворения печатаются в основном по «Полному собранию стихотворений» под ред. Н. В. Фридмана, за следующими исключениями: тексты элегий «Гезиод и Омир — соперники» и «Умирающий Тасс» (с авторскими примечаниями) печатаются по академическому изданию «Опытов» под ред. И. М. Семенко; стихотворения «На крыльях улетают годы...» и «Приближьтесь, музы, и цветами...» — по «Сочинениям» 1979 г., подготовленным В. А. Кошелевым; сатирическое стихотворение «Певец в Беседе славеноруссов» — по списку из архива Олениных, предоставленному в распоряжение составителей О. А. Проскуриным. Проза печатается по «Опытам» под ред. И. М. Семенко. О текстах записных книжек и писем см. примечания к ним.

Составителями принят следующий порядок в расположении материала: сначала публикуются стихотворения, вошедшие в «Опыты» (с сохранением композиции 2-й части этого издания), затем — стихотворения, по тем или иным причинам в «Опыты» не включенные. Они располагаются в хронологической последовательности (следует помнить, что датировка ряда стихотворений Батюшкова условна). При публикации статей сохраняется последовательность их расположения в «Опытах». Записные книжки и письма печатаются в хронологическом порядке. Стихотворные вставки в дружеские письма в особый отдел не выделяются и публикуются в составе эпистолярного корпуса.

В комментариях содержатся справки о первых публикациях, краткие историко-литературные и реальные пояснения, а также мотивируются уточнения традиционных датировок некоторых произведений. Сведения о лицах, мифологических персонажах и названиях, упоминаемых Батюшковым, даны в специальных словарях.

В комментариях приняты следующие сокращения:

ВЕ — «Вестник Европы».

ДВ — «Драматический вестник».

ЖРС — «Журнал российской словесности».

Изд. 1834 — Сочинения в прозе и стихах, ч. 1—2. Пб., 1834.

ЛС — «Любитель словесности».

НРЛ — «Новости русской литературы».

Оп. — Опыты в стихах и прозе, ч. 1—2. Пб., 1817.

ПЗ — «Полярная звезда».
ПРП — «Пантеон русской поэзии», ч. 1—3. Пб., 1814; ч. 4—6. Пб., 1815.
РА — «Русский архив».
РВ — «Русский вестник».
РМ — «Российский музеум».
РС — «Русская старина».
СВ — «Северный вестник».
СО — «Сын отечества».
СОСП — «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. 1—3. Пб., 1815; ч. 4—5, Пб., 1816.
Соч.— Сочинения (под ред. Л. Н. Майкова), т. 1—3. Пб., 1885—1887.
Соч. 1934 — Сочинения (под ред. Д. Д. Благого). М.— Л., 1934.
Соч. 1979 — Сочинения (подготовка текста В. В. Гуры и В. А. Кошелева). Архангельск, 1979.
СПВ — «Санкт-Петербургский вестник».
СРС — «Собрание русских стихотворений».
СЦ — «Северные цветы».
Цв. — «Цветник».

СТИХОТВОРЕНИЯ,

вошедшие в книгу «Опыты в стихах и прозе»

ЭЛЕГИИ

К друзьям (с. 23).— Оп. В рукописи посвящено Д. Н. Блудову. *Журнал* — дневник.

Надежда (с. 24).— Оп. Четыре начальных стиха и строки «Кто вел меня от юных дней // К добру стезею потаенной» подсказаны стих. В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов». Стих. использует ряд мотивов второй части «Канцоньере» Ф. Петрарки.

На развалинах замка в Швеции (с. 25).— ПРП, ч. 2, Пб., 1814. Вольный пер. «Элегии на развалинах старого горного замка» Фр. Маттисона. Стих. отражает впечатление Батюшкова от пребывания в Швеции в июне 1814 г. *Нейстрия* — западная часть средневековой империи франков. *Альбион* — древнее название Англии. *Скальды* — поэты и певцы в древней Скандинавии. *Дубы в пламени* — имеется в виду ритуальное возжигание дубов во время древнескандинавских празднеств. *Руны* — древнейшие скандинавские письмена.

Элегия из Тибулла (с. 28).— ПРП, ч. 4, Пб., 1815. О датировке стих. см. ком. к стих. «Вакханка» (с. 470). Вольный пер. 3 элегии 1 книги стихотворений Тибулла. *Феакия* — древнее название острова Корфу. *Миро* — благовонное вещество, атрибут рим. похоронного ритуала... *Делия* — поэтическое имя возлюбленной Тибулла. ... *день... Сатурну посвященный* — сатурналии, ежегодные празднества в древнем Риме. *Фарийских* — египетских. *Рало* — плуг. *Сидонский багрец* — густая красная краска, производившаяся в финикийском городе Сидоне. *Нард* — растение, из которого делали благовонные вещества. *Киннамон* — ароматическое растение (корица).

Воспоминание (с. 32).— ВЕ, 1809, № 21. В «Опыты» вошло лишь начало стихотворения. Его полный текст см. с. 178. *Гейльсбергски поля.*— Под Гейльсбергом, на берегах реки *Аль*, 29 мая 1807 г. произошло сражение русских войск с Наполеоном, в котором Батюшков был тяжело ранен. *Богиню быстроногу...*— имеется в виду Немезида.

Воспоминания. Отрывок (с. 33).— Оп. Отрывок большого стихотворения «Элегия» (полный текст см. на с. 214. Речь

в стих. идет о неразделенной любви Батюшкова к А. Ф. Фурман. *Туда влечет меня осиротелый гений...* — Т. е. в небытие. *Как лотос... врачевали...* — по греч. мифологии, отведавший цветок лотоса забывал прошлое. *Жувизи* (Жювизи) — замок вблизи Парижа. *Сейна* (Сена) — река в Париже. *Столица роскоши* — Париж. *Ричмон* (Ричмонд) — город вблизи Лондона. В 1814 г. Батюшков возвращался из Франции в Россию через Англию и Швецию. *Троллетана* — водопад в Швеции.

Выздоровление (с. 35). — Оп. Традиционно датируется временем пребывания Батюшкова после ранения в доме рижского купца Мюгеля, любовь поэта к дочери которого составляет биографическую основу стихотворения. Вместе с тем отсутствие стихотворения во всех известных рукописных сборниках и особенности стиха дают возможность допустить и более позднюю датировку. *Мне сладок будет час и муки роковой...* — перефразировка заключительного стиха из 352 сонета Петрарки.

Мщение (с. 36). — ВЕ, 1816, № 19—20. Подражание 9 элегии из IV книги «Эротических стихотворений» Э. Парни.

Привидение (с. 38). — ВЕ, 1810, № 6. Вольный пер. 10 элегии I книги «Эротических стихотворений» Э. Парни. *В час полуночных видений...* — измененная строка из баллады В. А. Жуковского «Людмила».

Тибуллова элегия III (с. 40). — ВЕ, 1809, № 23. Вся третья книга элегий Тибулла, откуда переведено настоящее стихотворение, в действительности, как было установлено позднее, Тибуллу не принадлежит. Батюшков ввел в пер. мотивы из других элегий Тибулла. *Тенер* (Тенар) и *Карист* — местности в Греции, где в древности добывали порфир. *...священна тень от кедровых лесов...* — кедр в античности почитался священным деревом. *Эритрские жемчужины...* — добытые в Эритрейском море (Персидский залив). *...руны тирские, багрянцем напоенны...* — овечья шерсть, пропитанная красной краской, выделывавшаяся в городе Тире, центре древней Финикии. *Любови мать* — Венера.

Мой гений (с. 41). — СОСП, ч. 5, Пб., 1816. Связана с любовью Батюшкова к А. Ф. Фурман. *Память сердца...* — см. ком. к статье «О лучших свойствах сердца».

Дружество (с. 42). — СПВ, 1812, № 2. Пер. стих. Биона «Дружба». Батюшков, вероятно, воспользовался русским переводом Н. Ф. Кошанского из кн. «Цветы греческой поэзии» (Пб., 1811).

Тень друга (с. 43). — ВЕ, 1816, № 17—18. Написано во время путешествия на корабле из Англии в Швецию в 1814 г. Стих. посвящено памяти И. А. Петина, убитого в сражении под Лейпцигом на берегу реки *Плейссы*. Батюшков написал также очерк «Воспоминание о Петине». Эпиграф — из элегии Проперция «Тень Цинтии» (кн. IV, элегия 7).

Тибуллова элегия XI (с. 45). — ВЕ, 1810, № 8. Вольный пер. X (а не XI как у Батюшкова) элегии 1 кн. Тибулла. *Брашно* — пища, кушанье; *скудельный* — глиняный; *опреснок* — пресный хлеб; *кошница* — корзина; *адский пес* — Цербер; *кормчий в челноке* — Харон; *ланиты* — щеки.

Веселый час (с. 47). — ВЕ, 1810, № 4. Раннюю редакцию этого стихотворения под заглавием «Совет друзьям» см. на с. 164. Стих. «Веселый час», содержащее в себе аналогичные мотивы, есть у Н. М. Карамзина.

В день рождения N (с. 50).— ВЕ, 1810, № 10. Адресат стихотворения неизвестен.

Пробуждение (с. 50).— ВЕ, 1816, № 11. Как и два следующих стихотворения, входит в цикл, посвященный А. Ф. Фурман.

Разлука (с. 51).— Оп. *Тирас* — греческое название реки Днестр, протекающей через Каменец-Подольский, где в 1815 г. жил Батюшков.

Таврида (с. 52).— Оп. Элегия написана в связи с намечавшейся в 1815 г. поездкой Батюшкова в Крым. *Пальмира Севера* — Петербург. *...урну... вращая, Водолей...* — В эмблематике созвездие Водолея изображалось в виде человека, льющего из сосуда воду в пасть рыбы.

Судьба Одиссея (с. 53).— Оп. Вольный пер. гекзаметрического шестистишия Шиллера «Одиссей». *Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки...* — В XI песне «Одиссеи» Гомера герой спускается в преисподнюю. *Проснулся он: и что ж?..* — В XIII песне Одиссей, попав на родную Итаку, в тумане не узнает острова.

Последняя весна (с. 54).— ВЕ, 1816, № 11. Подражание популярной элегии Ш. Ю. Мильвуа «Падение листьев». *Эпидавра прорицанье...* — Эпидавр — город в южной Греции, где был распространен культ бога врачевания Асклепия (Эскулапа).

К Г⟨неди⟩чу (с. 56).— «Талия», Пб., 1807, где завершается четверостишием: «Нет, болтаючи с друзьями, //Славы я не соберу;// Чуть не весь ли и с стихами //Вопреки тебе умру». Стих. является ответом на не дошедшее до нас суждение Гнедича, предсказавшего Батюшкову литературную славу.

К Д⟨ашко⟩ву (с. 57).— СПВ, 1812, № 10 (номер вышел в 1813 г.) Стих. отражает впечатления Батюшкова от путешествия из Москвы в Нижний Новгород по разоренной войной России. Многие формулы стих. подсказаны «Письмами из Москвы в Нижний Новгород» (1813) И. М. Муравьева-Апостола. В 1812 г. Батюшков жил с Муравьевым-Апостолом в одной квартире в Нижнем Новгороде. *Цевница* — свирель. *Армида* — прекрасная волшебница из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», отвлекающая своими чарами героев от военных подвигов. *Израненный герой...* — генерал Алексей Николаевич Бахметев, у которого Батюшков был адъютантом. Бахметев потерял ногу в Бородинском сражении. Само словосочетание заимствовано Батюшковым из стихотворения Державина «Вельможа».

Источник (с. 59).— ВЕ, 1810, № 17. Переложение одноименной прозаической идиллии Э. Парни. *...я к тебе прикасался...* — по указанию самого Батюшкова, это выражение взято из Тибулла (VI элегия 1 кн.).

На смерть супруги Ф. Ф. К⟨окошки⟩на (с. 60).— СОСП, ч. 1, Пб., 1815. Отклик на раннюю смерть В. И. Кокошкиной, жены приятеля Батюшкова. Эпиграф — из 278 сонета Петрарки. В элегии использованы формулы и мотивы стих. Э. Парни «Могила Эшарис», а также мотивы и метрическая структура стих. В. В. Капниста «На смерть друга моего».

Пленный (с. 61).— ПРП, ч. 2, Пб., 1814. По свидетельству Пушкина, навеяно рассказами друга Батюшкова Льва Васильевича Давыдова, повторявшего в плену фразу «Отдайте мне мои морозы».

Гезиод и Омир — соперники (с. 64).— Оп. Вольный пер. элегии Ш. Ю. Мильвуа «Бой Гомера и Гезиода». *Халкида* — город на острове Эвбея у берегов Беотии и Аттики в Греции. *Ристалище* — арена. *Колебля маслину священную рукой...* — Согласно мифу, маслина выросла от удара богини Афины копьем в землю. Почиталась у греков священным деревом. *Аскрея* — родина Гезиода. *Мелес* — река близ Смирны, в одном из прибрежных гротов которой Гомер, по преданию, сложил свои поэмы. По другой легенде, Гомер был унесен орлом от Мелеса на Олимп. *Орел-громометатель* — символ власти Зевса. Песнь Гомера на состязании содержит в основном прославление Зевса, песнь Гезиода — прославление поэзии. *Темпейская долина* — ущелье в Фессалии, славившееся в древности своим плодородием. *Лебедь белоснежный* — в ряде мифов лебедь, предвидя смерть, взмывает вверх и поет последнюю прекрасную песнь. *Стримон* — река на восточной границе Македонии. *Ольмий* — мыс в Коринфии (одна из областей Греции), славившийся своим медом. *Немея* — долина в Арголиде, в Греции, где находился храм Зевса. *...Народов, гибнущих по прихоти царей...* — имеется в виду Троянская война, описанная в поэме Гомера «Илиада». *Убийца грозный* — Ахилл. *Сыны ахейские* — греки. *Самос* — остров в Эгейском море, у берегов Малой Азии. *Убогий сирота* — в элегии Ш. Ю. Мильвуа «Гомер-нищий», примыкающей к элегии «Бой Гомера и Гезиода», изображены мытарства Гомера, сопровождаемого в странствиях «ребенком, вскормленным Самосом».

К другу (с. 68).— Оп. Стих. обращено к близкому другу Батюшкова П. А. Вяземскому. *...мудрость светская сияющих умов...* — просветительская философия XVIII века. *Где дом твой... поросло крапивой.* — Речь идет о московском доме Вяземских — месте собраний и пирушек литературной молодежи. Дом сгорел во время пожара в 1812 г. Эти строки содержат и реминисценцию из стихотворения Г. Р. Державина «К второму соседу». *Веспер* — вечерняя звезда, планета Венера. *Богиня неги и прохлады...* — Венера. Характерное для Батюшкова словосочетание «прохлада и нега» заимствовано из оды Державина «На смерть князя Мещерского». *На крыльях радости...* — стих из романса Я. Б. Княжнина «Наказанная неверность». *Лила* — вероятно, В. И. Кокошкина. *Как в воздухе перо...* — Эта и след. строки — перефразировка стихов из «Вечернего размышления о божием величестве» М. В. Ломоносова. *...гений... светильник погашал...* — гений, гасящий факел,— у древних символ смерти. *Риза странника...* — слова из песни В. А. Жуковского «Путешественник» (1809).

Мечта (с. 71).— Оп. Окончательная редакция. Раннюю редакцию см. с. 145. *Воклюз* — имение Ф. Петрарки на берегу реки *Сорги*. *Сельмские леса* — леса вокруг Сельмы, дворца царя древних кельтов Фингала, воспетого легендарным бардом III в. Оссианом в песнях, принадлежавших в действительности их издателю — шотландскому фольклористу и литератору Дж. Макферсону (1736—1796). Во второй половине XVIII — нач. XIX века «Песни Оссиана» пользовались исключительной популярностью. *Оскар* — юный герой, сын Оссиана, погибший в бою. *Кромла* — священная гора древних кельтов. *Иснель* — герой поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега», навеянной скандинавской мифологией. *Биармия* — древняя северная область, страна скандинавских саг. *Ленивы маки...* —

выражение из послания М. Н. Муравьева «К Феоне». *Любовница Фаона* — Сафо. *Тибур* — город близ Рима, где жил Гораций (теперь Тиволи). *Глицерия* — поэтическое имя возлюбленной Горация.

ПОСЛАНИЯ

Мои пенаты (с. 77).— ПРП, ч. 1, Пб., 1814. Обращено к П. А. Вяземскому и В. А. Жуковскому. Стих. пользовалось широкой популярностью, вызвало ответные послания Жуковского и Вяземского и породило многочисленные подражания. Навеяно стихотворениями фр. поэтов Ж. Дюси «Моим пенатам» и Ж.-Б. Грессе «Обитель». *Богини пермесские...* — музы; *рухлая скудель...* — глиняная посуда; *жупел* — горящая сера, адское наказание для грешников; *богиня слепая* — Фортуна; *Аония* — область Греции, где был расположен Геликон. *Парнасский исполин* — Ломоносов. *Наш Пиндар, наш Гораций* — Державин. *Суна* — река, на которой находится водопад Кивач, описанный Державиным в оде «Водопад» (1794). *...мудрого Платона... ужин Агатона//И наслажденья храм.* — Речь идет об очерке Карамзина «Афинская жизнь» (1793), где описан ужин в доме афинянина Гиппия, на доме которого была надпись «Храм удовольствия и счастия, отверстый для всех мудрых любителей наслаждения». *...древню Русь и нравы Владимира времян.* — Речь идет об интенсивной работе Карамзина над «Историей государства Российского», о которой знали его молодые поклонники. *...сильф прекрасный...* — И. Ф. Богданович; *цитра* — струнный инструмент, *Мелецкий* — Ю. А. Нелединский-Мелецкий. *Сложи печалей бремя...* — Намек на несчастливую любовь Жуковского к М. А. Протасовой. Эта деталь вызвала замечание Вяземского: «После того, что ты называешь нас беспечными счастливцами, ты упрашиваешь Жуковского сложить печалей бремя и, следственно, ты соврал» (РО ИРЛИ, ф. 19, № 28, л. 1). *Питомец муз надежный...* — цитата из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева. *Наемных ликов глас...* — хор церковных певчих. *Цевница* — свирель.

Послание г⟨рафу⟩ В⟨елеурско⟩му (с. 85).— ПРП, ч. 4, Пб., 1815. Обращено к графу М. Ю. Виельгорскому (Велеурскому). Батюшков познакомился с ним в 1807 г. в Риге. В стих. отразились воспоминания этой поры. *Еще отдай стихам потерянны права...* — подразумеваются песни Орфея, способные, согласно легенде, двигать деревья и камни. Батюшков желал, чтобы Виельгорский положил его стихи на музыку; со временем композитор исполнил это желание.

Послание к Т⟨ургене⟩ву (с. 86).— ПРП, ч. 6, Пб., 1815. Послание являлось составной частью письма от 16.X.1816 к А. И. Тургеневу, в котором Батюшков просил адресата оказать помощь семейству погибшего на войне офицера Попова.

Ответ Г⟨неди⟩чу (с. 88).— ВЕ, 1810, № 3; в журнале стих. было напечатано вместе с посланием Н. И. Гнедича «К Б⟨атюшкову⟩» (1807), ответом на которое, очевидно, и является. *Сабинский домик* — поместье Горация; в поэтической традиции — обитель, удаленная от шума света.

К Ж⟨у к о в с к о⟩м у (с. 89).— ПРП, ч. 2, Пб., 1814. *Белёв* — город в Тульской губ., близ которого находилось имение отца Жуковского. «*Усопший! мир с тобою!*» — цитата из баллады Жуковского «Громобой» (первая часть «Двенадцати спящих дев»). ..*мученья, достойные бесов!* — Видимо, намек на басню А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт» (1811): в ней черт не выдерживает чтения стихов Д. И. Хвостова (Дамона) и спасается бегством. *Свистов* — Хвостов. ...*певец досужий*... — близкий Хвостову литератор-дилетант Г. П. Ржевский. Эпизод имеет реальную биографическую основу: в 1812 г. Хвостов и Ржевский действительно донимали Батюшкова чтением своих сочинений (см. Соч., 3, с. 192).

О т в е т Т⟨у р г е н е⟩в у (с. 92).— Оп. *Любовник строгой Лоры*... — Петрарка. *Душеньки певец* — И. Ф. Богданович; слухи о его несчастной любви были широко распространены в начале XIX в. и отразились в биографическом очерке Н. М. Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях». *Лесбосская певица* — Сапфо.

К П⟨е т и⟩н у (с. 94).— Оп. Адресовано И. А. Петину. *Индесальми* — селение в Финляндии, у которого в ночь на 29 октября 1808 г. произошло сражение русских войск со шведами. В нем отличился Петин; Батюшков находился тогда в резерве.

П о с л а н и е И. М. М⟨у р а в ь е в у⟩-А⟨п о с т о л у⟩ (с. 95).— ПРП, ч. 6, Пб. 1815. В своих «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» Муравьев-Апостол развивал близкие Батюшкову мысли о зависимости художника от истории и характера народа. Послание тематически связано со статьей «Нечто о поэте и поэзии». ...*новый мира житель*... — формула заимствована из VII сатиры А. Д. Кантемира («новый житель света»). *Мантуа (*Мантуя) — город на р. *Минций* (Минчио) в северной Италии, родина Вергилия. *Титир* — наделенный автобиографическими чертами герой 1-й эклоги Вергилия. *Кола* — река на Кольском полуострове. *Наш Пиндар* — Ломоносов. *Мрежи* — сети. *Дрожащий, хладный блеск*... — стихи навеяны незавершенной поэмой Ломоносова «Петр Великий». *Отчизны сладкий дым*... — перефразированное выражение из стих. Державина «Арфа» («Отечества и дым нам сладок и приятен»). ...*древний град отцов*... — Казань, воспетая в «Арфе». ...*струи царицы светлых вод*... — Волги. *Певец сибирского Пизарра*... — И. И. Дмитриев; подразумевается его стих. «Ермак» (Пизарро— завоеватель Перу; Ермак — покоритель Сибири).

СМЕСЬ

Х о р д л я в ы п у с к а б л а г о р о д н ы х д е в и ц С м о л ь н о г о м о н а с т ы р я (с. 99).— Оп. Стих. предназначалось для исполнения выпускницами Смольного института — дворянского женского учебного заведения. *Виновница счастливых дней*... — мать Александра I, вдовствующая императрица Мария Федоровна, покровительница Смольного института.

П е с н ь Г а р а л ь д а С м е л о г о (с. 101).— ВЕ, 1816, № 16. Вольный пер. с фр. песни, приписывавшейся норвежскому королю Харальду Сигурдарсону (XI в.), впоследствии женатому на дочери

русского князя Ярослава Мудрого Елизавете. В России песня неоднократно переводилась (И. Ф. Богдановичем, Н. А. Львовым и др.). Пер. Батюшкова решен в «оссианическом» ключе — видимо, не без влияния поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега», куда вошло свободное переложение «Песни...». Об автобиографическом подтексте стих. см. вступ. ст.

Вакханка (с. 102).— Оп. Вольное переложение эпизода из поэмы Э. Парни «Переодевания Венеры». Батюшков существенно трансформировал галантно-эротический стиль подлинника и усилил черты «языческого» колорита. *Эвоэ* — ритуальное восклицание на вакхических празднествах в древней Греции. По указанию В. А. Кошелева, стих., как и пер. «Элегии» из Тибулла, вошло в рукописный сборник, относящийся к 1813 г. (РО ИРЛИ). Это заставляет уточнить традиционную условную датировку (1815 г.).

Сон воинов (с. 103).— ВЕ, 1811, № 3. Вольный пер. эпизода из поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега».

Разлука (с. 105).— ПРП, ч. 2, Пб., 1814. Стало популярным романсом.

Ложный страх (с. 106).— ВЕ, 1810, № 11. Пер стих. Э. Парни «Испуг». *И амуры на часах...* — Цитата из стих. М. Н. Муравьева «Богине Невы».

Сон могольца (с. 108).— ДВ, 1808, ч. V. Вольный пер. одноименной басни Ж. Лафонтена. *Моголец* — житель империи Великих Моголов (Восточная Индия).

Любовь в челноке (с. 109).— ПРП, ч. 4, Пб., 1815.

Счастливец (с. 111).— ВЕ, 1810, № 17. Вольное переложение одного из «Анакреонтических стихотворений» Дж. Касти. *Сердце наше — кладезь мрачный... ...Крокодил на нем лежит!* — Сентенция, заимствованная из повести Ф. Р. Шатобриана «Атала».

Радость (с. 113).— Оп. Вольный пер. одноименного стих. Дж. Касти.

К Никите (с. 115).— Оп. Обращено к Н. М. Муравьеву, будущему декабристу. Муравьев сожалел, что ему не довелось участвовать в военных действиях на территории Франции.

Эпиграммы, надписи и прочее

«Всегдашний гость, мучитель мой...» (с. 117).— Оп. Вольный пер. эпиграммы Экушара Лебрена «О, проклятое общество...». Направлено, вероятно, против Г. П. Ржевского.

«Как трудно Бибрису...» (с. 117).— Цв., 1809, № 9. *Бибрис* — каламбурно-пародийное прозвище С. С. Боброва (*от лат.* fiber — бобр и bibere — пить), намекающее на его страсть к спиртному.

«Памфил забавен за столом...» (с. 117).— РМ, 1815, № 9. Адресат эпиграммы не установлен.

Совет эпическому стихотворцу (с. 118).— Оп. Направлено против С. А. Ширинского-Шихматова, автора поэмы «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» (1810).

Мадригал новой Сафе (с. 118).— Цв., 1809, № 9. Стих., вероятно, осмеивает А. П. Бунину и ее безнадежную влюбленность в И. И. Дмитриева.

Надпись к портрету Н. Н. (с. 118).— СРС, 1811, Ч. V. Адресат неизвестен.

К цветам нашего Горация (с. 118).— Оп. Обращено к И. И. Дмитриеву; было послано ему вместе с цветочными семенами.

Надпись к портрету Жуковского (с. 119).— ВЕ, 1817, № 3. Написано «по заказу» редактора «Вестника Европы» М. Т. Каченовского. *Он храбрым гимны пел...*— имеются в виду патриотические произведения Жуковского. «Певец во стане русских воинов», «Певец в Кремле» *...новый Грей...*— Жуковский испытал заметное влияние творчества Т. Грея и прославился вольным пер. его элегии «Сельское кладбище».

Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При (с. 119).— СО, 1816, № 12. Э. Сен-При, убитый во время похода русской армии на Париж, отличался редким мужеством. *Лилии* — герб французского королевского рода Бурбонов, к которому принадлежал Сен-При.

Надпись на гробе пастушки (с. 119).— ВЕ, 1810, № 14, с пояснением автора: «Этот гроб находился на лугу, на котором собирались плясать пастухи и пастушки». Стих. навеяно знаменитой картиной Н. Пуссена «Аркадские пастухи». Использовано в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама» (романс Полины).

Мадригал Мелине, которая называла себя нимфою (с. 119).— Оп.

На книгу под названием «Смесь» (с. 120).— Оп. Объект эпиграммы в точности не известен.

Странствователь и домосед (с. 120).— Амфион, 1815, № 6. Об автобиографической основе и источниках стих. см. письмо к Вяземскому от февраля 1815 г. и ком. к нему. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой», здесь: скупец. *Гликерия* — античная красавица, чье имя стало нарицательным для обозначения женской красоты. *Пирей* — порт Афин. *...о чесноке святом...* — чеснок и многие другие растения считались у египтян священными. *...И о коте большом!..* — Древние египтяне считали кошку священным животным, воплощением богини Изиды. *Кротона* (Кротон) — греческий город в южной Италии, где жил ученик Пифагора Агатон. *Лаконские горы* — горы на п-ове Пелопонессе в Греции. *Атараксия* — спокойствие, отречение от страстей, идеал стоической философии. *Тайгет* — лесистая горная гряда в Пелопонессе. *Керамик* — предместье Афин. *Иллис* — река в Афинах. *...Фонтанку, этот дом...* — на Фонтанке находились дома Олениных и Муравьевых. *Гимет* — горы в Аттике, славившиеся душистым медом.

Переход через Рейн (с. 130).— РВ, 1817, № 5-6. Батюшков участвовал в переправе русских войск через Рейн, открывшей им путь во Францию. *Герман* — Арминий, древнегерманский вождь. *Кесарь* — Юлий Цезарь. *Лики* — хоры. *Аттила новый* — Наполеон. *Улея* (Улео) — река в Финляндии. *Ангел мирный* — императрица Елизавета Алексеевна (урожденная баденская принцесса Луиза).

Умирающий Тасс (с. 134).— Оп. Батюшков планировал открыть этой элегией книгу, но, не успев в срок завершить

работу над ней, принял решение поместить ее в конце. В биографии Тассо, своего любимого поэта, Батюшков видел параллель собственной судьбы (раннее сиротство, скитальчество, бедность, несчастная любовь). При работе над элегией поэт использовал т. II исследования фр. историка Сисмонда де Сисмонди «О литературе Южной Европы» и т. V книги фр. поэта и критика Пьера-Луи Женгене «История итальянской литературы». Эпиграф — из последнего действия трагедии Тассо «Король Торисмондо». *Капитолий* — священная гора в Древнем Риме; в средние века — место торжеств. *Стогны* — площади. *Багряницы* — торжественные одежды. *Апостолов наместник* — римский папа. *Квириты* — граждане Древнего Рима. *Сорренто* — город в Италии, родина Тассо. *Асканий* — герой «Энеиды» Вергилия. Младенцем был вынесен на руках своим отцом Энеем из горящей Трои. *Альфонс II* д'Эсте — герцог феррарский. *Сион, берега Иордана, Кедрон, убежища Ливана* — места в Палестине, где происходит действие поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», посвященной походам крестоносцев. *Готфред и Ринальд* — герои поэмы. *Элеонора* — сестра герцога Альфонса, в которую, по преданию, был влюблен Тассо. Примечание к Элегии. *Приписал* — посвятил. *Монтань* — Монтень, рассказавший о встрече с Тассо в XII главе II книги своих «Опытов».

Беседка муз (с. 141).— СО, 1817, № 28. О беседке, убранной им в саду для поэтических занятий, Батюшков сообщил Гнедичу в мае 1817 г. *...путь за стаею орлов,//Как пчелке, невозможен...*— заимствование из стихотворения В. В. Капниста «Ломоносов».

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ «ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ»

Мечта ⟨первая редакция⟩ (с. 145).— ЛС, 1806, № 9. Окончательную редакцию см. на с. 71. В первой ред. особенно заметно влияние мотивов стих. М. Н. Муравьева «К Музе». *...чистых сестр* — муз.

Послание к стихам моим (с. 147).— НРЛ, 1805, № 1. Хотя в примечании, сопровождавшем первую публикацию, Батюшков утверждал, что в его стих. «нет личности», в действительности «Послание...» являет собой один из первых опытов борьбы поэта с литературными «архаистами». Эпиграф — из стих. Вольтера «Послание к королю Дании Христиану VII о свободе печати». *Стукодей, Плаксивин, Безрифмин, Глупон* — условные имена, за которыми, очевидно, скрыты реальные лица (существующие расшифровки не представляются в полной мере убедительными). *Иному в ум придет... кругами утверждает!*— намек на А. С. Шишкова, который в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) сравнивал эволюцию значения слова с кругами, расходящимися по воде после падения камня.

Элегия (с. 149).— СВ, 1805, № 3. Вольный пер. XI элегии IV книги Э. Парни.

Послание к Хлое (с. 150).— Соч., т. 1. Как показывают архивные документы, именно это стих. под названием «Сатира, с французского» (а не «Перевод 1-й сатиры Боало», как традиционно считалось) было представлено Батюшковым для вступления в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (Отдел редких книг и рукописей научной б-ки ЛГУ, арх. Вольного общества, д. № 157, л. 3—4). *Брумербас* — традиционный в сатирической литературе тип хвастливого воина.

Перевод 1-й сатиры Боало (с. 152).— Соч., т. 1. Вольное подражание сатире Н. Буало «Прощание поэта с городом Парижем», уснащенное русскими реалиями.

К Филисе (с. 155).— Соч., 1. Раннее подражание стих. Грессе «Обитель» (ср. «Мои пенаты»). Эпиграф из VI послания Буало.

Перевод Лафонтеновой эпитафии (с. 159).— Соч., т. 1. Пер. шутливой автоэпитафии Ж. Лафонтена.

К Мальвине (с. 159).— СВ, 1805, № 11, под заглавием «Стихи к М. (с итальянского)» и с эпиграфом: «Amica! tu sei la rosa della primavera». Итальянский подлинник неизвестен.

Послание к Н. И. Гнедичу (с. 160).— Цв, 1809, № 5. По указанию самого поэта, написано им в семнадцатилетнем возрасте. *...в полтавских ты степях...* — в 1805 г. Гнедич жил на Украине. *Фингалов певец* — Оссиан. *Рифмин* — возможно, подразумевается А. Ф. Мерзляков, переводивший античных авторов. *В покойном уголке тихонько притаясь...* — перефразированная формула из 1 сатиры Кантемира, в которой прославляется доля того, «кто в тихом своем углу молчалив таится». *Муфтий* — судья на Востоке. *Друиды* — кельтские жрецы. *Мальвина* — героиня поэм Оссиана. *...поэзия любезна, //Как нектар сладостный, приятна и полезна...* — перефразировка стихов Державина из оды «Фелица» («Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна, полезна...»).

⟨На смерть И. П. Пнина⟩ (с. 163).— СВ, 1805, № 9. Эпиграф — из стих. Вольтера «Смерть Лекуврер, знаменитой актрисы». Кончина И. П. Пнина вызвала ряд откликов со стороны членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; к ним примыкает и стих. Батюшкова. *Пером от злой судьбы невинность защищал...* — Пнин, побочный сын вельможи Н. В. Репнина, был автором записки «Вопль невинности, отвергаемой законами», в которой выступил в защиту прав незаконнорожденных.

«Безрифмина совет...» (с. 164).— ЖРС, 1805, ч. III, ноябрь.

Совет друзьям (с. 164).— Лицей, 1806, кн. 1. Первая ред. стих. «Веселый час». Эпиграф — из стих. французской поэтессы Генриетты Мюра (1670—1716).

Пастух и соловей. Басня (с. 167).— ДВ, 1808, ч. III. В стих. использован сюжет одноименной басни французского поэта Флориана. Своим стих. Батюшков выступил в защиту В. Озерова от нападок враждебной критики. *Творец Димитрия* — подразумевается трагедия Озерова «Димитрий Донской».

К Тассу (с. 168).— ДВ, 1808, ч. VI. Стих. предвосхищает мотивы элегии «Умирающий Тасс». *...авзонская* — итальянская. *Феррара* — итальянский город, в котором жил Тассо в период службы при дворе герцога Альфонса II. *Скамандр* — река в древней Трое.

⟨Отрывок из 1 песни «Освобожденного Иерусалима»⟩ (с. 171).— ДВ, 1808, ч. VI. Батюшков активно работал над пер. «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо в 1808—1809 гг. Первоначально он намеревался перевести всю огромную поэму, но затем, по мере эволюции своих эстетических позиций, охладел к этому замыслу. Батюшков успел полностью перевести 1-ю песнь, однако, за исключением опубликованного отрывка и разрозненных цитат в переписке с Гнедичем, перевод этот до нас не дошел. *Иль-де-Франс, Орангия (Оранж)* — области во Франции. *Пуйские* — итальянские. *Каринтия* — герцогство на территории современной Австрии.

⟨*Отрывок из* XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»⟩ (с. 174).— Ц, 1809, № 6. Отрывок соответствует XII—XXXVII октавам XVIII песни (сражение Ринальдо с великаном в очарованном лесу Армиды). Батюшков здесь достаточно далеко отступает от подлинника.

Воспоминание (с. 178).— ВЕ, 1809, № 21. В «Опыты...» Батюшков включил сокращенный вариант этого стих., опустив более половины текста, где содержались намеки на любовные отношения с дочерью рижского негоцианта Мюгеля (см. ком. к с. 32).

Книги и журналист (с. 180).— Цв., 1809, № 9. В стих. использованы мотивы эпиграммы А. Пирона на журналиста Дефонтена («Послушай, прекрати свои глупые писания...»). Хотя сам Батюшков из осторожности отрицал наличие конкретного адресата у своей эпиграммы, не подлежит сомнению, что она направлена против А. В. Лукницкого, издателя враждебного кружку «Цветника» журнала «Северный Меркурий».

Эпиграмма на перевод Вергилия (с. 181).— Цв, 1810, № 1. Вольный пер. эпиграммы Жака-Луи Лайа (1761—1833) «Могущественный бог стихов, вдали от священного дола...», осмеивающей французский пер. «Энеиды». Направлена против А. Ф. Мерзлякова, издавшего в 1807 г. перевод «Эклог» Вергилия.

Стихи г. Семеновой (с. 181).— Цв, 1809, № 9. В стих. перечислены роли из трагедий В. А. Озерова, в которых Е. Семенова имела блистательный успех: *Антигона* («Эдип в Афинах»), *Моина* («Фингал»), *Ксения* («Димитрий Донской»).

Видение на берегах Леты (с. 182).— Русская беседа, т. 1, Пб., 1841. Сатирическая поэма Батюшкова отражает литературную позицию оленинского кружка. Поэт долго и тщательно отделывал текст произведения: в копиях сохранилось

несколько вариантов, отличающихся в деталях. «Видение» было враждебно встречено в кругах литературных «архаистов» и восторженно — среди карамзинистов и писателей, близких кружку Оленина. Оно быстро приобрело широкую популярность и разошлось в ряде списков. *Певец прелестныя мечты* — И. Ф. Богданович. «*Телемахида*» — поэма В. К. Тредиаковского, которую карамзинисты расценивали как образец косноязычия и дурного вкуса. *...что сотворил обиды//Венере девственной...* — И. С. Барков был известен как поэт-порнограф. *Егда прийдут...* — пародируется стиль поэзии Тредиаковского. *Верзляков* — А. Ф. Мерзляков; Батюшков иронизирует над его переводами из античных поэтов и пародирует стихотворение «Тень Кукова на острове Овги-ги». *Писать... все прозой, без еров* — подразумевается Д. И. Языков, не употреблявший в своих сочинениях твердых знаков («еров»). *...лица новы//Из белокаменной Москвы.* — В 1800-е гг. Москва была центром эпигонского сентиментализма. *Поэт присяжный, князь вралей.* — П. И. Шаликов. *Вот мой баран, моя Аглая* — насмешка над журналом Шаликова «Аглая» (1808—1812). *Я Русский и поэт* — подразумевается С. Н. Глинка; Батюшков постоянно вышучивал его аффектированный «патриотизм». Глинка иронически назван *Жан-Жаком* — как страстный поклонник Руссо, *Расином* — как плодовитый драматург, *Юнгом* — как переводчик «Ночей» этого поэта. *Локком* — как автор педагогических сочинений. *Вина тому — разврат умов!* — Глинка постоянно обличал в «Русском вестнике» современные нравы. *Сафы русские* — А. П. Бунина, Е. И. Титова, М. Е. Извекова. *Густав* — драма Е. Титовой «Густав Ваза, или Торжествующая невинность». *Сафо наших дней* — ироническое обыгрывание комплиментарной формулы, адресовавшейся дамам-сочинительницам (ср. экспромт, приписывающийся В. С. Раевскому: «Я вижу Бунину, и Сафо наших дней // Я вижу в ней»). *Виноносный гений* — С. С. Бобров; далее пародируется стиль его произведений. *Бледна тень* — А. С. Шишков. *Сочлены юные мои* — члены Российской Академии. *Они Пожарского поют...* — намек на поэму С. Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». *Слова ж из Библии берут...* — язык стихотворений Шихматова отличался нарочитой архаистичностью, соответствовавшей стилистической программе Шишкова. *Кургановым писать учен* — «Письмовник» Н. Г. Курганова рассматривался в начале XIX в. как образчик литературы для «низового» читателя. *Аз есмь зело славенофил.* — Пародия на стиль Шишкова. *Усмешка блудная* — пародийная цитата из галантного романа Тредиаковского «Езда в остров любви». «*Деидамия*» — трагедия Тредиаковского. *Вкусил бессмертия награду.* — По указанию осведомленного М. А. Дмитриева, далее должен следовать стих: «Поставлен с Тредьяковским к ряду», проясняющий характер «бессмертия» Шишкова. «*Почта*» — журнал молодого Крылова «Почта духов» (1789), построенный в форме переписки гномов и сильфов с волшебником Маликульмульком.

Эпитафия (с. 190). — ВЕ, 1810, № 10. Стих. мыслилось Батюшковым как автоэпитафия (см. письмо Гнедичу от конца ноября 1809. — Соч., т. 3, с. 62).

«Пафоса бог, Эрот прекрасный...» (с. 190).— Отчет императорской Публичной библиотеки за 1906 г., Пб., 1913.

⟨П. А. Вяземскому⟩ («Льстец моей ленивой музы...») (с. 191).— Соч. 1934. Шутливый отклик на восторженный отзыв Вяземского о «Видении на берегах Леты» Батюшкова.

«Накрыльях улетают годы...» (с. 191).— Соч. 1979. Пер. стих. фр. поэта Э. Ф. Лантье. Последнее четверостишие использовано в «Ответе Г⟨неди⟩чу».

«Приближьтесь, музы, и цветами...» (с. 192).— Соч. 1979.

На перевод «Генриады» или Превращение Вольтера (с. 192).— Цв., 1810, № 2. Эпиграмма высмеивает перевод поэмы Вольтера «Генриада», выполненный в 1803 г. И. Сиряковым. *Габриель* д'Эстре — возлюбленная французского короля Генриха IV, одна из героинь «Генриады».

Стихи на смерть Даниловой... (с. 193).— ВЕ, 1810, № 7. *...вторую Душеньку...*— М. Данилова особый успех имела в роли Психеи («Душенька») в балете Дидло «Амур и Психея».

Отъезд (с. 193).— Включено в «Опыты...», но по требованию Батюшкова вырезано из отпечатанных экземпляров. Вторично — Библиографические записки, 1861, т. III. *Селадон* — герой романа французского писателя д'Юрфе (1568—1625) «Астрея». Это имя стало нарицательным для обозначения слезливого любовника.

На смерть Лауры (с. 194).— ВЕ, 1810, № 17. Вольный пер. CCLXIX сонета Петрарки. *Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!*— игра слов; Колонна — друг и покровитель Петрарки; итальянское название лавра (lauro) созвучно имени Лауры.

Вечер (с. 195).— ВЕ, 1810, № 21. Вольное подражание L канцоне Ф. Петрарки. В то же время в стих. использованы мотивы элегии В. А. Жуковского «Сельское кладбище».

«Рыдайте, амуры и нежные грации...» (с. 196).— Изв. АН СССР, Отд. лит. и языка, 1955, т. 14, вып. 4. Вольный пер. стих. итальянского поэта П. Ролли «Плачьте, о грации, плачьте, амуры...».

Элизий (с. 196).— Изд. 1834, под названием «Отрывок из элегии», с прим.: «Начало сей пиесы не отыскано».

Мадагаскарская песня (с. 198).— ВЕ, 1811, № 3. Пер. одной из прозаических «мадегасских песен» Э. Парни.

«Известный откупщик Фадей...» (с. 198).— ВЕ, 1810, № 10. Эпиграмма была включена в «Опыты...», но по желанию Батюшкова вырезана из отпечатанных экземпляров. Адресат эпиграммы не установлен.

«Теперь, сего же дня...» (с. 199).— ВЕ, 1810, № 10. Вырезана из отпечатанных экземпляров «Опытов...».

Истинный патриот (с. 199).— Цв., 1810, № 6. Изъято из отпечатанных экземпляров «Опытов...» (сохранились единичные экземпляры с этим стих.). Конкретный адресат эпиграммы не установлен. *Сальмис* — блюдо французской кухни.

Сравнение (с. 199).— ВЕ, 1810, № 14.

Из антологии (с. 200).— ВЕ, 1810, № 14. Пер. эпиграммы греческого поэта Антипатра Фессалоникского (I в. до н. э.— I в. н. э.), сделанный с французского пер. Вольтера («На жертвоприношения Геркулесу»).

К Маше (с. 200).— ВЕ, 1810, № 4. Адресат неизвестен. Стих. шутливо обыгрывает библейский сюжет Благовещения. Игра с евангельским текстом могла быть навеяна стих. И. И. Дмитриева «К Маше», построенным на аналогичном приеме.

Скальд (с. 201).— Изв. АН СССР. Отд. лит. и языка, 1955, т. 14, вып. 4. Вольное переложение начала поэмы Э. Парни «Иснель и Аслега».

⟨Отрывок из XXXIV песни «Неистового Орланда»⟩ (с. 202).— РС, 1883, т. 38, № 5. В 1811 г. Батюшков намеревался перевести «Orlando Furioso» Л. Ариосто полностью. Со временем замысел изменился. В 1817 г. он перевел конец 23-й и начало 24-й песен прозой (и тогда же опубликовал свой перевод); примерно к тому же времени относятся и некоторые другие замыслы переводов из Ариосто.

Филомела и Прогна (с. 202).— ВЕ, 1811, № 23. Вольный пер. одноименной басни Лафонтена. Вяземский усмотрел в этом стих. проекции на биографию Батюшкова.

На поэмы Петру Великому (с. 203).— ПРП, ч. 4, Пб., 1815. *...их поэмы мертвы!* — Подразумеваются поэмы Р. Сладковского «Петр Великий» (1803), С. Ширинского-Шихматова «Петр Великий» (1810), А. Грузинцева «Петриада» (1812).

Певец или Певцы в Беседе славено-россов (с. 204).— Современник, 1856, № 5. Автограф не сохранился; в различных изд. использовались разные рукописные списки. Не считая ни один из них достаточно исправным, мы положили в основу публикации список, сохранившийся в архиве Олениных (ОР. Гос. публичной б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 542, № 725),— один из самых авторитетных и полных. Отточием в тексте обозначены два пропущенных стиха (они отсутствуют и в других списках). Стих. написано (при участии А. Е. Измайлова) в пору ожесточенной полемики между «шишковистами» и карамзинистами и ярко выражает позицию последних. Стих. является пародическим «перепевом» гимна Жуковского «Певец во стане русских воинов»: характеристики «шишковистов» иронически соотнесены с портретами героев Отечественной войны 1812 г. (напр., Шишков — с Кутузовым, Хвостов — с Платовым, и т. п.), что должно было подчеркнуть ложный характер воинственного «патриотизма» литературных архаистов. *Славено-россы* — одна из кличек членов Беседы любителей русского слова, обыгрывающая попытки Шишкова доказать, что русский и «славенский» (церковнославянский) языки являются лишь «наречиями» единого «славенороссийского языка». *Балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический гимн.*— Подзаголовок пародирует название «Гимна лиро-эпического на прогнание французов из Отечества» Державина, отрицательно воспринятого карамзинистами. *...с Роленем за плечами...* — подразумевается пер. многотомных «Древней истории» и «Римской истории» Ш. Роллена, выполненный Тредиаковским.

Сумбур — Державин. По авторитетному указанию М. А. Дмитриева, «так объяснял сам Батюшков» (Отд. рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 178, 8184. 1, л. 96 об.). *И галлицизмы пишет!* — Отличительным признаком «нового слога» «шишковисты» считали пристрастие к иностранным «речениям». *Славенофил, седой Дед* — клички Шишкова. «*Барды*» — драматическая поэма С. Жихарева. *Меня в Пиндары крючит!* — Шишков считал С. Ширинского-Шихматова самым многообещающим из современных поэтов. *Холодных шуб родитель...* — имеется в виду ирои-комическая поэма Шаховского «Расхищенные шубы», содержащая пасквильные выпады в адрес карамзинистов. *Друзья! вишневки поскорей... ... полмертвые родятся.* — Эти стихи, метящие в А. П. Бунину и других дам-сочинительниц, отсутствуют в остальных сохранившихся списках. Однако они были хорошо известны в среде карамзинистов, доказательством чему служит использование их в «арзамасской» речи С. С. Уварова (см.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 119—120). *Весталка* — Бунина. *...протяжный Львов,//Ковач речений смелый!* — П. Ю. Львов, уснащавший свои сочинения славянизированными «долгими» (многокорневыми) словами. *...И Палицын, гроза чтецов...* — стихи А. Палицына отличались языковой шероховатостью. *Обруганный Станевич...* — Имеются в виду резкие нападки на Е. Станевича со стороны М. Каченовского и А. Воейкова. *Холуй Анастасевич...* — намек, с одной стороны, на пристрастие Анастасевича к полонизмам (он, в частности, называл в своих сочинениях слуг холуями), с другой — на его зависимость от Д. И. Хвостова (субсидировавшего журнал Анастасевича «Улей»). *Соколов* — чтец в Беседе. *Кто пишет так, как говорит...* — формула, отражающая стилистическую программу Батюшкова и карамзинистов в целом (ср. «Вечер у Кантемира»). *Пролог* — сборник житий святых, поучений и дидактических рассказов о монашеских подвигах. *К завтрене* — к заутрене.

Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (с. 211).— Славянин, 1830, № 3. Традиционно датируется годом описанных в стихотворении событий. Однако отрывок мог быть написан и позже. В частности, обращает на себя внимание его связь с элегией «Переход через Рейн». В переходе через Неман Батюшков участия не принимал. *Задумчивый беглец* — солдат разбитой наполеоновской армии. *Царь младой* — Александр I. *Старец-вождь* — М. И. Кутузов.

Послание к А. И. Тургеневу (с. 211).— Памятник отечественных муз на 1827 г. Пб., 1827. Датировка обоснована Л. В. Тимофеевым (Русская литература, 1981, № 1, с. 136—138). Речь в стих. идет о даче А. Н. Оленина (*почтенный муж*) и его жены Е. М. Олениной, урожд. Полторацкой (*добрая Элиза*), в *Приютино*, близ Петербурга. *Он пишет их портреты.* — Сохранились портреты Гнедича, Крылова и Батюшкова работы О. Кипренского. *Вандиков ученик* — то есть ученик выдающегося фламандского художника А. Ван Дейка.

Хор жен воинов из «Сцен четырех возрастов» (с. 213).— РА, 1887, № 7. «Сцены четырех возрастов» были написаны для придворного праздника в Павловске 27 июля 1814 г. по заказу императрицы Марии Федоровны. В работе над ними,

наряду с Батюшковым, принимали участие Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Г. Р. Державин и П. А Корсаков. Об обстоятельствах создания «Сцен» см. письмо к П. А. Вяземскому от 27 июля 1814 г. Хор жен воинов как несомненно принадлежащий Батюшкову был выделен из «Сцен» Н. В Фридманом (Стихотворения, 1964), хотя Батюшкову принадлежат и некоторые другие фрагменты (см.: Соч. 1934, с. 589—590; Русский библиофил, 1916, № 5, с. 79).

Новый род смерти (с. 214).— СО, 1814, № 41, с подписью: N. Авторство Батюшкова установлено Н. О. Лернером (Русский библиофил, 1916, № 5, с 80). *Бавий* — здесь: бездарный поэт. *Каэна (*Кайенна) — место ссылки во Французской Гвиане. *Остров Эльба* — место первой ссылки Наполеона.

Элегия (с. 214).— В полном виде в сб. «XXV лет 1859—1884», Пб., 1884. В «Опытах...» под заглавием «Воспоминания» без последних 32 строк, рассказывающих о любви поэта к А. Ф. Фурман. Заключительное четверостишие элегии процитировано в письме Батюшкова к П. А. Вяземскому от февраля 1815 г. Это дает основания предположить, что к тому времени стих. уже было написано.

«У Волги-реченьки сидел...» (с. 217).— Русская литература, 1958, № 1; в этой публикации датировано 1813—1814 гг. Настоящая датировка предложена Н. В. Фридманом (Стихотворения, 1964). Очевидно, речь в этом неоконченном стих. идет о пленном наполеоновском солдате, находящемся в России. Это делает произведение своего рода ответом на элегию «Пленный».

⟨Надпись к портрету П. А. Вяземского⟩ (с. 218).— Соч. 1934.

⟨С. С. Уварову⟩ (с. 218).— СЦ на 1826 г. Пб., 1827. Написано на экземпляре «Опытов...», подаренном Батюшковым С. С. Уварову. *Солим* — Иерусалим. *Аттика* — провинция Греции с центром в Афинах.

⟨П. А. Вяземскому⟩ (с. 219).— РА, 1866, № 3. Стих. было включено в недатированное письмо П. А. Вяземскому с припиской: «Т. е. я теперь, сидя с сильной головной болью, от которой ниже сном, ниже перечитыванием Шихматова не избавлюсь». Условно датировано Д. Д. Благим 1817 г. (Соч. 1934, с. 574). Однако есть основание и для более ранней датировки. В 1810 г. скончался Бобров, и стих. могло являться своеобразным «откликом» на его смерть (в 1817 г. Бобров — почти забытая фигура). Кроме того, в том же письме Батюшков сообщает: «К Измайлову будет послано»— то есть для публикации в каком-то измайловском издании. Между тем в 1817 г. Измайлов не имел собственного печатного органа, а в 1810 г. издавал журнал «Цветник», в котором Батюшков активно сотрудничал.

Из греческой антологии (с. 220).— Брошюра «О греческой антологии», Пб., 1820 (вместе со статьей С. С. Уварова, в которой давались фр. переводы эпиграмм, послужившие непосредственным источником для Батюшкова, не знавшего греческого языка.) *Антология* — многотомное собрание греческих эпиграмм, впервые напечатанное в XV в. Первое из переведенных стихотворений принадлежит Мелеагру Гадарскому

(конец II в. до н. э.), второе — Асклепиаду Самосскому (III в. до н. э.), третье — Гедилу (III в. до н. э.), четвертое и пятое — Антипатру Сидонскому (III в. до н. э.), шестое — неизвестному поэту, с седьмого по двенадцатое — Павлу Силенциарию (VI в.), тринадцатое — Феодориду (III в. до н. э.). *Явор* — одна из разновидностей клена. *Мусия* — мозаика.

К творцу «Истории государства Российского» (с. 224).— ПЗ на 1824 г., Пб., 1824. Отправлено одновременно в письмах А. И. Тургеневу и Е. А. Карамзиной (жене историка); стих. отражает впечатления Батюшкова от чтения первых восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина, вышедших в 1818 году. В основу стихотворения положен эпизод из «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева, повествующий о том, как легендарный «отец истории» Геродот читал свою «Историю греко-персидских войн» на Олимпийских играх в присутствии будущего историка Фукидида.

Князю П. И. Шаликову (с. 225).— НРЛ, 1822, кн. 2, № 17. Опубликовано Шаликовым без ведома автора, относившегося к его творчеству иронически. *...книги, им переведенной.*— Шаликов прислал в подарок Батюшкову свой пер. «Новых повестей» фр. писательницы С. Ф. Жанлис (М., 1818). *«В картузе с козырьком...»*— Буянов, герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». *Кастраты* — певчие папской капеллы.

«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» (с. 226).— «Современник», 1857, т. 62, № 3, с. 82. Написано под впечатлением поездки Батюшкова в мае 1818 года в Байю, небольшой город близ Неаполя, развалины которого были частично затоплены морем.

«Есть наслаждение и в дикости лесов ...» (с. 226).— СЦ на 1828 г. Пб., 1828. Вольный пер. 178-й строфы IV песни «Странствований Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона. До нас дошло начало перевода следующей 179-й строфы:

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей...

Надпись для гробницы дочери Малышевой (с. 226).— СО, 1820, № 35, без ведома Батюшкова. Написано по просьбе неаполитанской знакомой поэта.

Подражания древним (с. 228).— Русь, 1883, № 23. *Будь в счастьи — Сципион...*— Сципион Африканский прославился милосердием, проявленным к побежденным им карфагенянам. *Петр* — русский император Петр I.

Подражание Ариосту (с. 229).— СЦ на 1826 г. Пб., 1826. Вольный пер. 42 октавы 1-й песни «Неистового Орланда» Л. Ариосто. Эпиграф — первая строка подлинника.

⟨Отрывок из Шиллеровой трагедии «Die Braut von Messina»⟩ (с. 230).— Московский телеграф, 1828, № 1. Сокращенный пер. первой сцены трагедии Ф. Шиллера «Мессинская невеста». Традиционная датировка перевода (1813 г.) явно

ошибочна, поскольку существует авторитетное свидетельство Н. А. Мельгунова, что он был выполнен в 1821 г. в Дрездене (см.: Г. Кениг. Очерки русской литературы. Пб., 1862, с. 94—95). *Этеокл и Полиник* — сыновья фиванского царя Эдипа, убившие друг друга на поединке.

«Жуковский, время все проглотит...» (с. 238).— PC, 1887, № 4. Было записано Батюшковым в Дрездене в альбом Жуковскому. Перифраза предсмертного стих. Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...». *Плетаев* — переиначенная фамилия П. А. Плетнева (об обиде Батюшкова на Плетнева см. вступ. ст.).

«Ты знаешь, что изрек...» (с. 238).— Библиотека для чтения, 1834, № 2. *Мельхиседек* — библейский священнослужитель. Какое-либо его изречение, соотносящееся с текстом стих., неизвестно.

СТАТЬИ

Речь о влиянии легкой поэзии на язык (с. 241).— Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете, 1816, т. VI. Речь была зачитана на заседании Общества 26 мая 1816 г. Ф. Ф. Кокошкиным. *Три трагика* — Эсхил, Софокл, Еврипид. *Мудрец Феосский* — Анакреон. *Захарисса* — дочь графа Лейчестера, воспетая в любовных стихах Э. Валлера. «*Мессиада*» — эпическая поэма на библейский сюжет Ф. Клопштока. *...любил отдыхать со старцем Феосским...* — речь идет о сборнике поздней лирики Державина «Анакреонтические песни» (1804). *Полиник... бросается к стопам... Эдипа...* — речь идет о трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804), пользовавшейся исключительным успехом. *Стихотворная повесть Богдановича...* — «Душенька» (1783). *Все роды хороши, кроме скучного...* — цитата из предисловия Вольтера к пьесе «Блудный сын». *В лице славного писателя...* — Н. М. Карамзина, чью «Историю государства Российского» Александр I приказал печатать на казенный счет. *Ученый Рихтер... в прекрасной речи своей...* — Профессор В. М. Рихтер говорил о Муравьеве в «Речи при вступлении в обязанности председательствующего в Медико-хирургической академии», произнесенной 14 декабря 1810 г. (Пб., 1810, с. 6—7; на лат. яз.). «*Эклоги*» Вергилия в пер. Мерзлякова вышли отдельным изданием в 1807 г. Послание А. Ф. Воейкова «*К Эмилию*» более известно под названием «Сатира к Сперанскому об истинном благородстве» (1806).

Нечто о поэте и поэзии (с. 250).— BE, 1816, № 10. *...говорил Монтань...* — неточный пересказ вступления к «Опытам» Монтеня... *бурные времена Франции...* — эпоха религиозных войн между католиками и гугенотами, в которую жил Монтень. *Аристотелевы правила.* — «Поэтика» Аристотеля. *Речь людей такова...* — изречение Сенеки из «Писем к Луциллию» (письмо 114). *...обе фортуны...* — счастье и несчастье. *...подобно Камоэнсу...* — Камоэнс потерял руку, сражаясь в Индии. *Красноречивая женщи-*

на — Ж. де Сталь; Батюшков цитирует 2-ю часть ее трактата «О Германии». *Тибулл не обманывал...* — речь идет о 3-й элегии I книги Тибулла, переведенной Батюшковым. *Скала Воклюзская* — см. ком. к стих. «Мечта». Цитируется 135 канцона Петрарки. *Державин... на берегах Суны.* — Г. Р. Державин в 1789—1791 гг. был губернатором в Карелии, где создал свою оду «Водопад». Ода «Бог» написана им раньше. *Жуковский, оторванный Беллоною...* — речь идет о стих. Жуковского «Певец во стане русских воинов». *Утешно вспоминать...* — цитата из сказки И. И. Дмитриева «Воздушные башни». *Руссо помнил...* — этот эпизод описан в 1-й части «Исповеди» Руссо. *Битва Мандрикара.* — Речь идет о VIII—XVI строфах из 24 песни поэмы Ариосто «Неистовый Орланд». *...говорит о своей милой Мантуе.* — Эклога IX, ст. 21, Георгики, II, ст. 198—199, «Энеида», V, ст. 415. *Эрские* — ирландские (кельтские). *...бард Морвена* — Оссиан. *Засуха* описывается в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Закрылись крайние с пучиною леса...* — цитата из 2-й части поэмы Ломоносова «Петр Великий».

О характере Ломоносова (с. 257). — ВЕ, 1816, №№ 17—18. В статье отразился своеобразный культ Ломоносова, усвоенный Батюшковым от М. Н. Муравьева. В отличие от литературных архаистов Батюшков особо подчеркивает значение Ломоносова для новой русской культуры. В то же время судьба Ломоносова как бы иллюстрирует положения, выдвинутые в статье «Нечто о поэте и поэзии». *По слогу можно узнать человека...* — перефразированный афоризм Бюффона: «Стиль — это сам человек». *...писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели...* — М. Н. Муравьев; Батюшков цитирует его статью «Заслуги Ломоносова в учености». *Бестужев* — А. П. Бестужев-Рюмин. *...однофамилец Шувалова* — А. П. Шувалов.

Вечер у Кантемира (с. 261). — Оп. Статья имеет программный характер; читалась на заседании «Арзамаса» и получила единодушное одобрение его членов. В уста Кантемира Батюшков вкладывает ряд своих излюбленных мыслей. Материалом для высказываний Монтескье послужили его подлинные сочинения — в основном трактат «О духе законов». Многие положения очерка перекликаются со статьей Н. М. Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?». Характеристика Кантемира основана на данных, содержащихся в биографическом этюде аббата Гуаско — друга Кантемира. *«Счастлив, кто довольствуясь малым... и причины»...* — прозаическое переложение и цитата из VI сатиры Кантемира. *С последним вздохом он издаст последний стих...* — цитата из сатиры П. А. Вяземского «К перу моему», где высмеивается Д. И. Хвостов. *Аббат В.* — прототипом для этого образа послужил аббат Венути, приятель Монтескье. *...начало послания своего...* — «Письмо I. К Никите Юрьевичу Трубецкому». *«Миры» Фонтенелевы...* — Кантемир перевел «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля. *Я принялся за Персидские письма...* — пер. Кантемиром «Персидских писем» неизвестен. *Они рубят секирами влажные вина...* — Цитата из «Георгик» Вергилия. *Паннония, Норик* — провинции на окраинах Римской империи. *...ученый шотландец NN.* — подразумеваются песни Оссиана — Дж.

Макферсона (изданные гораздо позже смерти Кантемира). *...на берегах Камы или... Волги возникнут великие умы...* — намек на Г. Р. Державина и И. И. Дмитриева. *...великий гений* — Ломоносов. *...русские взяли приступом Париж...* — намек на взятие Парижа в 1814 г. *...с утраченными надеждами Астольфа.* — В «Неистовом Орланде» Ариосто Астольфо находит утраченные надежды на Луне. *...как можно быть персиянином?* — Ироническая цитата из «Персидских писем» Монтескье. *Ученый Феофан.* — Ф. Прокопович.

Похвальное слово сну ⟨Вступительная часть⟩ (с. 275). — ВЕ, 1810, № 18 (первая редакция); ВЕ, 1816, № 6 (вторая редакция). Вступительная часть печатается в качестве образца литературно-полемической прозы Батюшкова. «Похвальное слово» имеет иронический характер. Имя рассказчика — *Дормидон* — соотнесено с фр. словом dormir (спать). *...то домик выстроят, то купят деревеньку.* — Цитата из басни И. А. Крылова «Лисица и сурок». *Эпические поэмы, в честь Петра Великого написанные...* — «Петр Великий». Р. Сладковского, «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» С. Ширинского-Шихматова и др. *Иссоп* — мелкий кустарник. *...Ломоносов... не успел...* — Подразумевается незавершенная поэма Ломоносова «Петр Великий». *«Аталия»* — трагедия Ж. Расина «Гофолия». *«Российский Феатр»* — собрание театральных сочинений, издававшееся в Петербурге в 1786—1794 гг. *...и все то благо, все добро!* — ироническая цитата из стихотворения Державина «Утро». *...мы хвалили даже блох...* — намек на «Историческое и философическое рассуждение о блохах» А. Н. Нахимова (ВЕ, 1810, № 8). *...двенадцать бедных девушек...* — шутливый намек на балладу В. Жуковского «Двенадцать спящих дев». *Сядь, милый гость!* — Цитата из стих. Державина «Гостю». *...пишет прелестные басни и комедии...* — Речь идет об И. А. Крылове.

О лучших свойствах сердца (с. 281). — СО, 1816, № 14. *Масье* — ученик аббата Сикара; ему принадлежит афоризм: «благодарность — это память сердца». *...женевский мизантроп...* — Ж. Ж. Руссо. *В пустынном воздухе теряя запах свой!* — цитата из элегии Жуковского «Сельское кладбище».

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Разные замечания (с. 289). — В небольших извлечениях в «Изв. АН СССР. Отд. лит-ры и языка», 1955, т. XIV, вып. 4. В более полном виде в Соч. 1979, по тексту которых и печатается с небольшими сокращениями, а также незначительными изменениями и дополнениями по рукописи. (ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1). *Вот описание...* — этот отрывок следует в зап. книжке за выпиской из VI сатиры Ювенала. *Гораций... был осторожным...* — Батюшков цитирует ст. 40—45 VI сатиры II кн. «Сатир» Горация, где автор пишет, что доверенность к нему Мецената проявляется только в самых безделках. *Своим другом* Гораций называет Мецената в ст. 62, VI сатиры I кн. *Журнал С. Н. Глинки* —

«Русский вестник». *Уродливая поэма князя Шихматова.* — «Петр Великий» (1810). *Какой великий писатель Тацит...* — Цитируются кн. III, гл. 1—4, кн. IV, гл. 8—9, кн VI, гл. 50, кн. XIV, гл. 8 «Анналов» Тацита. В повести Жанлис «*Две репутации*» в анекдотическом свете выведен *Ж. Ф. Лагарп*, который был поклонником, а по преданию, и возлюбленным писательницы. В носивших антипросветительский характер повестях Жанлис критиковались также Мармонтель и Вольтер. *Гораций говорит...* — «Наука поэзии» ст. 388—390. *...написали «Горизонт», а не «обзор»...* — Писатели-«шишковисты» настаивали на употреблении слов со славянскими корнями. *Ваксин* — собирательное прозвище цензора. «*Орлеанская девственница*» (1725) — поэма Вольтера. «*Метафизика*» — одно из названий труда Ж. Д'Аламбера «Элементы философии». *Покойный Ш — в* — вероятно, Николай Петрович Шереметев (1751—1809), тративший огромные суммы на благотворительные цели. *Чудак из Жилблаза...* — герой романа А. Р. Лесажа «Жилблаз» (1715) Бернар де Кастиль Блазо (кн. III, гл. I). *Атала* — повесть Ф. Р. Шатобриана. «Paul et Virginie» («*Поль и Виргиния*») — роман Бернардена де Сен-Пьера. *Предисловие к Энциклопедии* — «Очерк происхождения и развития наук» Ж. Д'Аламбера (1751). *М.* — Возможно, речь идет о поэте и офицере Сергее Никифоровиче Марине (1775—1813). «Alcibiade» («*Алкивиад*») — первая из «Нравоучительных сказок» Ж. Мармонтеля (1759). *О милый мой... домик...* — Сатира VI, кн. II, ст. 59—61. *Счастье не принадлежит...* — Послание XVII, ст. 10—12. *Вопреки моим предприятиям...* — Послание VIII, кн. I, ст. 7—12. Легенда о том, что *Ж. Расин* умер вследствие неблагосклонности *Людовика XIV*, была опровергнута позднейшими исследованиями. *Тасс... подражал Петрарку.* — Эту тему Батюшков развил в 1815 г. в статье «Петрарка». Речь идет о 126 канцоне Петрарки и эпизоде из VII песни «Освобожденного Иерусалима» Тассо. *Не умре, спит девица.* — Матфей 9, 24. *...роза...* — цитата из стих. Ф. Малерба «Стансы. Утешение господину Де Перриеру».

Чужое: мое сокровище! (с. 301). — Соч., т. 2. Это заглавие имеет записная книжка, заполненная многочисленными выписками из сочинений на русском и иностранных языках, а также оригинальными мыслями и заметками Батюшкова. Последние и публикуются нами по Соч. 1979 (где текст был уточнен по рукописи). *Что писать в прозе.* — Далее перечислены работы, отражающие интерес Батюшкова к «северной» поэзии: монография Буле, поэма Ж. Ш. Монброна «Скандинавы», возможно, «Предметы для художников...» (1807) А. А. Писарева, «История Дании» (1755—1756) П.-А. Малле. *О сочинении Радищева...* — вероятно, связанные с «оссианической» традицией «Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» А. Н. Радищева. *И вот как пишут историю!* — Цитата из комедии Вольтера «Шарло». Рассказ о Раевском направлен против облачения Отечественной войны в одежды римской героики, всячески культивировавшегося русской журналистикой. *Твой приятель... воспел в стихах...* — Имеются в виду посвященные Раевскому строки в «Певце во стане русских воинов» Жуковского («Раевский, слава наших дней, // Хвала!

перед рядами//Он первый, грудь против мечей, // С отважными сынами»). *Писарев* — А. А. Писарев. *Давыдов* — Л. В. Давыдов. *У меня нет больше крови...* — цитата из трагедии Вольтера «Эрифила». *Хлад бесстрастия в крови...* — перефразированная цитата из стих. Державина «Праздник воспитанниц Девичьего монастыря». *Кантемир...* — Батюшков явно соотносит литературную жизнь 1-й трети XVIII в. с ситуацией первых десятилетий XIX в. *Петров, Майков* — в одной паре Батюшковым упомянуты литературные антагонисты: «сумароковец» Майков пародировал «витийственный» стиль Петрова. *Державин.* — Перефразируется «Памятник» Державина. *Богданович. Влияние его.* — Подразумевается влияние Богдановича на развитие «легкой поэзии». *Он то же делает у нас, что Буало и Попе у себя.* — Буало и Поп считались «очистителями» стихотворного языка, борцами с литературным «варварством» и арбитрами вкуса. *Переводы Кострова и Гнедича...* — Подразумеваются переводы «Илиады» Гомера. *...издание Жуковского и потом Кавелина.* — «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских...», изданное В. А. Жуковским (ч. 1—5, М., 1810—1811) и продолженное Д. А. Кавелиным (ч. 6, М., 1815). *...письма И. М. ...* — «Письма из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола. *Его противники...* — Батюшков имеет в виду рецензии П. И. *Макарова* на «Рассуждение о старом и новом слоге», Д. В. *Дашкова* на шишковский перевод двух статей из Лагарпа, его полемическую брошюру «О легчайшем способе возражать на критики» и рецензии П. А. *Никольского* в «Санкт-Петербургском вестнике». *Радищев... Колычев.* — Названы писатели просветительской ориентации, в той или иной мере связанные с «радищевской» традицией. *На светло-голубом эфире...* — перефразированная цитата из «Видения Мурзы» Державина («На темно-голубом эфире...»). *Как бедный часовой тот жалок...* — цитата из стих. Державина «Приглашение к обеду». *Петров (Агатон Карамзина)* — А. А. Петров, друг Карамзина (со временем отношения между ними осложнились); на кончину Петрова Карамзин откликнулся прочувствованным очерком «Цветок на гроб моего Агатона».

ПИСЬМА

Публикация эпистолярного наследия Батюшкова началась еще при жизни поэта, а впервые собрано оно было Л. Н. Майковым в третьем томе «Сочинений» (Пб., 1887), куда вошло более трехсот писем. Из этого собрания здесь печатаются письма, содержащие обширные стихотворные фрагменты, а также письма Е. Ф. Муравьевой от 20. VI. 1818, воспроизведенное Майковым с большими искажениями, и А. Н. Батюшковой от 11. IX. 1818, впоследствии ошибочно опубликованное с адресацией Г. А. Гревенсу. (Рус. архив, 1902, № 8). Составители настоящего издания стремились с максимальной полнотой представить письма Батюшкова, введенные в оборот после «Сочинений». Список их публикации до 1959 г. см.: История русской литературы XIX в. Библиографический указатель (ред. К. Д. Муратова. М.—Л.,

1962, с. 143). Позднее Н. В. Фридманом были опубликованы письма к П. А. Вяземскому от 11. XI. 1815 (Прометей, т. 2. М., 1967) и 2-я пол. марта 1815 (Рус. литература, 1970, № 1) и письмо Е. Ф. Муравьевой от 30/18. XII.1818 (там же), И. Т. Трофимовым — письмо В. Д. Олсуфьеву от 9.X.1821 (в его кн.: Поиски и находки в московских архивах.— М., 1982), Р. В. Иезуитовой — письмо В. А. Жуковскому от мая 1811 (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 г.— Л., 1984), В. А. Кошелевым — письма Шипиловым, а также Вяземскому от 9.V.1813 (там же). В настоящем издании перепечатаны все названные выше письма, за исключением записок Княжевичам (Старина и новизна, 1905, № 9) и В. Ф. Вяземской (Вестник всемирной истории, 1900, № 6), письма И. И. Энгельмейеру (Рус. старина, 1893, № 2), несущего следы душевного заболевания, и письма неизвестному (Рус. архив, 1891, № 1), которое в действительности не принадлежит Батюшкову, а представляет собой фрагмент из письма Жуковского А. И. Тургеневу.

Когда эта книга уже была в производстве, вышел подготовленный В. А. Кошелевым сборник: Б а т ю ш к о в К. Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985, где было впервые опубликовано значительное количество писем Вяземскому, а также два письма Д. В. Дашкову и Д. Н. Блудову. Материалами этого, имеющего большое текстологическое значение издания мы успели воспользоваться лишь отчасти. В тексты ряда писем внесены, сравнительно с первоизданиями, изменения по рукописям. По подлинникам воспроизводятся письма П. А. Вяземскому (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416), Ф. Н. Глинке (ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, ед. хр. 77), Е. Ф. и Н. М. Муравьевым (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 323—324). Уточнения традиционных датировок некоторых писем мотивируются в комментариях. Такие уточнения, сделанные на последнем этапе подготовки издания, обусловили в двух случаях отступления от хронологической последовательности расположения писем. Даты писем, написанных из-за границы, приводятся по европейскому стилю, за исключением тех случаев, когда двойная дата проставлена самим Батюшковым.

Комментаторы приносят благодарность А. А. Ильину-Томичу за помощь в работе.

Н. И. Г н е д и ч у. 2.III.1807 г.— Написано в пору службы Батюшкова в петербургском ополчении, перемещавшемся к театру военных действий. *...твой Ахиллес...*— намек на переводы Гнедича из Гомера. *Красный Кабак* — трактир за петербургской заставой. *Лаптевич* — лицо неустановленное; по всей вероятности, дружеское прозвище кого-то из общих знакомых Батюшкова и Гнедича. *...в департаменте...*— в департаменте народного просвещения, где Батюшков служил вместе с Гнедичем до своего поступления в ополчение.

Н. И. Г н е д и ч у. 19.III. ⟨1807 г.⟩ — *Мальвина* — собака Гнедича. *Что твой Гомер? Что Костров?*— Первоначально Гнедич замышлял свой перевод «Илиады» как продолжение выполненного еще в XVIII в. перевода Е. Кострова (к тому времени было издано 6 песен). Однако Гнедич опасался, что в рукописи существует и продолжение костровского перевода. Его опасения оправдались: в 1811 г. были изданы VII, VIII и часть IX песни «Илиады»

в пер. Кострова. Это послужило стимулом для того, чтобы Гнедич начал пер. «Илиады» заново — не традиционным шестистопным ямбом, а гекзаметром. *...играют ли Донского?* — Трагедия В. Озерова «Димитрий Донской» была с колоссальным успехом представлена на петербургской сцене 14 января 1807 г. и за короткий срок выдержала ряд постановок.

Н. А. Оленину. 11.V.1807 г. — *Языки, ведайте, велик российский бог!* — Заключительные стихи из трагедии Озерова «Димитрий Донской». *Завидна участь мне... и мучуся всегда.* — Цитата из трагедии А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец».

Н. И. Гнедичу. ⟨Начало 1808 г.⟩ — *Абрам Ильич* — Гревенс. Кто подразумевается под *русским Фрелоном* — не установлено. *Медаль* — медаль, которой Батюшков был награжден за службу в ополчении 1807 г. *Вестник Драматический* — журнал «Драматический вестник», издававшийся литераторами, близкими оленинскому кружку; в 1808 г. в нем деятельно сотрудничал и Батюшков. *...с аннинским крестиком.* — За храбрость в сражениях при Гейльсберге и Лаунау Батюшков был награжден орденом Анны 3-й степени.

Н. И. Гнедичу. 24.IV.1808 г. — *Поговорим немного о Тассе.* — В это время Батюшков активно занимался переводом «Освобожденного Иерусалима» и вскоре через Гнедича передал переведенные фрагменты в «Драматический вестник» (см. ком. на с. 474). *Мерзляков не перевел ли... без меня?* — Мерзляков начал переводить «Освобожденный Иерусалим» в 1808 г., однако полностью его перевод был опубликован лишь в 1828 г. *...своего Гомера...* — Подразумеваются переведенные Гнедичем части «Илиады». *«Поликсена»* — трагедия Озерова. *«Трумф»* — «шутотрагедия» Крылова, распространявшаяся в списках. *...и все помню жучка в эпанечках.* — Шутливое использование выражения из стих. Державина «Евгению. Жизнь званская» («Блестят и жучки в епанечках»).

П. А. Шипилову. 12.VI.⟨1808 г.⟩ — П. А. Шипилов находился в это время вместе с А. Н. Батюшковой в Петербурге в связи с делом о разделе имения покойной матери Батюшковых. Сестра Батюшкова Анна, жена А. И. Гревенса умерла весной 1808 г.

Н. И. Гнедичу. 1.VII.1808 г. — *Поклонись Дмитриевым...* — имеется в виду семейство прежнего сослуживца Батюшкова, литератора В. В. Дмитриева.

Н. И. Гнедичу. ⟨Начало 1809 г.⟩ — *У вас, я слышал, много нового — и чудеса.* — Возможно, речь идет об интригах против В. Озерова, к которым оказался причастен близкий к оленинскому кружку А. Шаховской.

Н. И. Гнедичу. 4.VIII.1809 г. — *Радищев.* — Н. А. Радищев. *Кротал* — древнегреческий музыкальный инструмент. *Анна Петровна* — Квашнина-Самарина. *...я ехал по следам Бороздина.* — В 1809—1811 гг. историк К. М. Бороздин с научными целями совершал путешествие по России. *Алексей Николаевич* — Оленин. *Вакштаф* — сорт табака. *Александр Петрович* — Беницкий.

Н. И. Гнедичу. 1.XI.1809 г. — *...в последнем письме...* — это письмо неизвестно. *Послушай Власьевны в «Сбитенщике»...* — Батюшков цитирует комическую оперу Я. Б. Княжнина «Сбитенщик». *«Описание Потемкинского праздника»...* — Имеется в виду

стих. Г. Р. Державина из «Описания торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила». *Многие советы...*— цитата из XXVII песни (1 строфа) поэмы Ариосто «Неистовый Орланд». *Гоняются ли за тобой утренние шмели?*— Здесь и далее Батюшков, видимо, подразумевает молодых литераторов, донимавших Гнедича своими просьбами. *Честь Кодру — Жихареву...*— пародийная перефразировка формулы из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева («Честь Кодру — властелину!»), где Кодром именовался бездарный драматург. Батюшков относился к драматургическим опытам С. Жихарева крайне скептически. *Измайлов плетет, а не пишет.*— Имеются в виду сочинения Измайлова, опубликованные в журнале «Цветник». *Что Беницкий?*— С середины 1809 г. состояние здоровья Бенитцкого резко ухудшилось. *...а ныне... пятьдесят мне било...*— Цитата из стих. Г. Р. Державина «На счастие». *Как тебе понравилось «Видение»?*— Имеется в виду «Видение на берегах Леты»; Гнедич встретил эту сатирическую поэму восторженно и никаких сокращений и изменений в ней не сделал. *Два помещика...*— цитата из III сатиры Буало. *«Кир»*— прециозный роман М. де Скюдери «Артамен, или Великий Кир». *Да Писареву до этого дела нет.*— Имеется в виду книга А. А. Писарева «Предметы для художников, избранные из Российской истории...» (СПб., 1807). *...сочинитель «Системы природы»...*— П. Гольбах. *«Анахарсис»*— роман Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию». *«Правила для актеров»*— компилятивная книга А. А. Писарева «Общие правила театра...» (СПб., 1809). *Я из рецензии вижу...*— Книга Писарева была отрецензирована в шестом номере «Цветника» за 1809 г. *Я спасаюсь...*— цитата из «Посвящения королю», предварявшего собрание сочинений Буало.

Н. И. Гнедичу. 3.I.1810 г.— *Видение пророка Ирмозиасооа.*— Начало письма пародирует библейский стиль; пародийно и имя вымышленного «пророка». *...видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом...*— перефразированная цитата из стих. И. И. Дмитриева «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» («Я вижу весь Парнас, весь сумасшедших дом»). *...мне стыдно перед Глинкой...*— Батюшков намекает на сатирический «портрет» С. Н. Глинки в «Видении на берегах Леты». *Кар⟨амзин⟩ был в Твери.*— Н. Карамзин посетил в Твери великую княгиню Екатерину Павловну. *Малиневич* — лицо неустановленное. *«Заира»* — трагедия Вольтера, переведенная в 1809 г. Н. И. Гнедичем в соавторстве с рядом литераторов (А. А. Шаховским, М. Е. Лобановым и др.). *Изм⟨айлов⟩ свинтус и неучтивец.*— Измайлов задерживал высылку предназначенных для Батюшкова экземпляров «Цветника».

П. А. Вяземскому ⟨Нач. 1810 г.⟩— Написано в начале знакомства поэтов, они еще на *«вы»*. *...эхо по холмам* — ранний вариант 18 строки элегии «Мечта». Данный фрагмент вошел в «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» (ВЕ, 1810, № 8). *Отъезжающий родственник* — возможно, А. И. Гревенс.

В. А. Жуковскому ⟨Первая пол. 1810 г.⟩— *...таз медяный* — вероятно, черновой вариант перевода ст. 23—24 III элегии 1 кн. Тибулла.

Е. Н. и П. А. Шипиловым 17.III ⟨1810 г.⟩ — *Катерина Федоровна* — Е. Ф. Муравьева.

П. А. Вяземскому 7.VI. ⟨1810 г.⟩ — *Катерина Андреевна и Николай Михайлович* — Карамзины. *Девица Жуковская.* — Среди друзей В. А. Жуковского было принято подшучивать над его целомудрием. *Болезненный тик* — подергивание в ноге, следствие раны, полученной Батюшковым в Гейльсбергском сражении. *Рукопись* — вероятно, «Разговоры в царстве мертвых», опубликованные в том же году Карамзиным в двухтомнике М. Н. Муравьева «Опыты истории словесности и нравоучения». *Сельский житель.* — Батюшков обыгрывает название поэмы фр. поэта Ж. Делиля. *Жуковский печатает...* — некролог (литания) С. С. Боброву появился в ВЕ, 1810, № 11, вместе с двумя эпиграммами Вяземского, связанными со смертью поэта.

П. А. Вяземскому 29.VII.1810 г. — *Эней* — герой эпич. поэмы Вергилия «Энеида» *(набожный* — его постоянный эпитет в поэме), которого Батюшков иронически объединяет с *Элизой* — возлюбленной и адресатом писем Йорика, героя романа англ. писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие». *Он засмеялся...* — неточная цитата из 7 картины III действия комедии А. Пирона «Метромания» (1735). *Астафьево* — подмосковное имение Вяземских. *Я к нему писал.* — Это письмо см. Соч., т. 3, с. 98. *А я из скупости...* — переиначенная цитата из стих. И. И. Дмитриева «Послание английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту». Перевод «*Песни песней*», сделанный Батюшковым, не сохранился. Перевод «*Неистового Орланда*» Ариоста с фр. был издан П. С. Молчановым (т. II—III, М., 1791—1793). *Под Белевом* находилось имение Протасовых, где подолгу жил Жуковский. *Лаура* — стих. Вяземского «Моленье Лауры» (ВЕ, 1809, № 6).

В. А. Жуковскому ⟨Вторая пол. мая 1811 г.⟩ — Батюшков, Жуковский, Вяземский и Е. Ф. Муравьева находились в одном городе только в 1810—1811 гг. К 1811 г. относится начало работы Жуковского над изданием соч. М. Н. Муравьева. Сведения о внезапном отъезде Жуковского из Петербурга см.: Жуковский В. А. Письма А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 94.

П. А. Вяземскому ⟨Конец июня — нач. июля 1811 г.⟩ — Написано перед отъездом Батюшкова в деревню. Е. Ф. Муравьева с детьми приехала с подмосковной дачи, где незадолго до этого жил Батюшков.

Н. И. Гнедичу 27.XI—5.XII.1811 г. — *Балдус, Скривериус и Матаназий с Метафрастиком* — нарицательные имена, обозначающие педантов-комментаторов. *...служить и готовиться к экзамену...* — Имеется в виду принятый в 1809 г. по инициативе М. Сперанского указ, дающий право на получение чина коллежского асессора только по предъявлении университетского аттестата или после сдачи специальных экзаменов. *...подобно Митрофану...* — отсылка к 7 явлению 3 действия «Недоросля» Д. И. Фонвизина. *...поэтическими подробностями из Зябловского...* — подразумевается популярный учебник статистики России Е. Ф. Зябловского. *Везде встречаются быки...* — неточная цитата из басни А. П. Бенитцкого «Бык и овцы». *...La faute en est*

aux dieux... — переделка стиха из комедии Грессе «Злой». *Он изволит забавляться на счет Мольера.*— Об этих выступлениях Каченовского Батюшкову сообщил Вяземский (ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28). *Он написал послание к Дашкову...*— Имеется в виду полемическое «Послание к Д. В. Дашкову» В. Л. Пушкина, направленное против Шишкова и его лагеря. *...Измайлов — басни, сказки, видения и проч....*— подразумеваются расходившиеся в списках стихотворения А. Измайлова, осмеивающие членов Беседы любителей русского слова и их союзников. «*О логика, несть без тебя спасения!*»— вольная цитата из комедии Я. Б. Княжнина «Неудачный примиритель». *Синекдохос* — герой этой комедии, тип педанта. *Надобно иметь характер и золота в навоз не бросать...*— Далее Батюшков характеризует содержание первых книжек «Чтений в Беседе любителей русского слова». *Гораций* — статья И. М. Муравьева-Апостола о жизни Горация (кн. I, 1811). *Львова стихи* — стих. Ф. П. Львова «Ручей» (кн. 2, 1811). *Штаневич* — Е. И. Станевич. *Уныние* — стих. Гнедича («Задумчивость»); Батюшков внес в него поправки и рекомендовал (в письме от 7.XI.1811) использовать мотивы стих. Лагарпа «Меланхолия». «*Мечта*» — стих. Батюшкова. *...скажу вместе с моим поэтом...*— Далее цитируется 3 сатира Л. Ариосто. *Собрание стихов Жуковского.*— Имеется в виду «Собрание русских стихотворений...», изд. В. Жуковским (ч. 1—5, М., 1810—1811), куда вошли все перечисленные ниже произведения.

П. А. Вяземскому 19.XII.1811 г.— Написано в ответ на неопубл. письмо Вяземского, содержащее рассказ о столкновении Шаликова и Каченовского и критические замечания на стих. «Мои пенаты». *Томы* — городок в Румынии, место ссылки *Овидия*. *Эпиграмма* — стих. Вяземского «Отъезд Вздыхалова», направленное против Шаликова. *...не будем уподобляться педантам Мольера.*— Намек на диалог Триссотина и Вадиуса из «Ученых женщин» Мольера (д. III, сц. III), начинающийся взаимными комплиментами и кончающийся оскорблениями. *Родяся мопсом* — пересказ бессмысленной эпиграммы Шаликова на Вяземского, приведенной в письме Вяземского. *Вы всегда находчивы...*— цитата из II сц. III акта «Ученых женщин». *Мерзляков... был обижен мною...*— в стихотворении «Видение на берегах Леты». «*Сиротка Филомела*»— басня Батюшкова «Филомела и Прогна». Другая басня, которую цитирует Батюшков, до нас не дошла. *Послание* — «Мои пенаты». *Поклонись Давыдову* — Д. В. Давыдову. *Давыдов — Анакреон* — Л. В. Давыдов. *Я сожалел бы...*— цитата из предсмертного послания Вольтера маркизу де Вилье. *Чтобы любовь и Гименей...*— Вяземский женился осенью 1811 г. во время пребывания Батюшкова в деревне. Его жена Вера Федоровна (урожд. Гагарина 1790—1886) отличалась замечательной красотой.

Д. Н. Блудову 〈Весна 1812 г.〉 — комедия Шаплена «*Меломания*» (1783) в «Литературной переписке» Ж. Ф. Лагарпа не упоминается. Возможно, Батюшков имел в виду «Метроманию» А. Пирона. *...славянские бредни* — взгляды членов «Беседы любителей русского слова».

Н. М. Муравьеву 1.V.1812 г.— Речь в письме идет о кончине швейцарца Петра, жившего в доме Муравьевых в качестве воспитателя Никиты и Александра.

Н. М. Муравьеву 30.V.1812 г.— *Лизавета Марковна и Алексей*

Николаевич — Оленины. В это время Батюшков служил в имп. Публичной библиотеке под началом А. Н. Оленина.

Д. В. Дашкову 9.VIII.⟨1812 г.⟩ — *...весь Парнас, весь сумасшедших дом...* — см. ком. к письму Гнедичу от 3 января 1810 г. *...о Батые...* — Речь идет о Д. Н. Хвостове и его «Оде на мир с Оттоманскою Портою 1812 года мая 16 дня» (Пб., 1812). *...такого дня и года...* — цитата из пародии Дмитриева «Чужой толк», высмеивающей одические штампы. *...о нашем обществе...* — Подразумевается Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, из которого Дашков был исключен за издевательскую приветственную речь Хвостову; в знак протеста общество покинули все будущие «арзамасцы». *...Солнцев дом* — выражение из надписи Державина «На освящение Эрмитажного театра...». *...напечатали два нумера...* — журнала «Санкт-Петербургский вестник». *...Лапушнику досталось по ушам...* — Имеется в виду сатира М. Милонова «К моему рассудку», содержащая злые насмешки над В. Л. Пушкиным. *...louant dieu...* — цитата из басни Лафонтена «Желудь и Тыква». *...переводчик Илиады... и г-жи Дезульер* — Мерзляков.

Е. Н. и П. А. Шипиловым 7.IX.⟨1812 г.⟩ — *...из Москвы отправился...* — Батюшков выехал из Москвы перед вступлением французов, чтобы сопровождать в Нижний Новгород Е. Ф. Муравьеву с детьми. *Сколько слез!* — в Бородинской битве были убиты Н. А. Оленин и С. Н. Татищев. П. А. Оленин был контужен.

П. А. Вяземскому 7.XII.⟨1812 г.⟩ — *Мамонов полк.* — В 1812 г. Вяземский служил в ополчении. *...Твои стихи.* — Вероятно, послание «К моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину». *Мой зять* — П. А. Шипилов, живший в Вологде, где тогда находился Вяземский. «*О, волжских жители брегов...*» — строки из послания В. Л. Пушкина «К жителям Нижнего Новгорода». *Где Жуковский?* — Жуковский находился в это время в Вильно при квартире главной армии. 6.XI.1812 г. он получил орден Анны 2-й степени.

П. А. Вяземскому ⟨Январь 1813 г.⟩ — Письмо написано по возвращении Батюшкова из Вологды в Нижний Новгород, куда осенью 1812 г. прибыло множество беженцев из Москвы, в том числе Карамзин, В. Л. Пушкин и др. *Второе послание к Арб⟨еневой⟩ ...послание Бат⟨юшкову⟩* — стих. В. А. Жуковского 1812 г. Первое послание Арбеневой — неизвестно.

П. А. Вяземскому 9.V.1813 г. — Написано по приезде в Петербург, в ожидании отправки в армию, состоявшейся 24.VI.1813 г. В письме обсуждается послание Вяземского «К Жуковскому» (1813), где выражается неуверенность автора в своем поэтическом призвании. При доработке послания Вяземский в значительной степени учел замечания Батюшкова (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 год. Л., 1984, с. 147—148). *Благодарю за похвалу...* — В послании говорится: «Там Батюшков, летя во след звезды надежной//И к верной пристани бег правя осторожный,// Манит меня к себе,— и вопреки всему,// Безумный, я едва не следую ему». *Дураки существуют...* — цитата из комедии Ж. Б. Грессе «Злой» (акт II, сц. II). *Зачем*

ты кончишь Вольтером? — Послание Вяземского завершается выпадом против Шаликова, взявшего эпиграфом к своему журналу «Аглая» слова Вольтера «Все роды хороши, кроме скучного». Как весь пассаж, так и перевод цитаты «Все роды хороши, но скучный нестерпим» показались Батюшкову неудачными. *Жуковский.* — Приехал в Белев 6.I.1813 г. Переработав «Певца во стане русских воинов», отправил его через *Ивана Ивановича Дмитриева,* занимавшего тогда пост министра юстиции, со стихотворным посвящением: «Мой слабый дар царица одобряет» не жене Александра I — *Елизавете Алексеевне,* как пишет Батюшков, но его матери императрице Марии Федоровне, которая 8.V.1813 г. наградила поэта перстнем.

Н. И. Гнедичу ⟨**Сентябрь 1813 г.**⟩ — *...купи сии карты...* — В приложенном к письму списке перечислены генеральные карты Германии и Европы. *Яковлев* — П. С. Яковлев, приятель Гнедича. *Строгонов* — вероятно, гр. П. А. Строганов, которого Батюшков знал по Шведской кампании.

Д. В. Дашкову 25.IV.1814 г. — Яркий пример письма-статьи, предназначенного не для одного адресата, а для достаточно широкой аудитории (письмо распространялось в списках). *Хлыстов* — Д. И. Хвостов. *...у Beauvilliers...* — в известном парижском ресторане. *Палицын, гроза чтецов* — цитата из «Певца в Беседе Славено-россов». *...второй класс Института.* — Французская Академия. *...это не мрамор — бог!* — Возможно, эта реплика отозвалась в стих. Пушкина «Поэт и толпа» («Но мрамор сей ведь бог!..). *...лучшим возвращаюсь...* — перефразированная формула из стих. И. И. Дмитриева «К Г. Р. Державину по случаю кончины первой супруги его». *Иван Иванович* — Дмитриев.

Д. П. Северину 19.VI.1814 г. — Северин был в 1814 г. с Батюшковым в Париже и Лондоне, откуда поэт через Швецию вернулся в Россию. *Готенбург* — Гетеборг, порт в Швеции. *Рафаэль* — лондонский знакомый Северина. *Годдемы* — проклятия (*от англ.* god damn). *Карфаген* — древняя островная республика. *Новый Карфаген* — Англия. *Ковент-гарден* — торговый район Лондона. *Норвегия, которую...* — после датско-шведской войны в 1814 г. Норвегия отошла к Швеции, а ее кронпринцем был назначен наследник шведского престола принц Карл-Иоганн. *Бедный Йорик* — цитата из «Гамлета» (д. V, ед. I). *Гайд-парк* — парк в Лондоне. *Земля и берега.* — Эта и следующая цитаты взяты из 24 строфы XV песни «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. *Росток* — порт в Германии. *Мастранд* — остров в проливе Каттегат у побережья Швеции. *Капуя* — город в Италии.

П. А. Вяземскому 27.VII.⟨**1814 г.**⟩ — *Нелединский заставил...* — О работе Батюшкова над либретто праздника в Павловске см. с. 478. *Зритель* — Александр I. *Простодушный Лафонтен* — в сатире «Флорентинец» Ж. Лафонтен рассказал, как Ж.-Б. Люлли уговорил его написать либретто для оперы, а потом отказался от постановки и осыпал автора насмешками. *Паршивый человек... поэт, от которого все бегают.* — См. «Наука поэзии» Горация, ст. 453—476. *Твой... хор* — застольная песня Вяземского «Веселый шум, пенье и смехи», содержащая призыв к Батюшкову присоединиться к своим московским друзьям. Жуковского «*Певец*» — вероятно, «Певец во стане русских воинов». *Василий Львович* — Пушкин. *Когда? когда?* — рефрен одноименного стих. Вяземского.

П. А. Вяземскому 7.VIII.1814 г. — *Иван Иванович* — Дмитриев. *...сердечных неудовольствий...* — первое упоминание о сложностях в отношениях с А. Ф. Фурман.

П. А. Вяземскому 27.VIII.⟨1814 г.⟩ — Письмо написано в связи с известием о смерти первого сына Вяземского — Андрея. *...я хочу выйти в отставку...* — Это удалось Батюшкову только через полтора года. *Письмо к М** — «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях г. Муравьева» появилось в СО, 1814, № 35. *Николай Михайлович* — Карамзин, издавший в 1810 г. двухтомные «Опыты» Муравьева.

П. А. Вяземскому 4.IX.1814 г. — *наборщик... пошутил...* — В одном из авторских примечаний к статье высказывалось пожелание, чтобы Жуковский «не истощил бы своего бесценного таланта на блестящие безделки».

П. А. Вяземскому 10.I.1815 г. — *Твои стихи* — «Песнь на день рождения... Александра I» и «Песнь на открытие в Москве дома Российского благородного собрания» (СО, 1815, № 3). *Стихи Жуковского* — послание «Императору Александру». *Гуси* — традиционная кличка членов Беседы, *лебеди* — вероятно, здесь московские арзамасцы. *Императрица* — Мария Федоровна, мать Александра I. *...то же сделать, что Александр Древний...* — Батюшков путает *Фидия*, умершего задолго до рождения Александра Македонского, с Лисиппом (IV в. до н. э.), скульптором, которого Александр считал единственно достойным изображать себя. «*Дом сумасшедших*» — стихотворная сатира А. Ф. Воейкова, где в качестве обитателей желтого дома выведены С. Н. Глинка, А. Ф. Мерзляков, Батюшков и сам автор. В некоторых списках сатиры фигурировал и В. Л. Пушкин. *Заблуждения и сердца, и ума...* — название романа (1736) фр. писателя К-П.-Ж. Кребийона. *Левушка* — Л. В. Давыдов.

П. А. Вяземскому ⟨Январь 1815 г.⟩ — *Твое послание* — стих. Вяземского «К подруге». *Жуковскому дали Анну...* — Эти сведения не подтвердились.

П. А. Вяземскому ⟨Вторая пол. января 1815 г.⟩ — *Издатель* сборника «*Пантеон* русской поэзии» (ч. 1—6, Пб., 1814—1815), где был напечатан ряд стихотворений Вяземского, — П. А. Никольский.

П. А. Вяземскому ⟨Февраль 1815 г.⟩ — *Ноэль* — сатирическое стихотворение П. А. Вяземского «Спасителя рожденьем». *Мур.-Ап.* — И. М. Муравьев-Апостол. *Возьмите, боги, жизнь!* — строка из «Элегии» Батюшкова. *Ум любит странствовать...* — Строка, составленная Батюшковым по мотивам басни И. И. Дмитриева «Два голубя». *Список рифм и слов...* — цитата из послания Батюшкова «К друзьям». *Какие глупости...* — строка из «Странствователя и домоседа».

П. А. Вяземскому ⟨Вторая пол. марта 1815 г.⟩ — *тетка* — Е. Ф. Муравьева. *Тихвин* — город в Новгородской губернии, где находился монастырь XVI века. 15.III.1815 г. А. И. Тургенев сообщал Жуковскому, что Батюшков еще не вернулся из Тихвина. (РО ИРЛИ, ф. 309, № 4713б, л. 7об.—8). *Сердце... было оскорблено...* — Намек на разрыв с А. Ф. Фурман. *...не писать — не жить поэту...* — Строка из «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова. *Успехов просит ум, а сердце счастья просит...* — строка из послания П. А. Вяземского «Друзьям» (1815). *Шутка* — Певец в Бе-

седе славяно-россов». *Слова... Роллена...* — Речь идет о письме Ш. Роллена Ж. Б. Руссо от 10.III.1736 г., где Роллен отвечает на стихотворное послание Руссо. *Книга... М. Н. Муравьева* вышла в 1815 г. с предисловием Батюшкова. *Пиеса «Ахилл»* — баллада была написана Жуковским 3.XI.1814 г. *Фингал* — герой «Песен Оссиана» Дж. Макферсона. *Денис* — Давыдов. *Спасибо за Озерова.* — Возможно, речь идет о послании В. А. Озерова В. В. Капнисту, где драматург жаловался на свою литературную судьбу.

П. А. Вяземскому ⟨25.III.1815 г.⟩ — *Вертер* — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера», кончающий жизнь самоубийством. «*Модная жена*» — стихотворная сказка И. И. Дмитриева. *Ты плакал в Астафьеве...* — Несомненно, отклик на стих. Вяземского «Из области тайной», посвященное умершему сыну. А. Д. *Полторацкая* умерла 24.III.1815 г. *И роза...* — См. ком. с. 484. *Наполеон живет...* — 8.III.1815 (по рус. календарю) Наполеон, бежавший с острова Эльба, вступил в Париж.

Е. Ф. Муравьевой 29.V.1815 г. — *...милый брат...* — Н. М. Муравьев находился в это время в Вене в качестве капитана генерального штаба. *Ипполит* — Муравьев-Апостол. *Петр Михайлович* — Дружинин.

П. А. Шипилову ⟨3.VI.1815 г.⟩ — В качестве адъютанта А. Н. Бахметева Батюшков отправлялся в его штаб в Каменец-Подольский. *Сумму... для уплаты.* — Батюшков с 1810 г. был должен И. А. Гагарину 1000 руб. *Александра Николаевна* — сестра Батюшкова. *Алексей Никитич* — отец П. А. Шипилова.

П. А. Вяземскому 1.VIII.1815 г. — Л. В. Давыдов (*Левушка*) также был адъютантом при А. Н. Бахметеве в Каменец-Подольском. *Стишок* — возможно, «Мой гений» или «Разлука»; 11.VIII. Батюшков послал эти стихи Е. Ф. Муравьевой.

П. А. Шипилову 12.X.1815 г. — *Есть мера в вещах!* — Гораций «Сатира 1», кн. 1, ст. 106. *Что знаю я...* — изречение Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XII), символизирующее несовершенство человеческих знаний.

П. А. Вяземскому 11.XI.1815 г. — Письмо представляет собой отклик на известие о постановке комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды», где под именем поэта Фиалкина был выведен Жуковский. Вяземский откликнулся на постановку серией эпиграмм «Венок Шутовскому». *Плач Юнгов* — поэма Э. Юнга. «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии». *Из журнала.* — В СО № 40, вероятно присланном Батюшкову Вяземским, появилась статья Дашкова «Письмо новейшему Аристофану». *Озерова загрызли...* — В карамзинистских кругах было принято связывать душевное заболевание В. А. Озерова с происками его врагов, и прежде всего А. А. Шаховского. *Исоп* — мелкий дикорастущий кустарник. *Он печатает свои стихи* — первый том «Стихотворений» Василия Жуковского появился в 1815 г. *Старик* — А. С. Шишков, чьим «*Рассуждением о любви к отечеству*» открылась в 1811 г. Беседа. *Падение Фаэтона* (1811) — поэма А. П. Буниной. *Храм славы* российских героев (1803) — книга *П. Ю. Львова.* «Расхищенные *шубы*» (1811) и «*Дебора*» — комич. поэма и трагедия А. А. Шаховского.

Е. Ф. Муравьевой 19.XI.1815 г. — *генерал* — А. Н. Бахметев.

П. А. Вяземскому ⟨**Конец января 1816 г.**⟩ — Написано перед отъездом Вяземского в Петербург в последних числах января. *«Вечер на Волге»* (1815) — стихотворение Вяземского. *Смесь Клюквина с Невтоном...* — строка из эпиграммы И. И. Дмитриева на А. И. Клушина.

П. А. Вяземскому ⟨**Февраль 1816 г.**⟩ *Мой Гиппократ* — П. А. Скюдери. *«Поэтическая Галлия»* (т. I—VIII, 1817) — труд Л. А. Маршанжи по истории фр. средневекового искусства. *...ешь стерляди доморощенные...* — шутливый намек на общение Вяземского с А. И. Тургеневым. *Княгиня* — В. Ф. Вяземская.

Е. Н. и П. А. Шипиловым 24—29.III.1816 г. *Алеша* — сын Шипиловых. *Иван Матвеевич* — Муравьев-Апостол.

П. А. Шипилову ⟨**15.IV.1816 г.**⟩ — *...получил отставку...* — Батюшков был отставлен в начале апреля в чине коллежского асессора.

Н. И. Гнедичу 6.VII.⟨**1816 г.**⟩ — *...о долге князю.* — Имеется в виду долг Батюшкова кн. И. А. Гагарину. *...два диплома...* — дипломы на звание действительных членов Общества любителей российской словесности при Московском университете, куда И. А. Крылов и А. Е. Измайлов были избраны 26 февраля 1816 г. *Антонский* — А. А. Прокопович-Антонский, в ту пору президент Общества. *...доброму и почтенному Николаю Ивановичу...* — вероятно, речь идет о публикации послания Батюшкова в журнале Н. И. Греча «Сын отечества».

Е. Ф. Муравьевой 13.VII.1817 г. — *Ваш батюшка* — Федор Михайлович Колокольцев (ум. 1818) откупщик, с 1801 г. сенатор, в это время тяжело болел. *А. Н.* — Батюшкова. *Сенека говорил* — «Нравственные письма к Луцилию», письмо 58.

П. А. Вяземскому ⟨**Июль—август 1816 г.**⟩ — *Жуковского сказки.* — «Переводы в прозе Василья Жуковского» (М., 1816) были изданы *М. Т. Каченовским.*

П. А. Вяземскому ⟨**Июль—август 1816 г.**⟩ — *...мудрец астафьический...* — Вяземский. Письмо было послано из Москвы в Астафьево с В. Л. или А. М. Пушкиным.

П. А. Шипилову ⟨**6.X.1816 г.**⟩ — *чеботарь* — сапожник. *«Риторика»* — вероятней всего «Опыт риторики» И. С. Рижского (М., 1809). *Аркадий Аполлонович* — Соколов.

Н. И. Гнедичу 7.XI.⟨**1816 г.**⟩ — *...посылаю тебе Кантемира* — статью «Вечер у Кантемира» для помещения в «Опытах в стихах и прозе» Батюшкова, готовившихся Гнедичем. *Монтескье разговор — мозаика из его сочинений.* — Многие суждения Монтескье в «Вечере...» восходят к его «Духу законов» и «Персидским письмам». *...что-нибудь в конце можно припечатать о Данте.* — Статьи о Данте в «Опытах...» нет. *...Никольского Пантеона...* — см. с. 493. *...твоего Танкреда...* — речь идет о трагедии Вольтера «Танкред» в пер. Гнедича (1809, опубл. — Пб., 1816).

Н. И. Гнедичу 27.XI.⟨**1816 г.**⟩ — *...твоего Танкреда* — Гнедич просил Батюшкова высказать свои замечания на пер. «Танкреда». *...ты поешь рождение сына Мелесова...* — имеется в виду поэма Гнедича «Рождение Омира» (завершена в конце 1816 г.). *...все от тебя зависит...* — речь идет об издании «Опытов...».

Н. И. Гнедичу. Конец декабря 1816 — первые числа января 1817 г. — *...о книге* — Батюшков выражает обеспокоенность судьбой

«Опытов» *И. М. у вас о сю пору.*— И. М. Муравьев-Апостол был в Петербурге с декабря 1816 до конца февраля 1817 г.

Н. И. Гнедичу 9.I.1817 г.— *Басни Крылова...*— «Новые басни» И. А. Крылова (Пб., 1816). «*Путешествие Головина...*— «Записки флота капитана Головина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.» (Пб., 1816). «*Письма русского офицера*» (М., 1815—1816) соч. Ф. Н. Глинки. «*О высоком*»— трактат Псевдо-Лонгина в пер. И. И. Мартынова (Пб., 1803).

Н. И. Гнедичу 7.II.1817 г.— *Получил и «Рождение Омира».*— Речь идет об отдельном изд. поэмы (Пб., 1817). *Стихи почти готовы.*— Стихотворения, предназначенные для «Опытов...». *Пантеон итальянской словесности.*— Этот замысел Батюшкова, показательный для его интереса к итальянской литературе, осуществлен не был (пер. «Гризельды» вошел в прозаический том «Опытов...», два фрагмента из Тассо и Ариосто опубликованы в «Вестнике Европы» (1817), «*Моровая язва во Флоренции (из Боккаччо)*» — в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1819). *К. Ф.*— Е. Ф. Муравьева. *...съехались на Парнасе...*— формула «*всевидящий слепец*» (у Гнедича — «слепец всевидящий») использована и в «*Рождении Омира*», и в элегии «Гезиод и Омир — соперники».

П. А. Вяземскому 4.III.⟨1817 г.⟩ — *...багодарим за старание...*— Батюшков просил Вяземского выхлопотать для Шипилова место директора Вологодской гимназии. *Благодарю Жуковского...*— в это время Жуковский планировал периодическое издание, а Батюшков готовил свои «Опыты в стихах и прозе». «*А жить надобно*»— вероятно, имеется в виду монолог священника в финале повести Ф. Р. Шатобриана «Атала». *Немецкими переводами...* Жуковский намеревался занять том своего издания . *А. А. Шаховской* путешествовал по Италии в конце 1816 г. В своих письмах (СО, 1816, № 46; 1817, №№ 6, 7) рассказал, как на развалинах Кум он въезжал в высокую арку, называемую «*воротами счастья*». Здесь же он говорит о своем славолюбии стихотворца и о том, что пишет новую *комедию* в карантине (*в чуме*) в Одессе. *Маша* — старшая дочь Вяземского. «*История государства Российского*» Н. М. Карамзина в это время печаталась. *О книге Сисмонди и о Женгене* см. ком. к с. 134. *Певец Жуковского* — стих. «Певец в Кремле», изд. отдельной брошюрой в конце 1816 г. *Ад* — первая часть «Божественной комедии» Данте. *Запрос Арзамасу* — переделка стих. Вольтера «Три Бернарда». *Первый Пушкин* — Алексей Михайлович, второй — Василий Львович, третий — возможно, А. С. Пушкин.

П. А. Вяземскому 9.III.⟨1817 г.⟩ —*...с новорожденной...*— у Вяземского родилась дочь Прасковья. *Стихи* — басня Вяземского «Доведь» первоначально содержала омонимическую рифму на слово «ней», потом исправленную (Ср. «Остафьевский архив», т. I, с. 76). *...бальзам Фьербараса...*— чудесное целительное средство в средневековых рыцарских романах, упоминается в Дон Кихоте. *Попова* — вдова, за которую Батюшков с успехом хлопотал в «Послании А. И. Тургеневу».

В. Л. Пушкину. ⟨Первая пол. марта 1817 г.⟩ — *Странствовал... и опять немедленно пустился странствовать.*— Батюшков пользуется формулами своего стих. «Странствователь и домосед».

...милый староста... — В. Л. Пушкин был избран «старостой» Арзамаса. *...кибитка — не Парнас* — Цитата из стих. В. Л. Пушкина «К***», обращенного к арзамасцам. *Ты злого Гашпара убил одним стихом...* — слегка измененная цитата из стих. «К***». *Гашпар* — Шаховской. *И пел на лире гимн, Эротом вдохновенный...* — из стих. В. Л. Пушкина «К Делии». *...счастию Жуковского...* — назначению ему пенсии.

Н. И. Гнедичу ⟨22—23.III.1817 г.⟩ — *...поэму пришлю...* — речь идет о «Рождении Омира». *...перевода из Тасса, ни из Ариоста не хочу.* — Гнедич предлагал включить в «Опыты...» переводы из «Освобожденного Иерусалима» и «Неистового Орланда», которые уже не удовлетворяли Батюшкова. *...почти александрийских...* — элегия «Умирающий Тасс» написана вольным ямбом. *«Речь» мою...* — «Речь о влиянии легкой поэзии на язык...». *...Ивана Андреевича...* — Крылова. *...примарание* — приписка. *...из всех его басен...* — имеется в виду басня «Ворона и Лисица». *Полторацкие* — намек на Д. М. Полторацкого. *Бах.* — А. Н. Бахметева.

А. Н. Оленину 4.VI.⟨1817 г.⟩ — *«Путешествие»*. *«Путешествие в Малороссию»* П. И. Шаликова (т. I—II, М., 1803—1804). *...наконец у нас президент.* — А. Н. Оленин был назначен президентом Академии художеств 17.IV.1817 г. *Шексна* — река в Череповецком уезде, где близ Уломского озера находилось имение Батюшковых.

Н. И. Гнедичу ⟨Июнь — начало июля 1817 г.⟩ — *Куда Тасса?* — Элегия «Умирающий Тасс» по техническим причинам не попала в соответствующий раздел и была напечатана в конце тома стихов.

Н. И. Гнедичу 17.VII.⟨1817 г.⟩ — *Получил книгу.* — Первый том «Опытов...» *Виньет...* — титульный лист 1-й части украшен рисунком И. Иванова по эскизу А. Н. Оленина (гравировал И. Чесский). *Василий Львович* — В. Л. Пушкин. *Ты этого хотел, Жорж Данден...* — цитата из комедии Мольера «Жорж Данден». *Пошли «Моровую Язву» к Каченовскому...* — Батюшков просит переслать пер. из Боккаччо в «Вестник Европы».

Е. Н. и П. А. Шипиловым ⟨4.VIII.1817 г.⟩ — *Обстоятельства батюшки...* — Н. Л. Батюшков был тяжело болен и умер 25.XI.1817. *Даниловское* — имение Н. Л. Батюшкова. *Посылаю... книгу* — «Опыты в стихах и прозе», вышедшие летом 1817 г.

Е. Н. Шипиловой ⟨Сентябрь 1817 г.⟩ — *...желание ее справедливо.* — В. Н. Батюшкова вышла замуж за А. Н. Соколова в начале 1818 г.

А. Н. Батюшковой ⟨Сентябрь 1817 г.⟩ — *Абрам Ильич* — Гревенс. *Гриша* — его сын. *...книга... убытка не приносит...* — «Опыты...» Батюшкова были изданы Гнедичем. *К. Ф.* — Муравьева.

Ф. Н. Глинке ⟨Осень 1817 г.⟩ — *Его превосходительство* — Н. М. Сипягин.

Ф. Н. Глинке ⟨Ноябрь 1817 г.⟩ — *Савелов* — лицо неустановленное. *Собираюсь в Москву* — поездка не состоялась из-за смерти Н. Л. Батюшкова.

Ф. Н. Глинке ⟨10.V.1818 г.⟩ — Скорее всего, написано перед отъездом Батюшкова в Одессу.

А. Н. Батюшковой 11.V.1818 г. — *...по приезде государевом* — Александр I прибыл в Москву 1.VI.1818. *Брат и сестра* — Помпей и Юлия, дети Н. Л. Батюшкова от второго брака. *Пансион* — при Моск. университете, куда поэт определил Помпея после смерти отца.

Е. Ф. Муравьевой 20.VII.1818 г.— Фрагмент этого письма ошибочно присоединен в «Соч.» к письму от 30.VII. *Козлов* — искаженное Гезлев, татарское название Евпатории. *Мое дело* — хлопоты о назначении в дипломатическую миссию в Италию. *Иван Матвеич, Елена Ивановна, Сергей Иванович* — Муравьевы-Апостолы. *Ваш Корсаков* — возможно, А. И. Корсаков. Кого из многочисленных Корсаковых Батюшков видел в Одессе, не установлено.

Н. И. Гнедичу 10.IX.1818 г.— *В Парфенону* — в Италию.

Н. П. Румянцеву 19.Х.1818. г.— *Каталог* древностей *Бларамберга* вышел в Париже в 1822 г. *Ольвия* — древнегреч. колония близ Одессы. «*Рюрик*» — судно, совершившее кругосветное путешествие на средства Н. П. Румянцева.

М. Ф. Орлову 3.XI.1818 г.— *Иван Сутира* — лицо неустановленное. *Послезавтра* — Батюшков выехал в Италию 19.XI.

Е. Ф. Муравьевой 30/18.XII.1818 г.— *Лемберг* — теперь Львов, тогда главный город австрийской провинции Галиции. *Порхов* — уездный город Псковской губернии. *Из похода прусского* — в 1807 г. *Тешин* (Тешен) — город в Силезии, через который проезжал Александр I, возвращаясь с Ахенского конгресса. В *Венской библиотеке* находилась рукопись «Освобожденного Иерусалима» Тассо. «*Танкред*» (1819) — опера Дж. Россини. «*Замечания об Ольвии*» — книга, которую Батюшков начал писать в Одессе. *Две огромные руки...* — строка из баллады Жуковского «Адельстан», была арзамасской кличкой А. Ф. Воейкова, но в переписке арзамасцев часто применяется к А. И. Тургеневу, чьей кличкой была «Эолова арфа». *Мозырь* — город в Минской губернии, на берегу реки Припять (Перепять). *Книга... Греча* — «Учебная книга российской словесности» (ч. I, Пб., 1819). «*Лексикон русской Академии*»... *Соколова.*— «Словарь Академии российской» (ч. I—VI), Пб, (1806—1822), издававшийся под руководством непременного секретаря академии П. И. Соколова (1766—1836). *Говорит Державин...* — речь идет о первых строках стихотворения «Весна». *Маленькая сестра* — Юлия, брат — *Помпей,* находившийся в университетском пансионе, возглавлявшемся П. М. Дружининым. *Михаил Сергеевич* — Лунин. *Анна Ивановна* — дочь И. М. Муравьева-Апостола. *Зора* — собака Батюшкова.

Е. Ф. Муравьевой 24.V.1819 г.— *Новый министр.* — Г. Э. Штакельберг, переведенный в марте 1819 г. полномочным посланником из Венеции в Неаполь. *Иския* — остров в Неаполитанском заливе, на берегу которого находится курортный городок Кастелламаре (Кастель-Амаро). ...*для императора...* — в 1819 г. в Неаполе находился австр. император Франц II. *Петр Алексеич* — Оленин. В «Записках морского офицера» (ч. I—IV, Пб., 1818—1819) *В. Б. Броневского* и в «Воспоминаниях на флоте» *П. П. Свиньина* есть описания Неаполя. *Зорка, Барон, Зойка* — собаки Батюшкова.

Е. Ф. Муравьевой 20.VI.1819 г.— *Озеро Фугарнское* (Фугаро) — озеро в окрестностях Неаполя, вблизи которого, по описанию, данному Вергилием в «Энеиде», находился спуск в царство мертвых. Об *устрицах,* которыми обильно кормят путешественников на берегах озера, писал в «Письмах из Италии» А. А. Шаховской. *Лира, меч* и *тулуп* — намек на поэтическое

творчество и военную службу Батюшкова, а также на его занятия сельского помещика. В «Неизданной переписке» *Ф. Гальяни* (опубл. в 1818) часты жалобы на скуку и духовную скудость неаполитанской жизни.

Е. Ф. Муравьевой 1.VII.1819 г.— *Мизина* (Мизима) — мыс в Неаполитанском заливе, *Крестовский* — перевоз, место жительства беднейших слоев населения Петербурга. *Корси* — певческая династия в Неаполе.

Е. Ф. Муравьевой осень 1819 г.— *Самсон* (Сампсон) — петербургский врач. С. Ф. Щедрин, посланный в Италию в качестве пенсионера Академии художеств, жил в Неаполе на квартире Батюшкова. *...писать для великого князя...*— по заказу вел. кн. Михаила Павловича Щедрин написал два вида Неаполя. *Лазароны* — ит. нищие. *Сочинения М. Н.* Муравьева, изданные Жуковским, вышли в 1819 (ч. I—II) — 1820 (ч. III) гг. *И. М.*— Муравьев-Апостол.

Е. Ф. Муравьевой 13.1.1821 г.— *...новый начальник* — А. Я. Италинский. В конце 1820 г. Батюшков был переведен из неаполитанской миссии в римскую. *Павел Алексеев⟨ич⟩* — Шипилов. *Неаполитанская революция* — вспыхнула в июле 1820 г. По решению конгресса в Лейбахе против восставших неаполитанцев была послана королевская армия.

В. Д. Олсуфьеву 9.X.1821 г.— *...высокий путешественник...*— возможно, В. А. Жуковский, путешествовавший в свите великой княжны Александры Федоровны. *...отдадите Г. письмо* —3.IX Батюшков отправил с Олсуфьевым письмо Гнедичу с протестом против публикации элегии Плетнева «Б-в из Рима» в СО.

Е. Ф. Муравьевой 26/14. XII.1821 г.— *...вступлении Никиты в службу.*— Осенью 1821 г. Н. М. Муравьев после полуторагодовой отставки, во время которой они с матерью предприняли длительное путешествие в Одессу и Крым, был вновь принят на службу в генеральный штаб. *П. Л.* и *С. А.* — Батюшковы. *Н. М.* — Карамзин. *Мой двойник...*— возможно, речь идет о Плетневе, сочинявшем, по мнению Батюшкова, стихи от его имени. *...примиряться с ее именем...*— вероятно, Батюшков сопоставляет имя сестры с именем шекспировской Джульетты.

СЛОВАРЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

Август Октавиан (63 до н. э.— 14 н. э.) — рим. император.

Аддисон Джозеф (1672—1719) — англ. писатель, родоначальник европейской нравоописательной журналистики.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь македонский, великий полководец, создатель громадной державы.

Альфиери Витторио (1749—1803) — ит. драматург.

Альфонс II д'Эсте — герцог Феррарский (XVI в.).

Анакреонт (Анакреон) (ок. 570—478 до н. э.) — др.-греч. поэт.

Апраксин Степан Степанович (1747—1827) — генерал, знаменитый московский хлебосол.

Аретино Пьетро (1492—1556) — ит. сатирик, имевший репутацию циничного автора.

Ариосто Лудовико (1474—1533) — ит. поэт, автор шутливой рыцарской поэмы «Неистовый Орланд».

Аристарх (II в. до н. э.) — др.-греч. критик, чье имя стало нарицательным.

Аристотель (384—322 до н. э.) — др.-греч. философ и эстетик.

Арндт Эрнст Мориц (1769—1860) — нем. писатель, автор «Путешествий по Швеции» (т. I—IV, 1806).

Архий (II—I в. до н. э.) — рим. поэт-импровизатор сирийского происхождения.

Асклепиад Самосский (III в. до н. э.) — др.-греч. поэт.

Бабрий (II в. до н. э.) — др.-греч. баснописец.

Байрон Джордж Гордон (1788—1824) — англ. поэт.

Баранов Дмитрий Осипович (1773—1834) — сенатский служащий, впоследствии сенатор, литератор-дилетант.

Бартелеми Жан Жак (1716—1795) — фр. археолог, романист.

Батте Шарль (1713—1780) — фр. теоретик искусства.

Батонди Ротонди (ум. 1812) — итальянец, живший в доме Вяземского.

Батюшковы Николай Львович (1755—1817) — отец поэта, Алек-

сандра (1785—1829), Анна (см. Гревенс), Варвара (см. Соколов), Елизавета (см. Шипилов) — его сестры, Помпей Николаевич (1811—1892) и Юлия Николаевна (по мужу Зиновьева) — дети Н. Л. Батюшкова от второго брака; Павел Львович (1765—1848) и Софья Ефстафьевна (1781—1839) — дядя и тетя поэта; Иван Семенович — двоюродный дядя поэта.

Бахметев Алексей Николаевич (1774—1841) — генерал; в 1812—1815 гг. Батюшков был его адъютантом.

Баярд Пьер дю Терайль (1476—1524) — фр. полководец, прозванный современниками «рыцарем без страха и упрека».

Беницкий (Бенитцкий) Александр Петрович (1780—1809) — поэт и прозаик, один из издателей журнала «Цветник».

Берг Федор Федорович (1793—1874) — офицер генерального штаба, дипломат.

Бернадот Жан Батист Жюль (1763—1844) — фр. маршал, впоследствии — король Швеции.

Бланк Борис Карлович (1769—1826) — поэт-сентименталист, сотрудник «Аглаи» П. И. Шаликова.

Бларамберг Иван Павлович (1772—1831) — одесский археолог.

Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — литератор-любитель, «арзамасец»; впоследствии — государственный деятель.

Блюхер Гебгард (1742—1819) — прусский фельдмаршал.

Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (1800—1871) — декабрист, литератор-дилетант.

Бобров Семен Сергеевич (1767—1810) — поэт-архаист, предмет постоянных насмешек карамзинистов.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор шутливой повести в стихах «Душенька».

Бодоин — Болдиин I, участник 1-го крестового похода, король иерусалимский (XII в.).

Бокачио (Боккаччо) Джованни (1313—1375) — ит. писатель.

Болтин Иван Никитич (1735—1792) — рус. историк.

Боржиа (Борджиа) — династия ит. правителей XV—XVI вв.

Бороздин Константин Матвеевич (1781—1848) — историк и археолог.

Боссюет (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704) — фр. богослов; считался блестящим оратором.

Брейткопф Адольф Федорович — сослуживец Батюшкова по департаменту народного просвещения.

Броневский Владимир Богданович (1784—1835) — морской офицер и литератор.

Брюнет (Брюне) Жан-Жозеф Мира (1766—1851) — фр. комический актер.

Буало Депрео Никола (1636—1711) — фр. поэт-классицист, автор «Искусства поэзии».

Буле Иоганн Феофил (1763—1821) — профессор естественного права и изящных искусств в Московском университете.

Бунина Анна Петровна (1774—1828) — поэтесса, близкая лагерю Шишкова.

Буринский Захар Алексеевич (1780—1808) — поэт.

Бутервек Фридрих (1766—1822) — нем. философ, эстетик и историк литературы.

Буфлер Станислав (1737—1815) — фр. поэт, художник и гос. деятель.

Бюлер Андрей Яковлевич (1763—1843) — рус. дипломат, в 1818 г. служил в Вене.

Валленштейн Альбрехт (1583—1634) — командующий войсками Священной римской империи в годы «Тридцатилетней войны».

Валлер Эдмунд (1605—1687) — англ. поэт.

Варий Руф (I в. до н. э.) — рим. поэт времен Августа, член кружка Мецената.

Веллингтон Артур Колли (1769—1852) — англ. полководец, победитель Наполеона при Ватерлоо.

Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.) — рим. поэт, автор «Энеиды».

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — литератор-арзамасец.

Виельгорский (Велеурский) Михаил Юрьевич (1788—1856) — талантливый композитор-дилетант.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — нем. писатель.

Вильмень (Вильмен) Абель Франсуа (1790—1870) — фр. историк, критик и государственный деятель.

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — выдающийся нем. историк искусств и археолог, пропагандист и исследователь древнегреч. искусства.

Висковатов Степан Иванович (1786—1831) — драматург, близкий лагерю Шишкова.

Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — генерал, участник антинаполеоновских войн.

Воейков Александр Федорович (1777—1839) — поэт, переводчик, журналист; член «Арзамаса».

Волков Александр Абрамович (1788— после 1839) — поэт, драматург.

Волков Семен — вологодский купец.

Волконская Зинаида Александровна (1792—1862) — писательница.

Волоцкой Дмитрий Николаевич — правитель канцелярии в Московском университете, знакомый П. А. Шипилова по Вологде.

Вольтер Мари Франсуа Аруэ (1694—1778) — фр. философ, публицист и писатель.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — поэт и филолог; член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик, публицист; член «Арзамаса», друг Батюшкова.

Гагарин Иван Алексеевич (1771—1832) — знакомый Батюшкова, муж Е. С. Семеновой.

Галиф — женевский помещик, живший в Петербурге. Друг Д. Н. Северина.

Гальяни Фердинанд (1728—1787) — ит. мыслитель, близкий к фр. энциклопедистам.

Гарвей (Харви) Джемс (1714—1758) — англ. писатель-мистик.

Гезиод (VIII—VII в. до н. э.) — др.-греч. поэт, автор дидактической поэмы «Труды и дни» и поэмы «Теогония».

Герман (Арминий) (17 до н. э.— 19 н. э.) — вождь древнегерманского племени херусков, разбивший римлян в битве в Тевтобургском лесу.

Гермоген (ок. 1530—1612) — патриарх, герой Смутного времени.

Геродот (V в. до н. э.) — др.-греч. историк.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — нем. писатель.

Гиппократ (ок. 460— ок. 370 до н. э.).—др.-греч. врач, основоположник медицины.

Гиршфельд Христиан (1742—1792) — автор сочинений по садово-парковому искусству.

Глазунов Иван Петрович (1762—1831) — петербургский книгопродавец и издатель.

Глинка Сергей Николаевич (1775—1847) —литератор, издатель журнала «Русский вестник», знаменитого своими нападками на французов.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — писатель-декабрист. В 1817—1818 гг. служил при Главном штабе.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, драматург, переводчик «Илиады» Гомера; друг Батюшкова.

Голицын Александр Михайлович (1772—1821) — князь, жил в Италии.

Головкин Юрий Александрович (1749—1846) — рус. посол в Вене.

Гольбах Поль Генрих (1723—1789) — фр. философ-материалист.

Гомер (Омер, Омир) — полулегендарный автор «Илиады» и «Одиссеи».

Гораций Квинт Флакк (65—8 до н. э.) — великий римский поэт.

Готфред (Готфрид) Бульонский (1060—1100) — один из руководителей 1-го крестового похода.

Гревенсы Абрам Ильич — муж сестры Батюшкова, Анны Николаевны (ум. 1808), Григорий Абрамович —их сын.

Грей Томас (1716—1771) — англ. поэт-сентименталист.

Грессе Жан Батист (1709—1777) — фр. поэт и драматург.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — литератор, издатель журнала «Сын отечества».

Грузинцев Александр Николаевич (1779—1840-е гг.) — поэт и драматург, эпигон классицизма.

Густав III (1746—1792) — швед. король, воевавший с Россией.

Густав Адольф II (1594—1632) — швед. король, выдающийся военный реформатор.

Давыдовы Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, герой Отечественной войны 1812 г., и Лев Васильевич (1792—1848) — его брат, адъютант генерала Н. Н. Раевского.

Давыдов Петр Львович (1782—1842) — генерал, Наталья Владимировна (урожд. Орлова, 1782—1819), его жена.

Давыдов Дмитрий Александрович (1786—1851) — приятель Ба-

тюшкова и Вяземского. В 1815 г. женился на Е. А. Шаховской.

Д'Аламбер Жан (1717—1783) — фр. философ, один из организаторов «Энциклопедии».

Дамас Рожер (1760-е —1825) — фр. дворянин на русской службе, вернулся во Францию с русскими войсками.

Данилова (Перфильева) Мария (1793—1810) — выдающаяся балерина.

Данте Алигьери (1265—1321) — ит. поэт, автор «Божественной комедии».

Дантон Жорж-Жак (1759—1794) — один из лидеров Великой французской революции.

Дарий (IV в. до н. э.) — древнеперсидский царь, побежденный Александром Македонским.

Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор, активный противник Шишкова, арзамасец; впоследствии видный гос. деятель.

Дезульер Антуанетта (1638—1694) — фр. поэтесса, автор идиллий.

Делиль Жак (1738—1813) — фр. поэт, автор дидактической поэмы «Сады».

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — др.-греч. оратор и политический деятель.

Державин Гавриил Романович (1743—1816) — поэт.

Диагор (V в. до н. э.) — др.-греч. философ, изгнанный из Афин за безбожие. Утонул в море во время шторма.

Дидо — семья французских типографщиков.

Дидерот (Дидро) Дени (1713—1784) — фр. философ-просветитель, писатель.

Диоген (ок. 400— ок. 325 до н. э.) — др.-греч. философ, представитель школы киников.

Дионисий Сиракузский (ок. 432—367 до н. э.) — сиракузский тиран, отличавшийся жестокостью и подозрительностью.

Дмитриев Василий Васильевич — литератор, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, соратник Карамзина, гос. деятель.

Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) — актер, патриарх рус. театра.

Долгорукий (Долгоруков) Иван Михайлович (1764—1823) — московский поэт и театрал.

Дружинин Петр Михайлович (1764—1827) — директор Московской губернской гимназии, друг семьи Муравьевых.

Дюгесклин Бертран (1314—1380) — фр. полководец.

Дюси Жан Франсуа (1733—1816) — фр. поэт и драматург, переводчик Шекспира.

Дюшенуа Катарина Жозефина (1780—1835) — знаменитая фр. актриса.

Ежова Екатерина Ивановна (1787—1837) — актриса, гражданская жена А. А. Шаховского.

Елагин Иван Перфильевич (1725—1794) — государственный деятель, переводчик.

Елизавета I Тюдор (1533—1603) — англ. королева.

Жанлис Мадлен Фелисите (1746—1830) — фр. писательница сентиментально-нравоучительного направления.

Женгене Пьер Луи (1748—1816) — фр. поэт, критик, историк литературы.

Жихарев Степан Петрович (1787—1860) — драматург, поэт, мемуарист; сначала — сотрудник «Беседы...», впоследствии — арзамасец.

Жофрен Мария Тереза (1699—1777) — хозяйка известного литературного салона в Париже.

Жоффруа Жан Луи (1743—1814) — фр. театральный критик.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт; друг Батюшкова.

Захаров Василий — крепостной Батюшкова.

Захаров Иван Семенович (1754—1816) — переводчик, член Беседы... и Российской академии.

Зябловский Евдоким Филиппович (1763—1846) — профессор, автор учебника статистики России.

Иванов Федор Федорович (1777—1816) — драматург.

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1795—1849) — поэт, эпигон карамзинизма.

Извекова Мария Евграфовна (1794—1830) — романистка и поэтесса.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — писатель и журналист; Батюшков находился с ним в приятельских и деловых отношениях.

Ильин Николай Иванович (1777—1823) — драматург и переводчик, член Беседы.

Италинский Андрей Яковлевич (1743—1827) — рус. посланник в Риме.

Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851) — литератор-арзамасец, директор благородного пансиона при Петербургском педагогическом институте.

Кальвин Жан (1509—1564) — реформатор церкви, основатель одного из главных течений в протестантизме.

Камоэнс Луис (1524—1580) — португальский поэт, автор героической поэмы «Лузиады».

Канова Антонио (1757—1822) — ит. скульптор. Его Статуя Мира была сделана по заказу Н. П. Румянцева.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик.

Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — поэт и драматург, автор знаменитой комедии «Ябеда».

Каподистриа Иван Антонович (1776—1831) — рус. дипломат, выходец из Греции. По просьбе Карамзиных помог Батюшкову определиться в дип. службу.

Карабанов Петр Матвеевич (1765—1829) — переводчик, член Беседы... и Российской академии.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель и историк.

Карл XII (1682—1718) — шведский король, воевавший с Россией.

Касти Джамбатиста (1721—1803) — ит. поэт.

Каталанья (Каталани) Анжелика (1780—1849) — ит. оперная певица.

Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург и критик.

Катон Марк Порций, Младший (95—46 до н. э.) — рим. государственный деятель, республиканец.

Катулл (ок. 87— ок. 54 до н. э.) — рим. поэт.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик и журналист, редактор «Вестника Европы».

Кинольт (Кино) Филипп (1635—1688) — фр. поэт, драматург, оперный либреттист.

Кипренский Орест Адамович (1782—1836) — рус. художник, друг Олениных и Батюшкова.

Клейст Фридрих-Генрих-Фердинанд-Эмиль (1762—1823) — прусский фельдмаршал.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — нем. поэт, автор гексаметрической поэмы «Мессиада».

Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — рус. драматург.

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт, друг В. А. Жуковского.

Козловский Петр Борисович (1783—1840) — рус. дипломат, долго жил в Италии.

Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — драматург и переводчик, театральный деятель, актер-любитель, приятель Батюшкова. Варвара Ивановна (1786—1811) — его жена.

Колонна Стефано (ум. 1347) — друг и покровитель Петрарки.

Колычев Е. А. (ум. не позже 1805) — литератор, близкий кругу И. П. Пнина.

Кондильяк Этьен Бонио де (1715—1780) — фр. философ и экономист.

Кориолан (V в. до н. э.) — рим. патриций.

Корсаков Алексей Иванович (1751—1821) — директор Горного корпуса, друг А. Н. Оленина.

Корсаков Павел Александрович (1790—1844) — журналист и поэт, известный патриотическими куплетами, пользовавшимися популярностью в эпоху Отечественной войны.

Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — поэт, переводчик.

Коттен Шарль (1604—1682) — фр. писатель.

Крашенинников Степан Петрович (1713—1755) — географ, исследователь Камчатки.

Кролик Феофил (ум. 1732) — архимандрит, сподвижник Ф. Прокоповича.

Кроссар, барон — фр. эмигрант, служивший в голландской, австрийской и русской армиях.

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — баснописец и драматург.

Курганов Николай Гаврилович (1726—1796) — литератор, автор знаменитого «Письмовника» — пособия для приобщающихся к образованности.

Кутон Жорж (1755—1794) — деятель Великой французской революции.

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813) — рус. полководец.

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Павел Иванович (1767—1829) — писатель, куратор, в 1810—1817 гг. попечитель Московского университета.

Лагарп Жан-Франсуа (1739—1803) — фр. критик, поэт, драматург и теоретик искусства.

Лайа Жан-Луи (1761—1833) — фр. поэт, драматург и историк литературы.

Лакретель Пьер-Луи де (1751—1824) — фр. историк, журналист и политический деятель.

Ланжерон Алексей Федорович (1777—1831) — рус. гос. деятель, в 1818 г. новороссийский генерал-губернатор.

Ларошфуко Франсуа (1613—1680) — фр. мыслитель.

Лаура — возлюбленная Петрарки.

Лафар Шарль Огюст де (1644—1722) — один из зачинателей «легкой поэзии» во Франции.

Лафонтен Жан (1621—1695) — фр. поэт-баснописец.

Лебрен Пьер Антуан (1785—1873) — фр. поэт.

Лебрен Понс Дени Экушар (1729—1807) — фр. поэт-одописец.

Ливио — петербургский банкир, ведавший сношениями с Италией.

Лобанов Михаил Евстафьевич (1787—1846) — драматург, переводчик; член Российской академии.

Локк Джон (1632—1704) — англ. философ и педагог.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — поэт и ученый-энциклопедист.

Лукан (38—65 н. э.) — рим. эпический поэт.

Лукницкий Аристарх Владимирович (1778—1811) — литератор, издатель журнала «Северный Меркурий».

Лукреций Кар Тит (98—55 до н. э.) — рим. поэт-философ.

Лукулл (I в. до н. э.) — рим. полководец, славившийся своей роскошью и великолепными пирами.

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, племянник М. Н. Муравьева.

Львов Павел Юрьевич (1770—1825) — писатель, член Беседы любителей русского слова.

Львова Елизавета Николаевна (1788—1864) — племянница Г. Р. Державина.

Людовик XIV (1643—1715) — фр. король.

Люлли Жан Батист (1632—1689) — придворный композитор Людовика XIV.

Лютер Мартин (1483—1546) — реформатор церкви, родоначальник протестантизма.

Майков Василий Иванович (1728—1778) — поэт сумароковской школы, автор ирои-комической поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх».

Макаров Михаил Николаевич (1789—1847) — писатель-сентименталист, сотрудник «Аглаи» П. И. Шаликова.

Макаров Петр Иванович (ок. 1765—1804) — критик-карамзинист, противник Шишкова.

Макаров Петр Степанович — офицер, сослуживец Батюшкова, участник Шведской кампании 1809 г.

Макиавель (Макиавелли) Никколо (1469—1527) — ит. политический мыслитель, писатель.

Малерб Франсуа (1555—1628) — фр. поэт.

Малышевы Иван Захарович и Елена Павловна (1797—1820) — друзья семьи Тургеневых. На смерть их дочери Батюшков написал стихотворение.

Мальзерб Кретьен Гийом (1721—1794) — министр фр. короля Людовика XVI, сохранивший ему верность во время революции, казнен якобинцами.

Марат Жан Поль (1744—1793) — один из лидеров Великой французской революции.

Марий Гай (156—86 до н. э.) — рим. полководец; диктатор.

Марк Аврелий (121—180) — рим. император, философ-стоик.

Мармонтель Жан Франсуа (1723—1789) — фр. писатель и критик.

Маро Клеман (1496—1517) — фр. поэт, пользовавшийся покровительством короля Франциска I.

Мартынов Иван Иванович (1771—1817) — литератор, директор департамента Министерства народного просвещения.

Маттисон Фридрих (1761—1831) — нем. поэт-преромантик.

Межаков Павел Александрович (1788—1868) — поэт-дилетант, вологодский помещик.

Менгс Антон Рафаэль (1728—1779) — нем. художник, последователь И. И. Винкельмана.

Меньшиков Александр Сергеевич (1787—1869) — князь, генерал-майор, приятель Вяземского.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, критик, переводчик, профессор Московского университета.

Мессала — Марк Валерий Мессала Корвин (ок. 64 до н. э.— 8 н. э.) — рим. государственный деятель и поэт, покровитель Тибулла.

Меценат (между 74 и 64— 8 до н. э.) — рим. гос. деятель, покровитель кружка поэтов, куда входили Гораций, Вергилий и Варий.

Миллер Александр Иванович (ум. 1852) — чиновник Министерства иностранных дел.

Миллер (Мюллер) Иоганн (1752—1809) — нем. историк, автор многотомной «Всемирной истории», изданной посмертно.

Миллер Иоганн Мартин (1750—1814) — нем. писатель, автор сентиментальных романов.

Мильвуа Шарль (1782—1816) — фр. поэт-элегик.

Монтань (Монтень) Мишель (1533—1592) — фр. мыслитель, высоко ценимый Батюшковым.

Монброн Жозеф-Шерад (1761—1852) — фр. поэт.

Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — фр. философ, писатель и публицист.

Монти Винченцо (1754—1828) — ит. поэт и драматург.

Мосх (II в. до н. э.) — греч. поэт-идиллик.

Муравьевы Михаил Никитич (1757—1807) — писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета. Двоюродный дядя Батюшкова, оказавший на него большое влияние. Екатерина Федоровна (1771—1848) его жена, Никита Михайлович (1796—1843), Александр Михайлович (1802—1853) — их дети, декабристы.

Муравьевы-Апостолы Иван Матвеевич (1765—1851) — дипломат, государственный деятель, литератор, Сергей Иванович (1794—1826), Ипполит Иванович (1805—1826) — его сыновья, декабристы. Анна Ивановна, Елена Ивановна — его дочери.

Мюра Генриетта де Кастельно (1670—1716) — фр. поэтесса.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — фр. император.

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828) — поэт, автор популярных песен.

Неплюев Семен Александрович — сенатор Межевого департамента.

Николев Николай Петрович (1758—1815) — поэт и драматург; карамзинистами его творчество расценивалось как безнадежно архаичное.

Николь Доминик Карл (1758—1835) — аббат, педагог. Основатель Ришельевского лицея в Одессе.

Никольский Павел Александрович (1790—1816) — издатель, критик.

Нинона де Ланкло (1636—1706) — знаменитая куртизанка, фаворитка кардинала Ришелье, покровительствовавшая молодому Вольтеру.

Нютон (Ньютон) Исаак (1643—1727) — великий английский ученый.

Овидий Публий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — рим. поэт.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — автор трагедий, высоко ценимых карамзинистами и членами оленинского кружка.

Окунев Григорий Александрович — кавалергардский офицер, поэт-дилетант.

Оленины Алексей Николаевич (1763—1843) — археолог, директор Публичной библиотеки, с 1817 г. — президент Академии художеств; покровитель Батюшкова. Елизавета Марковна (урожд. Полторацкая 1768—1836) — его жена. Николай Алексеевич (ум. 1812), Петр Алексеевич (1798—1863) — их дети.

Олин Валерьян Николаевич (1788—1839) — писатель и журналист, член Беседы.

Олсуфьев Василий Дмитриевич (1796—1858) — гусарский офицер.

Орлов Владимир Григорьевич (1743—1831) — граф, отец С. В. Паниной и Н. В. Давыдовой.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал, декабрист, член «Арзамаса», куда был принят под кличкой «Рейн».

Остерман (Остерман-Толстой) Александр Иванович (1770—1857) — генерал, во время войны 1812 г.— командир корпуса.

Палиссот (Палиссо) Шарль (1730—1814) — фр. писатель, известный нападками на Руссо и энциклопедистов.

Панаев Владимир Иванович (1792—1859) — поэт-идиллик.

Панар Шарль (1694—1765) — фр. драматический писатель, «отец» водевиля.

Панина Софья Владимировна (урожд. Орлова 1775—1844) — графиня, жена отставного вице-канцлера, была известна в Москве благотворительной деятельностью.

Парменнон (IV в. до н. э.) — македонский полководец.

Парни Эварист Дефорж (1753—1814) — фр. поэт, исключительно высоко ценимый Батюшковым.

Паскаль Блез (1623—1662) — фр. математик и философ.

Периандр (ок. 660— ок. 585 до н. э.) — коринфский тиран, отличавшийся мудростью и вместе с тем жестокостью.

Петин Иван Александрович (1789—1813) — офицер, поэт-дилетант, близкий друг Батюшкова; погиб под Лейпцигом.

Петрарка Франческо (1304—1374) — ит. поэт, оказавший большое влияние на Батюшкова.

Петров Александр Андреевич (ум. 1793) — писатель, журналист, друг Н. М. Карамзина.

Петров Василий Петрович (1736—1799) — поэт-одописец.

Пиго-Лебрен Антон (1751—1835) — фр. писатель.

Пикар Луи Франсуа (1769—1828) — фр. драматург.

Пильпай — легендарный древнеиндийский баснописец.

Пиндар (ок. 518—432 или 438 до н. э.) — др.-греч. поэт-одописец.

Пирон Алексис (1689—1773) — фр. поэт и драматург, автор ряда стихотворений нескромного содержания и стихотворных комедий.

Писарев Александр Александрович (1780—1848) — писатель, офицер (впоследствии — генерал), член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, затем — секретарь Беседы любителей русского слова и член Российской Академии.

Питт Вильям (1759—1806) — англ. государственный деятель.

Платов Матвей Иванович (1751—1814) — донской атаман, в 1814 г. вместе с Александром I побывал в Лондоне.

Платон (427—348 до н. э.) — греч. философ.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865/66) — поэт, критик и журналист.

Плещеев Александр Алексеевич (1778—1862) — композитор, литератор-дилетант, член Арзамаса.

Плиний Кай Секунд Старший (23 или 24— 79) — рим. ученый и писатель; погиб, наблюдая извержение Везувия.

Плутарх (ок. 45— ок. 127) — др.-греч. писатель и историк.

Пнин Иван Петрович (1773—1805) — поэт и публицист просветительского толка, президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Политковский Гавриил Герасимович (ок. 1770—1825) — литератор, член Беседы.

Полозов Алексей (ум. 1812) — литератор, приятель Батюшкова и Гнедича.

Полторацкий Дмитрий Маркович (ок. 1750—1818) — брат Е. М. Олениной, крупный помещик. Анна Петровна (урожд. Хлебникова) — его жена. Агафоклея (Агата) Дмитриевна (1797—1815) — их дочь.

Попе (Поп) Александр (1688—1744) — англ. поэт.

Потемкин Сергей Павлович, гр. (1787—1858) — поэт, член Беседы.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1771—1846) — директор Благородного пансиона, при Московском университете.

Прокопович Феофан (1681—1736) — писатель и церковный деятель; поддерживал петровские реформы.

Проперций Секст (ок. 50 — ок. 15 до н. э.) — рим. поэт-элегик.

Протасьев Василий Федорович — офицер, участник Шведской кампании 1809 г.

Пустынник Петр (ок. 1050—1115) — католический аскет, которому приписывается идея крестовых походов.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837).

Пушкин Алексей Михайлович (1769—1825) — московский поэт и актер-дилетант; славился своим остроумием. Елена Григорьевна (1778—1833) — его жена, близкая приятельница Батюшкова.

Пушкин Василий Львович (1770—1830) — дядя А. С. Пушкина, поэт-карамзинист.

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — писатель-революционер.

Радищев Николай Александрович (1779—1829) — сын А. Н. Радищева, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; приятель Батюшкова.

Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 г.; Батюшков был его адъютантом в 1813—1814 гг.

Расин Жан (1639—1699) — фр. драматург.

Ретиф де Ла Бретон Никола (1734—1806) — фр. писатель, создавший галерею персонажей асоциального склада.

Ржевский Григорий Павлович (1763—1830) — литератор.

Роллен Шарль (1661—1741) — фр. историк.

Рубенс Питер Пауль (1577—1640) — фламандский художник.

Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — канцлер, собиратель древностей, меценат.

Руссо Жан Батист (1670—1741) — фр. поэт.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — фр. писатель и философ.

Саллюстий (86 — ок. 35 до н. э.) — рим. историк.

Сисмонди Жан Поль Леонард (1773—1842) — швейцарский экономист и историк.

Салтыков Михаил Александрович (1769—1851) — московский вельможа.

Самарина (Квашнина-Самарина) Анна Петровна — фрейлина Екатерины II, хозяйка литературного салона.

Свиньин Павел Петрович (1788—1839) — писатель и журналист.

Северин Дмитрий Петрович (1792—1865) — дипломат, литератор-дилетант, член «Арзамаса», Северина Анна Григорьевна — его мать.

Севинье Мария (1626—1696) — фр. писательница.

Сегюр Луи-Филипп (1753—1830) — фр. писатель и дипломат.

Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) — трагическая актриса.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.—65 н. э.) — рим. государственный деятель, философ и писатель.

Сен-При Карл Францевич (1782—1863) — фр. эмигрант. в 1815 г. губернатор в Каменец-Подольском, в 1818 г. херсонский губернатор.

Сен-При Эммануил Францевич (1776—1814) — фр. эмигрант на русской службе, генерал.

Сен-Пьер Бернарден де (1734—1814) — фр. писатель.

Сен-Симон Луи (1675—1755) — фр. государственный деятель, автор знаменитых мемуаров.

Сикар, аббат (1742—1822) — фр. педагог, руководитель пансиона для глухонемых.

Симонид Кеосский (VI—V вв.до н. э.) — греч. поэт.

Синеус (IX в.) — легендарный рус. князь, владевший северными землями.

Сипягин Николай Мартемьянович (1785—1828) — генерал-лейтенант, начальник генерального штаба.

Скюдери Пьер Антонович (1772—1858) — московский доктор, лечивший Батюшкова.

Соковнин Сергей Михайлович — приятель В. А. Жуковского по Благородному пансиону, безнадежно влюбленный в В. Ф. Вяземскую.

Соколов Аркадий Аполлонович — сосед Батюшкова, впоследствии муж его сестры Варвары Николаевны (1791 — после 1877).

Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — др.-греч. философ.

Солнцев Матвей Михайлович (ум. 1848) — камергер, родственник В. Л. Пушкина.

Сталь Жермена де (1766—1817) — фр. писательница.

Станевич Евстафий Иванович (1775—1835) — писатель, сотрудник Беседы, пропагандист идей Шишкова.

Строганов Павел Александрович (1772—1817) — генерал, гос. деятель, приятель А. И. Тургенева.

Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730—1800) — полководец.

Сулла (Силла) Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — рим. полководец, впоследствии диктатор.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — поэт-классицист, драматург, баснописец.

Сумароков Панкратий Платонович (1765—1814) — поэт и журналист.

Сципион Африканский (ок. 235—183 до н. э.) — рим. полководец, победитель Карфагена.

Сюар Жан Баттист (1733—1817) — фр. критик и журналист.

Сюлли Максимильен де Бетюн (1560—1641) — фр. государственный деятель.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — фр. трагический актер.

Тасс (Тассо) Торквато (1544—1595) — ит. поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Татищевы Николай Николаевич (1739—1823) — гос. деятель, друг А. Н. Оленина, начальник 1-го Земского войска, где в 1807 г. служил Батюшков. Сергей Николаевич (1789—1812) — его сын, убит в Бородинском сражении.

Тацит Корнелий (ок. 55—120) — рим. историк.

Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — рим. поэт-элегик.

Тит Ливий (59 до н. э.—17 н. э.) — рим. историк.

Толстой Федор Иванович (Американец) (1782—1846) — путешественник, авантюрист и дуэлянт.

Томсон Джеймс (1700—1748) — англ. поэт.

Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1768) — поэт, переводчик, филолог.

Третьяков — чиновник Вологодской уездной конторы.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — знакомый Батюшкова, впоследствии декабрист.

Трубецкой Юрий, князь — лицо неустановленное.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — литератор-арзамасец, гос. деятель.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — член «Арзамаса», впоследствии гос. деятель.

Уткин Николай Иванович (1780—1863) — гравер, побочный сын М. Н. Муравьева.

Фабий Максим Кунктатор (275—203 до н. э.) — рим. полководец, избравший своей тактикой осторожность и осмотрительность.

Фалес (ок. 625— ок. 547 до н. э.) — др.-греч. философ, считавший воду первоэлементом всего сущего.

Фальконет Пьер Этьен — неаполитанский банкир.

Феленбург (Фелленберг) Филипп Эммануил (1771—1844) — педагог, возглавлявший всемирно известный детский пансион в Швейцарии.

Фенелон Франсуа Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — фр. романист.

Феокрит (кон. IV—I пол. III в. до н. э.) — др.-греч. поэт-идиллик.

Фидий (V в. до н. э.) — др.-греч. скульптор.

Филарет Дроздов (1783—1867) — церковный деятель, впоследствии митрополит.

Филимонов Владимир Сергеевич (1787—1858) — поэт и литератор.

Фон Менгден Михаил Александрович — офицер, сослуживец Батюшкова, участник кампании 1809 г.

Франклин Бенджамин (1706—1790) — амер. гос. деятель и ученый.

Фрерон Эли Катрин (1719—1776) — фр. писатель, известный своими нападками на Вольтера, издавал журналы «Письма графини де», «Литературный год». Его имя стало нарицательным обозначением бездарного клеветника.

Фукидид (V в. до н. э.) — др.-греч. историк.

Фурман Анна Федоровна (1791—1850) — воспитанница Олениных, в которую был влюблен Батюшков.

Фусадье Карл Вилламович — чиновник министерства иностранных дел.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт, член Беседы; имел репутацию графомана.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — баснописец и сатирик.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, автор эпической поэмы «Россиада», куратор Московского университета.

Храповицкие Матвей Евграфович (1784—1847) — впоследствии генерал-губернатор Петербурга, и Софья Алексеевна (1786—1833) — его жена.

Цезарь Кай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — рим. император, автор «Записок о галльской войне».

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — рим. оратор и политический деятель.

Шаликов Петр Иванович (1768—1852) — писатель-сентименталист, издатель журнала «Аглая», по происхождению грузинский князь. Был известен своим необузданным нравом.

Шапелль Клод Эммануэль (1626—1686) — фр. поэт, имевший репутацию певца житейских наслаждений.

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848) — фр. писатель и государственный деятель.

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург, театральный деятель, член Беседы...

Шварценберг Карл-Филипп (1771—1820) — австрийский фельдмаршал, командующий союзными войсками в 1813—1814 гг.

Шекспир Уильям (1564—1616) — англ. драматург и поэт.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — нем. поэт, драматург и теоретик искусства просвещения.

Шипилов Павел Алексеевич (ум. 1856) — муж сестры Батюшкова, Елизаветы Николаевны (1775—1849).

Шитой Осип — крепостной Батюшкова.

Шихматов (Ширинский-Шихматов) Сергей Александрович (1783—1837) — поэт-архаист, любимец Шишкова, член Беседы.

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — писатель, основатель Беседы, с 1813 г.— президент Российской академии.

Шолье Гильом Амфри де (1639—1720) — фр. поэт-эпикуреец.

Штакельберг Густав Эрнст (1766—1850) — рус. посланник в Неаполе.

Шувалов Андрей Петрович, гр. (1744—1789) — блестящий поэт-дилетант, автор стихов на фр. языке.

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — елизаветинский вельможа, меценат, покровитель Ломоносова.

Щедрин Сильвестр Федосеевич (1791—1830) — рус. художник.

Щербатовы Алексей Григорьевич (1777—1848) — генерал от инфантерии и Софья Степановна (урожд. Апраксина, 1798—1885) — его жена.

Эвклид (Евклид) (III в. до н. э.) — греч. математик.

Эврипид (Еврипид) (ок. 480—406 до н. э.) — др.-греч. поэт-драматург.

Эмпедокл (V в. до н. э.) — др.-греч. философ; жизнь его была окружена легендами (согласно одной из них, бросился в кратер вулкана Этны, оставив наверху свою сандалию).

Эпиктет (ок. 50— ок. 140) — рим. философ-стоик.

Этьен Шарль Гильом (1778—1845) — фр. драматург и публицист.

Ювенал Децим Юний (ок. 60— ок. 127) — рим. поэт-сатирик.

Юнг Эдвард (1683—1765) — англ. поэт.

Юст (Юстус)-Липский (1547—1606) — филолог, комментатор древнеримских авторов.

Яковлев Платон Степанович — гвардейский офицер, искусный чтец.

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Аврора (рим.) — богиня утренней зари.
Адмет (греч.) — фессалийский царь, чьи стада пас Аполлон, изгнанный одно время Зевсом с Олимпа.
Аид (греч.) — царство мертвых.
Актеон (греч.) — охотник, превращенный богиней Дианой, которую он увидел нагой во время купанья, в оленя и растерзанный собственными собаками.
Алкид (греч.) — одно из имен Геркулеса.
Амальтея (греч.) — коза, молоком которой был вскормлен Зевс. Сломанный ею рог был превращен Зевсом в рог изобилия.
Амур (рим.) — бог любви, сын Венеры.
Анубис (егип․) — бог, покровительствующий умершим. Изображался в виде человека с головой шакала.
Апис (егип․) — священный бык, одно из воплощений бога Озириса.
Аониды (греч.) — музы.
Аполлон (греч.) — бог солнца, света, искусства и поэзии. Аполлонов конь Пегас, конь поэтов во время вдохновения.
Арахна (греч.) — девушка, вызвавшая богиню Афину на состязание в ткацком искусстве, за дерзость превращенная той в паука.
Аргус (греч. и рим.) — великан с глазами по всему телу, стерегший одну из соперниц Геры — жены Зевса.
Арей (греч.) — бог войны.
Атлант (греч.) — титан, обреченный Зевсом поддерживать небесный свод.
Атридов сын (греч.) — Орест, сын Агамемнона. Его дружба с Пиладом считалась идеалом дружбы.
Афина (греч.) — богиня мудрости.
Ахерон (греч.) — «река печали», одна из подземных рек Аида, через которую переправлялись тени умерших.
Ахилл, Ахиллес (греч.) — герой «Илиады» Гомера. Вступил в бой, чтобы отомстить за своего друга Патрокла, убитого троянцами, хотя знал, что, отомстив, сам будет обречен на гибель.

Беллона (рим.) — богиня войны.
Борей (греч.) — северный ветер.

Вакх (греч. и рим.) — бог винограда и виноделия. В честь Вакха устраивался ряд празднеств, в том числе так называемые «оргии», или «вакханалии».
Вакханки (греч.) — спутницы Вакха и участницы его оргий.
Валкала, Валгалла (сканд.) — дворец Одена, загробное местопребывание храбрых воинов.
Валкирии (сканд.) — дочери Одена, девы-воительницы, подающие мед в Валгалле павшим воинам.
Венера (рим.) — богиня любви и красоты.
Веристы дочери (сканд.) — валкирии.

Гальциона (Алкиона, Галкиона) (греч.) — дочь бога ветров Эола, превращенная в чайку.
Гамадриады (греч.) — нимфы деревьев.
Геба (греч.) — богиня юности, на пирах богов подносила им нектар и амброзию.
Гела (Хель) (сканд.) — богиня смерти.
Гелен (греч. и рим.) — сын троянского царя Приама, царствовавший в Эпире.
Геликон (греч.) — горный кряж в Беотии, место пребывания Аполлона и муз.
Гений (рим.) — бог-покровитель, имеющийся у каждого человека.
Геркулес (Геракл) (греч.) — полубог, отличавшийся огромной силой и прославившийся многочисленными подвигами.
Гермес (греч.) — бог, покровительствовавший путешественникам и торговцам. Вестник богов.
Гиады (греч.) — нимфы дождя.
Гименей (греч.) — бог брака; изображался со светильником в руке.
Гипербореи (греч.) — баснословные жители Севера.
Грации (рим.) — три сестры, богини изящества и красоты.

Данаиды (греч.) — дочери царя Даная, убившие своих мужей и за это осужденные в Аиде вечно лить воду в бездонную бочку.
Дафна (греч.) — нимфа, превращенная в вишневое дерево.
Дедал (греч.) — имя строителя лабиринта на острове Крит.
Диана (рим.) — богиня растительности, покровительница охоты, считалась олицетворением луны.
Дий (рим.) — Юпитер.

Зевес (Зевс) (греч.) — верховное божество, властитель неба и повелитель богов.
Зефир (греч.) — западный ветер.

Изида (егип.) — верховное женское божество, покровительница женщин. Культ Изиды получил распространение и в Риме.
Иксион (греч.) — сын царя лапифов, привязанный в Аиде к вечно вращающемуся огненному колесу за страсть к жене Зевса Гере.
Ио (греч.) — греческая царевна, возлюбленная Зевса, превращенная его женой в корову.

Иолас (греч.) — племянник и спутник Геркулеса.
Ипокрена (Иппокрена) (греч.) — источник поэтического вдохновения, текущий с Геликона.
Ипполит (греч.) — сын Тезея, отвергший страсть мачехи, Федры, и оклеветанный ею перед отцом.

Камены (рим.) — соответствуют греч. музам.
Кастальский ток (греч.) — источник поэтического вдохновения на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам.
Кастор и Поллукс (греч.) — близнецы, покровители мореплавания.
Киприда (греч.) — богиня любви Афродита.
Клио (греч.) — муза истории.
Коцит (греч.) — «река плача», окружающая Аид.

Лары (рим.) — души предков, покровители домашнего очага.
Леда (греч.) — греч. царевна, возлюбленная Зевса, являвшегося ей в виде лебедя.
Лета (греч.) — подземная «река забвения» на пути в Аид.

Маин сын (греч.) — Гермес, сын богини Майи, дочери Атланта.
Марс (рим.) — бог войны.
Марсий (греч.) — сатир, вызвавший на музыкальное состязание Аполлона; в наказание последний содрал с него кожу.
Мегера (греч.) — одна из трех богинь мщения.
Мельпомена (греч.) — муза трагедии.
Мидас (греч.) — фригийский царь, во время состязания Аполлона с Марсием отдавший предпочтение последнему и в наказание наделенный Аполлоном ослиными ушами.
Минос (греч.) — легендарный царь Крита, судья мертвых в Аиде.
Мнемозина (греч.) — богиня памяти, мать девяти муз.
Морфей (греч.) — бог сна.
Музы (греч.) — девять богинь, покровительствовавших поэзии, искусствам и наукам.

Нарцисс (греч.) — юноша, влюбившийся в свое отражение в реке и превращенный в цветок.
Наяды (греч.) — нимфы рек и источников.
Нектар (греч.) — напиток богов, дарующий вечную юность и бессмертие.
Немезида (греч.) — богиня мщения и судьбы.
Нептун (рим.) — бог моря.
Нереиды (греч.) — морские нимфы.
Нимфы (греч.) — божества, олицетворяющее стихийные явления природы.

Оден (Один) (сканд.) — верховное божество мира. Оденов дом — Валгалла.
Озирид (Озирис) (егип.) — верховное божество египтян.

Океаниды (греч.) — морские нимфы.
Олимп (греч.) — гора, обиталище богов.
Орковы поля (греч.) — преисподняя, Аид.
Орфей (греч.) — легендарный поэт и музыкант, очаровывавший игрою на лире диких зверей и неживую природу.
Оры (греч.) — богини времен года и мирового порядка.

Парки (рим.) — богини судьбы, ткущие нить человеческой жизни.
Парнас (греч.) — гора, посвященная Аполлону и музам. Парнасские царицы — музы.
Пафос (греч.) — город на Кипре, где находился храм богини любви Афродиты.
Пенаты (рим.) — боги, покровители семьи, дома.
Пиериды (греч.) — музы.
Пилад (греч.) — см. Атридов сын.
Пинд (греч.) — горный хребет в Древней Греции, где находились Геликон и Парнас.
Пирифой (греч.) — см. Тезей.
Пифон (греч.) — дракон, убитый стрелами Аполлона.
Плутон (греч., рим.) — подземный бог, владыка Аида и теней.
Полиник (греч.) — сын Эдипа, разгневавший отца и проклятый им.
Приам (греч.) — троянский царь, герой «Илиады».
Протей (греч.) — морской старец, способный изменять свой облик.
Психея, Псиша (греч.) — олицетворение человеческой души, изображалась в виде бабочки. Легендарная история любви Психеи и Эрота (Амура) получила мировую известность.

Сатиры (греч.) — горные и лесные божества, сопутствующие Вакху. Изображались с козлиными рожками и ногами.
Сатурн (рим.) — бог времени, отец Юпитера. Во время его власти на земле царил золотой век. Сатурнова дочь — Веста, богиня домашнего очага.
Селена (греч.) — богиня луны; луна.
Сильваны (рим.) — божества лесов и полей, покровители земледелия и скотоводства.
Сирены (греч.) — полуженщины-полуптицы, привлекавшие и губившие мореплавателей волшебным пением.
Стикс (греч.) — подземная река, обтекающая Аид.

Тайгет (греч.) — горный хребет, на склонах которого Аполлон пас стада Адмета.
Талия (греч.) — муза комедии.
Тантал (греч.) — герой. За оскорбление богов, которых он накормил мясом своего сына, осужден вечно томиться от голода и жажды среди изобилия.
Тартар (греч.) — подземная бездна; нижние области Аида.
Тезей (Тесей) (греч.) — афинский царь, помогавший царю лапифов Пирифою похитить из Аида богиню Персефону. За это они оба были прикованы к одной скале в Аиде.

Тенар (греч.) — мыс в Лаконике, известный залежами порфира. Здесь же находилась пещера, открывавшая вход в Аид.
Термодон (греч.) — река в стране амазонок.
Терпсихора (греч.) — муза танца.
Тизифона (греч.) — одна из трех богинь мщения — эриний.
Титаны (греч.) — гиганты, низложенные Зевсом и заключенные им в Тартар.
Тифий (греч.) — титан, заключенный в Аид, где два коршуна терзают его печень за насилие над нимфой Лето.

Феб (греч.) — одно из имен Аполлона.
Фетида (греч.) — морская богиня, мать Ахиллеса.
Филемон и Бавкида (греч.) — патриархальная супружеская чета, облагодетельствованная богами за гостеприимство.
Филомела (греч.) — афинская царевна, превращенная богами в соловья.
Флегетон (греч.) — подземная огненная река в Аиде, окружающая Тартар.
Флора (рим.) — богиня цветов и весны.
Фортуна (рим.) — богиня удачи и богатства.
Фурии (рим.) — богини мщения и кары.

Хариты (греч.) — три богини изящества, спутницы Афродиты.
Харон (греч.) — лодочник, перевозчик мертвых в Аиде.

Цербер (греч.) — трехголовый пес у входа в Аид, впускающий всех и никого не выпускающий.
Церера (рим.) — богиня земли, плодородия.
Циклопы (греч.) — одноглазые гиганты; кузнецы Зевса.
Цирцея (греч.) — волшебница, превратившая Одиссея и его спутников в свиней.
Цитера (греч.) — остров, средоточие культа Афродиты, страна любви.

Эвр (греч.) — теплый юго-восточный ветер.
Эгида (греч.) — грозовая туча, служившая щитом Зевса.
Эдип (греч.) — легендарный царь, совершивший по неведению ряд преступлений, узнав о которых ослепил себя, отрекся от престола и удалился в добровольное изгнание.
Элизий (греч., рим.) — Елисейские поля, блаженное жилище в загробном мире.
Эней (греч. и рим.) — троянский герой, спасшийся после пожара Трои и основавший Рим.
Энкелад (греч.) — гигант, заточенный Зевсом под вулканом Этна.
Эрато (греч.) — муза любовной поэзии.
Эреб (греч.) — самая мрачная часть Аида, в которой находился дворец Плутона.
Эригона (греч.) — девушка, обученная Вакхом виноделию; в честь нее устраивался особый праздник.

Эрот (греч.) — сын Афродиты, бог любви.
Эскулап (греч.) — бог врачевания.

Юнона (рим.) — супруга Юпитера, покровительница женщин.
Юпитер (рим.) — верховное божество. Его власть принесла на землю «железный век».

Янус (рим.) — двуликий бог, покровитель различных предприятий и начинаний. Его храм в древнем Риме открывали во время войны и закрывали в дни мира.

СОДЕРЖАНИЕ

Послания

Смесь

Стихотворения, не вошедшие в книгу «Опыты в стихах и прозе»

СТАТЬИ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

ПИСЬМА

Батюшков К. Н.
Б 28 Избранные сочинения. /Сост. А. Л. Зорина и А. М. Пескова; Вступ. ст. А. Л. Зорина; Ком. А. Л. Зорина и О. А. Проскурина; Ил. и оф. В. Б. Иовика.— М.: Правда, 1986.— 528 с., ил.

Лирика русского поэта К. Н. Батюшкова (1787—1855), отмеченная глубоким своеобразием, стремлением к художественному совершенству, поисками новых средств поэтической выразительности, представляет собой одну из ярчайших страниц в истории русской поэзии. В настоящем сборнике представлены также избранные статьи Батюшкова, его записные книжки, письма к друзьям и современникам.

Б $\frac{4702010100-1112}{080(02)-86}$ 1112—86 84 Р1

Константин Николаевич БАТЮШКОВ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Составление
Андрея Леонидовича Зорина
и Алексея Михайловича Пескова

Редактор
Н. А. Галахова
Художественный редактор
Г. О. Барбашинова
Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 1112

Сдано в набор 23.08.85. Подписано к печати 21.05.86
Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная
Гарнитура «Банниковская». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,93. Уч.-изд 26,46.
Тираж 500 000 экз (2-й завод 100 001 — 200 000 экз)
Заказ 4472. Цена 1 р. 90 к.

Набрано и отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства Куйбышевского обкома КПСС, г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201


1 р. 90 к.